

ISSN 0132-0637

1996  
4  
Октябрь

# Октябрь

4 1996

# ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1996

АПРЕЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,  
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,  
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,  
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,  
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-  
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

## В Н О М Е Р Е :

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Простые и волшебные сказки .....	3
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Страницы быта. Стихи .....	38
Юлия СИДУР. Пастораль на грязной воде. Повесть .....	41
Денис ВИНОГРАДОВ. Сквозь вербную лестницу... Стихи .....	109
Николай ЕВДОКИМОВ. Ольга Александровна. Рассказ .....	112

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ. Время действия — всегда. Новеллы. Вступление и публикация Вадима Перельмутера .....	122
--	-----

### *Искусство перевода*

Д. Д. СЭЛИНДЖЕР. Рассказы. Вступление Алексея Зверева. Перевод с английского М. Макаровой .....	132
---	-----

## ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Григорий МАРЧЕНКО.  
Политический ландшафт России . . . . . 148
- Дмитрий ВОЛКОГОНОВ  
Маршал Ворошилов. Вступление Анатолия Ананьева . 158

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Е. ТИХОМИРОВА.  
«Звуком слова я укрощаю эти стихии...» . . . . . 168
- Кирилл КОБРИН.  
Неизбежность театра . . . . . 176

### *Записки литературного человека*

- Вячеслав КУРИЦЫН.  
Новые песни о главном . . . . . 181

### *Вавилонская библиотека*

- Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Цитата начерно. \* Б. ФИЛЕВ-СКИЙ. ... и другие. \* А. РАДОМЫШЛЕНСКИЙ. Не жалея Бальзака и его читателей. \* Марина КРАСНОВА. Божественный свет . . . . . 185

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах. Адреса фирм-агентов вы можете узнать в А/О «Международная книга»:

117049, Россия, Москва, Большая Якиманка, 39

факс: (095) 238-46-34

телефон: (095) 238-49-67

телекс: 411160

Индекс издания: 73293

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0\$.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

**Н. К. ЛОШКАРЕВА** (заместитель главного редактора),

**И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

**А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ** (критика), **Е. О. СМЕРНОВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 29.02.96

Подписано к печати 25.03.96.

Формат 70x108 $\frac{1}{8}$ .

Офсетная печать.

Усл. печ. л. 16,80.

Усл. кр.-отт. 17,50.

Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 22960 экз.

Заказ № 236.

Цена 8000 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64,

214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел

поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

## Простые и волшебные сказки

### *ВЕРБА-ХЛЕСТ*

**Ж**ил-был один слуга.  
И ничего плохого в таком звании нет, работа как работа.

Тем более что этот слуга был самым первым слугой в государстве, приближенным короля, и звали его Первый.

Король был, как все короли, обыкновенным человеком: явно не дурак, но и не академик. Не урод, но и красивым его нельзя было назвать даже на параде при мундире, что делать!

Как говаривала его нянька: «Король лучше пня елового — уже хорошо».

Но вот Первый должен был быть умным, иначе как же править королевством!

И по стечению обстоятельств он был к тому же еще и красивым, да и добрым тоже. Бывают такие совпадения.

Ну, и как слугам полагается, он отличался скромностью.

Словно бы специально выращивали.

И, конечно, он многим поэтому не нравился.

И прежде всего он не нравился королеве, которая, как это и полагается, сама считала себя первым лицом в государстве, раз король рылом не вышел.

Королева была как в сказке, красotka на длинных ногах, ее и выбирали за красоту: в мыслях о потомстве.

(Между прочим, совершенно не учитывая при этом, что у нее было тяжелое детство, так как мамаша порола ее ивовым прутом в некоторых случаях, приговаривая: «Верба-хлест, бей до слез». И мамаша выбила у девочки все — доброту, нежность, кротость, жалость и чувствительность. Осталось все остальное, что бывает у вредных, злорадных детей.)

Что у нее была за мамаша, неизвестно, дело происходило на другом конце света: может, ее тоже колошматили.

Может, это была такая дикая семейка.

Короче говоря, королева была настоящая выдра, но все-таки красotka.

На парадах и церемониях, открытиях олимпиад и теннисных состязаний королева смотрелась великолепно рядом со своим замухрышкой-супругом.

Вообще, говорили в публике, если кто и найдется под стать королеве, то это только Первый.

Прекрасная пара: зловещая королева и мягкий, великодушный слуга, и оба — красавцы.

Народ с удовольствием смотрел по телевизору, как Первый благородно поддерживает нервную королеву под локоток, подсаживая ее в карету, и тетки вздыхали, каждая представляя себя на месте королевы: собственно говоря, а что в ней такого?

Если любую тетку отволочь в косметический кабинет, да в парикмахерскую, да на месяц на Багамские курорты, да кормить по науке, да сделать пластическую операцию в Бразилии, то, ого-го, еще неизвестно, кто кого!

То есть женщины не верили в природную красоту королевы, и правильно делали.

Если и ноги удлиняют, и носы убирают, и глаза вставляют, а волосы тем более, то вся остановка только за деньгами, девочки!

Так что народ не верил своей королеве, не переваривал Первого и благодушно относился к дураку-королю, который из всех наук освоил только науку анекдота и даже записывал их все в амбарную книгу под номерами.

Кстати, королева так и не родила королю наследника, причем все рассчитала правильно, а то бы не миновать этому несчастному ребенку (сыну упомянутых чудных родителей) тоже розги, моченой вербы, и мало ли какие могли бы быть последствия для не особенно умного народа данного государства.

Король же, поскольку был не дурак, как мы уже говорили, то есть пил, ел и гулял в свое удовольствие, этот король свою единственную королевскую обязанность — чтение речей по бумажке — выполнить иногда был не в силах, то есть грамотно прочесть то, что ему написал Первый.

Вместо этого он вдруг оживлялся и рассказывал анекдот, и все вокруг смеялись как дети и были очень довольны, поскольку каждый чувствовал себя намного умнее короля.

Все ликовали и рассказывали друг другу теперь уже анекдоты про него.

Ведь королей не выбирают, как не выбирают пап и мам, — какие детки, такие у них и родители.

И государство благоденствовало.

А Первому доставалось от граждан за все промахи, и вообще его жизнь была не слишком радостная — он рано овдовел и теперь жил с двумя малыми детьми.

Хотя он тоже не унывал и много работал.

Во всяком случае, король ему не мешал, король был всеобщим любимцем за границей — он быстро забывал все, даже мелкие обиды, наносимые ему другими королями на совещаниях и конференциях.

В ответ он рассказывал очередной анекдот, и все вокруг заливались смехом.

Поэтому страна ни с кем не воевала. Или это была заслуга мудрого Первого — кто там разберет.

А у короля вообще было правило: после первой же рюмки он лез обниматься и целоваться, однако только не с королевой, только не с ней.

С супругой он виделся исключительно на парадах и церемониях, так как искренне ее боялся.

У нее были длинные острые ногти, большущие зубы и стальные от постоянных занятий спортом ноги.

Руки у нее тоже были длинные и сильные, и королева запросто побивала любого местного чемпиона по каратэ, да никто особенно и не сопротивлялся, ни женщины, ни тем более мужчины, еще чего.

Она даже любила заглядывать в клетку к одному опасному сумасшедшему, к злодею, который убил пять человек просто потому, что они в поздний час шли по улице, ночью надо спать, твердил он, убивая, должен же быть порядок!

Таким образом этот человек решил воспитать народ, который шлялся у него под окнами и мешал отходу ко сну.

Его не казнили, добряк король был против смертной казни, или это его слуга Первый подложил ему на подпись такой указ — об отмене государственного убийства убийц.

Держали сумасшедшего злодея в особой клетке, просторной, со всеми удобствами.

Он там сам у себя убирал, держал все в идеальном порядке.

Единственно что: злодей сидел на цепи, чтобы охранники могли входить в клетку по разным делам — то вернуть лампочку, то починить телевизор; а на



крайний случай, если, к примеру, узник, обидевшись на плохое обслуживание или запах, допустим, чеснока (а также чего другого), не захотел бы вдруг порешить своего тюремщика одним ударом, цепь можно было укорачивать по желанию, держа заключенного на короткой привязи.

Клетка эта располагалась на самом верхнем этаже Дома скорби, в самом далеком коридоре.

Туда-то и любила заходить королева, обсуждая со Злодеем разные передачи телевидения и вопросы воспитания народа.

Она восхищалась его твердостью и смелым характером, которому не было бы преград, если бы не клетка.

Сам Дом скорби ничем особенным не отличался, обыкновенная психушка с обыкновенными больными, несчастными людьми, которые считали себя кто Наполеоном, кто зернышком, а кто и будильником.

Была также целая палата лысых Лениных.

Королеву они все искренне смешили, но быстро надоедали ей своими слезами, просьбами отпустить на волю и сумасшедшей ревностью (королева почему-то не любила, когда ее кто-нибудь любил, хотя она также не выносила, если кто-то не выносил ее самое, такая это была странная женщина).

А как раз Первый искренне, с первого взгляда, ненавидел королеву.

Он ее не боялся, но она ему сильно вредила, после того как однажды на празднике в парке он отказался пойти с ней в известную беседку под названием «Грот Венеры».

Он отказался грубо и наотрез.

И удивленная королева через своих шпионов вычислила: он просто трус, ему, видимо, донесли, что в этом гроте нечисто.

Действительно, там иногда под утро приходилось убивать и потом сбрасывать эти трупы в речку, что же делать!

Кроме того, может быть, у него были сведения, что в этом гроте всегда заготовлена охупка моченых розог для порки под названием «Верба-хлест».

Королева не знала, что Первый просто брезговал ею, как иногда люди брезгуют пауками и гадюками.

Королева, получив отказ, кротко кивнула, но затем начала строить против Первого жуткие козни.

Кто-то даже заранее подпиливал ножки у его стула на торжественных обедах, которые транслировались по телевидению, чтобы он грохнулся на глазах у всех, и одну камеру специально ставили за его спиной.

Так бы было смешно! И это прямо перед выборами. Но у Первого была верная, преданная охрана, которая все видела, и как только этот стул бывал специально принесен, так же быстро он бывал и унесен.

То она посылала корзины тухлых яиц (собственноручно воспитанных в удушливом воздухе «Грота Венеры») — специально расставлять их по маршруту следования машины Первого.

Вот стоит корзина с яйцами, никому не нужная, хозяйина нет, а мимо едет не любимый населением Первый.

Все было сделано во имя народа, для блага народа, однако все до единой корзины с яйцами оказались украдены задолго до нужного момента неизвестно кем.

А неизвестно кто — это и есть народ.

И никогда не угадать, что для него благо, а что нет.

— Вот бы, — говорила королева с тоской злодею в клетке, — вот бы начинить каждое тухлое яйцо взрывчаткой, вот бы они зажарили омлет у себя на кухне, кровавенькая бы вышла жарёха!

Королева, правда, утешилась, представляя себе, какую вонючую яичницу приготовили себе похитители!

А насчет взрывчатки королева даже как-то не спала ночь, все придумывая способ фаршировки яиц порохом, однако поскольку она в свое время училась из-под палки (из-под розги, посредством которой мать как раз хотела привить

доченьке любовь к учебе), то ничего придумать так и не смогла, двоечники не сильны в химии.

Но все это было еще безобидными шуточками.

Пришло время решительных действий, и королева постановила устроить вечер анекдотов.

Она объявила, что это будет подарок королю.

Все были обязаны рассказать по анекдоту, в том числе и Первый, который терпеть этого не мог.

А королю было сказано, что Первый слегка повредился в разуме и все толкует про какую-то «Вербу-хлест, бей до слез», а это выражение запрещено в государстве.

Специально для такого случая была вызвана выездная бригада психиатров, их для конспирации одели в черные халаты садовых рабочих и расставили по лужайке с лопатами и носилками — таков был приказ королевы.

Что касается Первого, то королева подошла к нему перед началом праздника и сказала, что король обожает один детский анекдот про вербу-хлест, но рассказывать ничего не придется, первые же слова «верба-хлест» вызовут у короля приступ хохота, и дело будет сделано.

Первый пожал плечами и ничего не ответил.

Наконец праздник начался.

Всем были розданы номера, и задача оказалась непростая — развеселить короля. Король уж в чем знал толк, так это в анекдотах.

Он помнил их все наизусть.

Придворные же, искусные дипломаты, строго воспитанные дамы, вышколенные аристократы, все как один выросшие в монастырях и закрытых частных школах, — все они, к сожалению, ничем особенно блеснуть не могли.

Они, конечно, знали каждый с юности по два-три анекдота, но совершенно неприличных, — чем еще могут развлекаться дети в закрытых учебных заведениях?

А неприличных анекдотов король и сам знал сотни, и договорились, что вслух их произносить не будут, только назовут тему.

И пошло-поехало.

Один вызванный кричит:

— Я не к вам, я к вашему попугаю!

Король пожимает плечами:

— Было.

Второй вызванный говорит:

— Не мальчик, а кто?

Король улыбается:

— Помню, помню.

И настает очередь Первого.

А он молчит.

Королева тихо, склонившись к нему, спрашивает:

— Вы что? Вы забыли, что вы слуга? И, кстати, где сейчас ваши чудесные деточки? Я их так люблю! Они без охраны? О, это очень опасно! Они поехали смотреть рыбок в Океанариум? О, я им завидую.

Первый давно знал, что королева готовит ему какой-то злобный фокус, но не удалось выяснить какой.

А вот теперь все стало ясно. О том, что дети поехали в Океанариум, не знал никто, кроме воспитательницы и шофера.

Мало того, это решение было принято за полчаса до праздника анекдотов и в кухне при звуке льющейся воды, то есть со всеми предосторожностями.

— О,— продолжала королева,— сейчас на дорогах так опасно! То и дело ездят эти кошмарные тяжелые грузовики с капустой! Ну, так где ваш анекдот? Растерянный Первый молчал. И все молчали.

Тишина повисла над лужайкой. Замерли садовые рабочие с лопатами и носилками.

И тут в руке у королевы блеснул радиотелефон.

Она медленно набирала какой-то номер, выразительно глядя на Первого. Первый с бьющимся сердцем произнес:

— Ну, верба-хлест.

— Что это такое? — робко спросил король.

— Что-то новенькое? — подхватила королева.

— Как-как? Как называется?

— Верба-хлест.

— И в чем там дело? — испуганно спросил король.

Первый не знал, что отвечать.

Все ждали.

— Верба же хлест,— оглядываясь по сторонам, ища помощи, повторил Первый.— Знаете?

Никто не откликнулся. Все как окаменели. Все чувствовали, что происходит что-то ужасное. Малейший намек на «Грот Венеры» и розги карался сорока годами каторги, как злостная клевета, а уж что говорить о знаменитой на всю страну поговорке государыни «Верба-хлест, бей до слез», за это награждали «деревянной вдовой», виселицей.

И тут Первый слишком поздно заметил, что охраны его рядом нет и что садовые рабочие торопливо снимают черные халаты, а под черными халатами у них белые.

Белые халаты окружили Первого.

— Ему плохо? — сказал король.

— Переработал,— мягко ответила королева.

— Перетрунулся,— зашелестели придворные.

— Скорая медицинская помощь,— провозгласил один белый халат, а другие подхватили носилки, на свет появились простыня, шприц, Первому закатали рукав, и укол был сделан в течение секунды.

Тем дело и кончилось. Вскоре он равнодушно лежал на носилках под простынькой, а его обезоруженная охрана уже была увезена на грузовике куда-то. И карета «Скорой помощи» тоже выехала из дворцового парка, а королева тут же представила собравшимся нового Первого по имени Второй.

Второй оказался симпатичным молодым человеком, ничем не примечательным, он служил в должности четвертого помощника посла в Панголине и однажды сопровождал королеву в поездке по этой дикой стране в течение десяти дней и ночей — и там, видимо, и зарекомендовал себя.

Второй быстро освоил свою новую должность, подсаживал королеву в карету, сопровождал ее на вернисажи и концерты, носил королю на подпись указы, составленные королевой, в числе которых был и указ об отмене указа об отмене смертной казни.

Король, как и раньше, все подписывал, и никто не мешал ему пить и гулять, и он не мешал никому.

Только он почему-то больше не рассказывал анекдотов и с ужасом отстранялся от королевы, когда она приветствовала его на праздниках и казнях.

Теперь казни производились регулярно по воскресеньям, шла прямая теле-трансляция, разыгрывались пари — помилуют преступника или не помилуют, и, говорят, королева, которая единственная знала об этом, загребала огромные выигрыши.

— Королева тоже хочет заработать,— говорили уважительно верноподанные.

Вручался также суперприз — и выигравший мог своей властью помиловать одного из осужденных. То есть спутать карты королеве и дать выиграть кому-то безымянному.

Это было опасно, что вызывало жуткий азарт в целом государстве. Все жили от воскресенья до воскресенья.

Народ наконец получил, что хотел, не отлипая от телевизоров.

Королева со Вторым присутствовала и на других мероприятиях, среди которых особой пышностью выделялся выпускной вечер школы палачей, где каждому дипломнику была дана возможность отличиться тут же в прямом эфи-



ре в воскресенье, и юные палачи могли даже выбирать орудие труда — то ли виселицу, то ли гильотину, то ли плаху, а медалистам можно было показать себя в стрельбе по бегущей мишени.

Тюрьмы наконец опустели, преступников ловили как дичь, кривая правонарушений пошла круто вниз, и теперь даже за кражу куска хлеба или книги в библиотеке полагалось долго отпиливать руку или ногу или выкалывать глаза по жеребьевке, кому что выпадет, и этот волнующий момент тоже транслировался по телевидению.

Короче, был наведен порядок.

Люди ликовали: наконец-то!

Но и порядочные граждане иногда оказывались героями воскресных телепередач — например, за наезд на пешехода полагалось повешение, и пешехода тоже казнили из чувства справедливости, если он оставался жив, а вот если нет — шоферу полагалась гильотина плюс предварительные пытки в подвале (ночная субботняя трансляция).

Мало того, всем инвалидам было предписано жить за городом в особых домах (для их же безопасности) — ибо, завидев однорукого или одноногого, а также слепого, кто угоден мог приволочь его на казнь, крича: «Вор, вор!» — так как на бывшего преступника (с уже отпиленной ногой или выколотыми глазами) можно было взвалить вину за кражу, никто и не проверял, даже платили премию и отдавали квартиру казненного тому, кто поймал.

Так что за инвалидами в случае нужды тоже охотились.

Народ заговорил о твердой руке.

А королева раз в неделю посещала свой любимый Дом скорби, оставалась в отдаленном помещении недолго и в прекрасном расположении духа ехала сразу же на площадь Казней, чтобы явиться перед камерами телевидения в лучшем виде.

Всюду при этом ее сопровождал Второй, молодой мужчина с приятной внешностью, немного капризный по виду.

А Первый все это время как раз и сидел в Доме скорби, и сидел именно там, в отдаленном коридоре, в одной клетке со Злодеем.

Так придумала королева.

И каждый раз она громко смеялась, видя, как тянется к Первому Злодей, но цепь не пускает его на каких-то десять сантиметров, а сам Первый прикован к решетке за обе руки.

Первый стоял уже многие месяцы, ноги его распухли, и только когда Злодей ненадолго засыпал, Первый мог хотя бы присесть на пол и тоже поспать, но Злодея мучила бессонница, и Первому приходилось туго.

Королева каждый раз просто стонала от смеха, видя, как Злодей натягивает тонкую цепочку и шарит в воздухе руками в десяти сантиметрах от рубашки Первого.

Иногда королева развлекалась по-другому: она давала послушать Первому голоса его плачущих детей по радиотелефону — дети тихо пищали и просили прощения у кого-то невидимого, маленький просил хлебушка, а потом раздавались удары и покорные рыдания.

Первый смотрел в пол, а королева радовалась как ребенок (вспомним ее детство) и говорила:

— Верба-хлест, а?

Но все на свете меняется, и однажды Второй сообщил королеве, что международная комиссия ООН решила послать инспекцию в разные страны, как там соблюдаются права человека в больницах и тюрьмах, не мучают ли людей.

А поскольку он, Второй, член этой комиссии — был грех, заставили вступить свои же из министерства, чтобы прощупать обстановку и быть в курсе дела, — то инспекция приедет и к ним в страну.

Королева чего не любила для себя лично, так это надсмотрщиков, учителей и всяких указаний — она этого не могла выносить еще со времен вербы.

Она сказала, что в свою собственную страну она никого не пустит, никого.

Второй скромно ответил, что тогда все поймут, что у них нарушаются права человека, и не пустят, в свою очередь, саму королеву с визитами в свои государства: все поездки доброй воли в богатые и цивилизованные страны отменяются!

В бедные можно, но там всюду, как и тут, стрельба, очереди и в гостиницах тараканы.

— Прекрасно,— ответила королева,— пусть приезжают. Но только не на Вербовское шоссе!

(То есть в Дом скорби.)

— Они как раз туда и едут,— возразил Второй скромно,— им кто-то настучал.

— Прекрасно,— опять сказала королева,— ты мне начинаешь ставить палки в колеса, а? Я люблю, когда меня не любят, но люблю какой-то странной, мучительной любовью. Ты схватываешь ситуацию?

— Схватываю,— отвечал побледневший Второй.

Короче, королева предложила сменить название учреждения на Вербовском шоссе и вместо Дом скорби назвать это дело Школой драматического искусства, а для больных ввести звания «студент» и «выпускник» (выпускниками в шутку называли самых древних старичков и безнадежно больных) — что же касается санитаров, то они отныне именовались «педагоги по технике речи», а врачи носили звание «мастеров».

Буйное отделение имело отдельную вывеску — «Курсы пластической импровизации».

В нищую психушку были временно свезены театральные костюмы с киностудии.

И когда королю и королеве были представлены члены комиссии ООН, все уже было готово.

Глуповатый король спросил:

— Как долго уважаемые пробудут в нашей стране?

Комиссия ответила, что они временем располагают.

Королева, в свою очередь, поинтересовалась:

— Уважаемые знают адреса учреждений?

— О да,— ответили ученые, разномастные, бородатые и лысые, в бейсбольных кепках, очках и майках, несолидные какие-то.

— А можно ознакомиться со списком? — спросила королева.

— О да,— сказала комиссия.

— А что это у вас за адрес, Вербовское шоссе? Там нет никакой больницы, там теперь Школа драматического искусства.

— Ой,— воскликнул король,— а я и не слышал, надо же! Молодые актриски, а? Давно это у нас?

— Ты что? — с ненавистью улыбаясь, отвечала королева.— Да ведь я начала эту школу! Давным-давно, ты что?

— Прекрасно,— сказала комиссия,— мы изучаем также и учебные заведения, и тюрьмы, и детские сады, и казармы: всюду, где могут нарушаться права человека.

— Что вы! — сказала королева.— Какие там права! У нас с этим давно все в порядке.

— Итак, едем на Вербовское шоссе! — заключила комиссия.

— Я с вами,— улыбнулась королева.

— А у меня государственный вопрос,— сказал глупый король, держась за живот.— Я остаюсь.

Но комиссия не взяла королеву, поскольку у них был только экологически чистый транспорт, многоместный велосипед, на котором они ездили из страны в страну, ни от кого не завися; велосипед был снабжен также полевой кухней и балдахином от дождя.

И пока королева шла вдоль почетного караула, пока гремели залпы в ее честь и раскрывались ворота, пока начальник стражи рапортовал, а гвардейцы, держа равнение, расходились в стороны — короче говоря, пока шло без сучка

без задоринки ежедневное прохождение королевы за калитку (любое нарушение каралось расстрелом на месте при помощи взвода товарищей) — велосипедисты давно уже приехали в бывший Дом скорби на Вербовском шоссе.

Комиссия прошла мимо учебной аудитории, где сидели по койкам студенты, каждый в роли Наполеона, и, скандально пуская в ход кулаки и табуретки, обсуждали план действий под Ватерлоо, а педагог, кисло улыбаясь, раздавал всем очень большие витаминки.

Далее комиссия миновала комнату, где Ленин говорил речь, бегая по столу, а пятнадцать других Лениных лежали почему-то привязанные на кроватях и махали руками и ногами, а педагог ловил бегающего Ленина и орал на студентов громким голосом, как и полагается режиссеру, но его никто не слушал, потому что все присутствующие тоже произносили речи, кто какую хотел.

Далее следовали курсы пластической импровизации, где шел спектакль «Каторга» и все актеры были прикованы цепями к стене, разнообразно импровизируя позы страдания, а педагог по технике речи играл роль свирепого надсмотрщика настолько удачно и был так хорошо загримирован, что комиссия даже заплодировала — судите сами: на голове шерсть до бровей, носа нет, одни дырки, зато брови мощные, как руль у велосипеда.

И так далее, вплоть до загримированных рук (татуировка).

Когда королева прибыла, комиссия уже просила ключи у дежурного на верхнем этаже.

Королева поднялась туда в самый разгар скандала, слегка затуманилась, но потом разрешила открыть дверь.

При этом она сказала, что тут репетируется пьеса на двоих «Казнь». Все уже загримированы.

Комиссия увидела почти настоящего средневекового палача за решеткой в полном обмундировании, который стоял на цепи с большим топором в руке, тоже явно настоящим, и глядел на свою жертву.

Правда, топор был прикреплен отдельной цепью к стене, так что палач был не в силах дотянуться до жертвы.

А осужденный в полосатой робе с мешком на голове держался обеими руками за решетку, будучи к ней же прикован наручниками.

Педагог, красный от волнения, сидел за столиком у графина с водой и репетировал.

— Очень жизненно, — сказала королева, — просто МХАТ имени Чехова.

— О да! — откликнулась хором разноперая комиссия.

— Ну, вы все посмотрели? — чудесно улыбнулась королева. — Поехали, а то у нас скоро главный обед. У вас у всех есть приглашение?

— О да, — завершила ее комиссия.

— Ну и пошли.

— Так-то оно так, — сказал председатель комиссии, по виду нищий студент, в кепке задом наперед и с болтающимися шнурками, — но вот тут нарушаются права актера. Почему ваш студент прикован к решетке? Глядите, у него руки отекли. Кстати, и ноги!

— Вы что, это грим, грим! — зашептала королева. — Это спецэффект!

— А зачем это он на цепи, ваш палач? Здесь резко нарушены права человека!

— Это театр! — воскликнула королева. — Это режиссерская трактовка.

— Не верю! — завопил председатель комиссии. — Палач не может быть на цепи!

— Ой, ну перепутали студенты, — шутливо сказала королева, — ну простим им, они первокурсники. Я распоряжусь, им поставят двойки.

— Нет, надо его освободить, — заартачился председатель комиссии. — Мы здесь для того, чтобы освобождать и снимать оковы.

И лицо его стало каким-то светлым.

«Тебе самому здесь место, псих», — злобно подумала королева, а вслух сказала:

— Ой, профессор ушел, а это ассистент, верно? Да нет у него ключей.

Председатель комиссии спросил педагога, сидящего у столика с графином и телефоном:

— Ключ есть?

Преподаватель вскочил, и у пояса его звякнула связка отмычек.

— Ну дай, дай им ключи! — резко сказала королева, а сама подумала: «Если даст, казну в воскресенье с субботней трансляцией из камеры пыток».

— Ну,— ответил педагог, после чего, не говоря ни слова, упал под стол, видимо, от волнения.

— Обморок, артистическая натура, никогда не видел иностранцев,— объяснила королева.

И она обратилась к своему верному Второму:

— Снимите у него с пояса ключи, возьмите самый большой, медный, и, так и быть, отоприте клетку.

Когда приказ ее был исполнен, она сказала:

— Теперь возьмите самый маленький серебряный ключик и освободите палача. Замок у него на сапоге.

— Ну уж нет! — нервно сказал Второй.— Вот уж это ни за что.

— Запомним,— сказала королева приглушенным голосом.— Запишем в книгу «Грота Венеры». В книгу уходов.

— Нет, нет! — повторил Второй, отступая от королевы.

— Ну хорошо,— сказала королева и протянула ключи председателю комиссии.— Вы можете сделать святое дело и освободить этого студента.

Председатель комиссии закричал действительно как псих:

— Послушайте, а вот тут еще хуже нарушаются права студентов! Во-первых, этот студент, который так хорошо играет жертву, что у него на руках раны, он ведь может задохнуться в мешке, и его надо освободить первым! Я сначала желаю освободить этого человека! Смотрите, ведь у него на шее затянута веревка!

Тут стоящий у решетки студент с мешком на голове начал глухо мычать.

«Повешу предателя сразу же,— подумала королева.— Он же обещал мне молчать под страхом гибели детей, подлец! Ему же специально заткнули для этого рот!»

А вслух она сказала как можно более мелодично:

— Кто-то больше никогда не увидит кого-то!

А председатель уже тянул свою тощую руку к ключам.

— А вот и нет,— ласково сказала королева,— первое слово дороже второго! Сначала вы освобождаете палача, а потом жертву, то есть что это я?! Сначала того студента, а потом этого.

— Нет! — твердо пролаял председатель комиссии, и вся комиссия дружно пролаяла: «Нет!»

— Это я говорю здесь «нет!» — завизжала королева и сразу стала похожа на свою собственную мамашу (все кричащие женщины, кстати, становятся похожи на своих матерей, так как стареют прямо на глазах).

Разумеется, королева хотела сначала освободить Злодея с топором, чтобы он тут же и зарубил бы Первого.

— Какие все мужчины дураки упрямые! — бешено сказала она, выбирая ключ от цепи Злодея.— Просто жуть какая-то.

И с этими словами она спокойно вошла внутрь клетки, а затем с ласковыми словами склонилась к сапогу Злодея.

— Сейчас ты сделаешь то, о чем мечтал,— зашептала она.— Ты сможешь убить этого идиота, подойдешь к нему и просто убьешь, отрубишь ему голову.

— Да,— сказал глухо Злодей из-под капюшона и тут же, не ожидая освобождения, отрубил голову королеве.

— Она нарушила внутренний распорядок,— объяснил Злодей ахнувшей комиссии.— У нас сейчас мертвый час.

Затем он горделиво выпрямился и сказал:

— Прошу следующего.

Крича что-то неразборчивое, председатель и его комиссия толпились у открытой двери клетки.

А бледный Второй сказал Злодею:

— По внутреннему распорядку не полагается наличие посторонних убитых в камере и ключей на полу. Вы нарушили правила поведения, вас накажут, не дадут вам вечером конфетку.

Тут Злодей зарыдал и, утирая сопли, стал канючить:

— Она сама вперлась, кто ее просил! Я не виноват! Мы отдыхали с товарищем после обеда, а она сюда втюрилась!

— Если вы перебросите нам ключи, конфетку вам дадут. Если нет, вам не видать больше вечерней конфетки, я об этом позабочусь!

— Нате, подлецы! — завизжал Злодей. — Получите ваши ключи! Конфетку пожалели!

И он швырнул ключи Второму.

Ловкий Второй, не входя в клетку, освободил Первого и потянул его к двери под пристальным взглядом Злодея, натянувшего цепь в десяти сантиметрах от своей жертвы.

Комиссия, влоча ослабевшего Первого, погрузила его в королевский лимузин, оставив Школу драматического искусства доигрывать свои спектакли.

Второй дал шоферу адрес, и странный караван, состоящий из лимузина в сопровождении эскорта мотоциклов и многоместного скрипучего велосипеда с бултыхающимся балдахином, под вой сирены и бешеный лай больничных собак, среди полной паники полицейских, по очистившейся внезапно улице помчался туда, куда сказал Второй.

И там оказался специальный детский комбинат (тюрьма-ясли-сад), и ликующая комиссия всех освободила, то есть бледных, худых детей вывели, вынесли на руках, а не менее бледная, но жирная охрана испуганно слушалась любого слова Второго.

И Первый взял на руки сразу трех, двух своих и третьего, кто подвернулся.

Был общий праздник, и народ охотно принял в нем участие. Первому всюду аплодировали, король со слезами на глазах (все-таки освободился от королевы) обнял и расцеловал Первого и тут же назначил его опять Первым.

Был подписан ряд указов — о ликвидации «Грота Венеры», Школы драматического искусства, субботних и воскресных воспитательно-зрелищных передач «Спи спокойно» и всех казней, а также специальных детских тюрем.

Мало того, вышел особый указ о неприменении к детям физических наказаний.

С последним вопросом некоторые в народе остались не согласны, но появившееся вскоре жизнеописание королевы многое должно было объяснить читателям.

Что касается Второго, то его простили и опять послали четвертым советником в государство Панголин.

А Первый все так же добр, но одного он не разрешает королю: жениться. Да тот и не особенно хочет.

## **ВОЛШЕБНАЯ РУЧКА**

Однажды в магазин явилась мамаша с ребенком купить ему ручку.

Мамаша, разумеется, хотела купить ручку подешевле, а ребенок хотел купить ручку лучше.

Стоя у прилавка, они заспорили и довольно долго выбирали, с одной стороны, ручку подешевле, но, с другой стороны, чтобы она была бы самая лучшая из дешевых.

А тут же стоял колдун, который пришел за чернилами: мало ли, нужны чернила, и все тут.

Но мамаша с ребенком все никак не могли купить достаточно дешевую и в то же время самую хорошую ручку, и терпение у колдуна лопнуло.

Он тут же преподнес малышу и его маме прекрасную ручку из своих запасов, которая имела и еще такое великолепное свойство, что начисто отбивала память у пишущего.

Возьмет человек ручку, напишет словечко — и тут же все науки испаряются из его бедной головы.

Такой подарок сделал колдун двум ни в чем не повинным покупателям.

Однако мамаша и сынок обрадовались этому бесплатному дару и потащили его домой, причем тут же по дороге они заспорили, кто будет владеть столь прекрасной ручкой: мама говорила, что в школу нести такую вещь бесполезно, тут же украдут.

Ребенок же упирался и хотел, наоборот, пойти с этой ручкой в школу и похвастаться там перед друзьями.

Но победила, конечно, мамаша.

Наутро она отправилась на работу с новой ручкой, причем положила ее торжественно в свой тощий кошелек, чтобы не потерять, а мальчишка побежал в школу с бывшей маминой простой авторучкой, к тому же измочаленной на конце: в минуты задумчивости мама, как каждый пишущий человек, грызла свое орудие труда.

Мальчик даже немного всплакнул, получая утром из рук матери такую жеваную вещь, но что делать!

Он писал своей так называемой ручкой целый школьный день, а вот мама по дороге на работу встретила в троллейбусе с мелким воров, который промышлял по чужим сумочкам.

Мелкий вор тут же споткнулся, потерял равновесие и ухватился для верности двумя руками за сумочку как раз нашей мамашы.

Он тут же извинился, выпрямился, причем мамашин кошелек с ручкой уже лежал у него за пазухой: еще бы, карманное воровство — это целая наука!

Дальше их пути разошлись, вор поехал к себе домой, где его ждали усатенькая мать и бритый отец, а также трое братьев-воров.

Это была знаменитая семья, и если братья имели среднее образование в избранной специальности, то папа кончил, можно сказать, институт, а мама была просто аспирантом в области воровства.

Братья шарили по карманам, папа работал в поездах, а мама трудилась на международных авиалиниях, совершая перелеты по маршрутам Барнаул — Ташкент или Ялта — Магадан.

Иногда, в перерывах между тюрьмами, эта добрая семья собиралась на кухне в своей квартире и дралась сковородками и кастрюлями.

И вот как раз такая драка разгорелась у них, когда усатая мать выпотрошила принесенный младшим сыном кошелек и ничего там не обнаружила, кроме трех монет и одной авторучки.

Она стукнула младшенького по голове табуреткой, отец разозлился и встал на защиту малыша, метнув утюг поперек всей кухни, а трое братьев-воров отразили удар сковородой, крышкой от кастрюли и поддоном от газовой плиты.

И уже собиралась ехать к ним милиция, вызванная соседями, как вдруг звонил телефон и мать, взяв трубку, услышала милую новость: оказывается, ее родной дядя пошел грабить соседскую квартиру и просил прийти на помощь, так как в этой квартире проживал злой дедушка, который встретил дядю пулеметным огнем.

Дядя-грабитель надеялся, что у злобного дедушки уже кончаются патроны, но просил на всякий случай надеть все самое поношенное, если придется ползти под ураганным огнем противника, ибо у деда полы немытые.

Тут же дядя стал диктовать адрес боевого дедушки, сидя у него в прихожей (дед же окопался в кухне).



Дядя-грабитель кричал в телефон адрес, поминутно прерываясь, так как ему мешал ураганный пулеметный огонь, он кричал: «Возьмите ручку, диктуйте».

Но ручек в квартире мамы-аспиранта и ее домашних не было с тех самых пор, как младший бросил школу в третьем классе, дойдя до дробей.

Однако тут же мамаша вспомнила, что выкинула в окошко какую-то ручку, которую вор-малютка принес домой в пустом кошельке.

Пока бегали за ручкой, дядя выпросил у деда временное прекращение огня.

Но потом, когда ручка была принесена, дедушка возобновил военные действия, так как обиделся, услышав, что диктуют его собственный адрес.

Но адрес записать удалось с трудом, вся семья тут же у телефона подралась за право владения ручкой.

Мама смогла только вывести название улицы, папа успел накалякать слово «дом», но тут уже дети вырвали ручку и каждый нарисовал по цифирьке.

Короче, как только адрес был записан, наши специалисты тут же на месте позабыли все, чему обучились в своих университетах.

Вспомним, что ручка была волшебная и начисто отбивала всякую память на науку.

Мама стала убеждать по телефону разбойника-дядю не грабить дедушку, так как нехорошо брать чужое.

Папа очень ее в этом поддержал и вырвал трубку со словами: «Алло! Звоню в милицию! Адрес мы уже записали!»

А потом и взрослые дети по очереди сказали дяде, что воровать стыдно и неприлично.

На этом разговор прервался, так как дядя застонал по телефону и сказал: — Дед попал мне по уху, больше разговаривать не могу, ничего не слышу!

И он повесил трубку.

А вся семья, забыв про свои научные достижения в области воровства, дружно пошла наниматься в овощной магазин грузчиками, и, поверьте мне, в истории торговли не было более честной команды грузчиков: они, прежде чем взять и съесть, допустим, помидор или морковку, бежали к весам, взвешивали отобранное в порядке очереди, а затем, выстояв еще одну очередь, оплачивали товар через кассу!

Разумеется, их за это выгнали, так как они весь свой рабочий день посвящали беготне по очередям.

Где теперь трудятся эти честные люди, сказать трудно.

И подумать только, что всему виной какая-то бесплатная авторучка.

А мораль сей басни такова — бесплатное обходится иногда дороже, особенно вора!

### **ГЛУПАЯ ПРИНЦЕССА**

Жила-была красивая, но удивительно глупая принцесса Ира, которая совершенно не соображала, где что можно говорить.

К примеру, соберутся у папы с мамой во дворце гости, а глупая Ира тут как тут и говорит:

— А правда, что вы все воры?

— Кто тебе это сказал, доча? — ласково спрашивают гости.

— А папа с мамой, — отвечает глупая Ира.

И тут же начинается война в газетах: разрыв отношений, требования вернуть старые долги и так далее, а королевство мизерное, доходы небольшие, войска — пятнадцать человек, причем четырнадцать из них генералы.

Сами посудите, что делать в таких условиях? Король с королевой извинялись перед всеми лично за свою глупую дочь, говорили, что во младенчестве Иру уронила нянька, все в таком духе.

Короче говоря, Иру перестали пускать к гостям, кормили ее с тех пор на кухне.

Но там Ира тоже набиралась разнообразных вопросов и по-глупому спрашивала, например, у королевы-матери:

— А правда, что у папы есть еще одна мама?

— Кто тебе это сказал? — спрашивает ласково королева.

А Ира отвечает:

— Одна тетя на остановке трамвая.

— А кто это тебя, интересно, водил на остановку трамвая? — спрашивает еще более ласково мать-королева.

— Это не меня водили, — отвечает опять глупая Ира. — Это наша кухарка туда ходила и видела.

И дальше уже можно и не рассказывать, что повариху после долгого допроса выгоняли, а папу после долгого допроса прощали, потому что разводиться королям нельзя, дальше надо уже отказываться от трона, а этого делать тоже нельзя, поскольку впереди маячит как наследница трона все та же глупая Ира: не оставлять же народ на Иру и на четырнадцать генералов и одного полковника!

Таким образом, Иру уже не пускали даже на кухню, и бедную глупую девочку переселили в пустую сторожку в самый конец парка, и Ира получала еду по королевской почте, и все вроде бы вздохнули спокойно.

Но тут же всплыли новые дела: Ира подцепила где-то большую собаку, щенка неизвестной породы, и королевская кухня, оказывается, работала на прокорм именно этой твари!

Собаку немедленно отобрали и вывезли вон, на помойку соседнего государства, и что же вы думали?

Ира вообще отказалась от пищи и три дня не пускала королевскую почту на порог.

Что делать, сенат посоветался и вынес решение купить глупой Ире карликового пуделя, так и быть.

Потратили на это дело полказны, приобрели и принесли Ире под дверь.

Но Ира продолжила голодовку, так что пришлось ехать снова за границу: послали делегацию искать Ирину собачку на иностранной помойке среди тухлой колбасы и рваных подушек.

Выбрали и привезли глупой, но капризной принцессе на выбор трех собак, вымыли их, высушили, надушили.

Ира выбрала всех трех, но и пуделя не отпустила, и теперь завтраки, обеды и ужины проходили у нее в веселой обстановке: все ее приближенные (собаки) сидели на полу, повязанные салфетками, и ели из тарелочек кто сколько хочет, в том числе и глупая Ира, и если кто к ней приходил, в частности мать с отцом, то им приходилось тоже садиться, как собакам, на пол, иначе глупая Ира не желала с ними разговаривать, а ведь иногда бывали важные государственные вопросы, к примеру, в какую школу отдавать наследницу престола.

В первой же школе Ира сказала учителю, что он дурак, раз спрашивает у детей, сколько будет один да один: самому надо знать!

Иру оставили в покое, тем более что население в ее сторожке увеличилось: родилось пять щенков, а также Ира нашла в подвале очень толстую кошку и теперь с интересом ждала, будут ли котят.

Тогда у родителей лопнуло терпение, и они решили отдать свою глупую дочь в школу ветеринаров, куда Ира вскоре и переехала вместе с собаками, щенками и пузатой кошкой, которую везли в отдельном плетеном сундуке.

Там, в ветеринарной школе, Иру и оставили, и больше о ней не было ни слуху ни духу, пока она не выросла и не открыла собственную клинику для животных.

Мать с отцом, король с королевой, в те поры уже были люди немолодые, и надо было подумать о муже для глупой дочери, но все близлежащие и даже дальние женихи, принцы, графы, даже купцы, старшины и сержанты, даже продавцы, мойщики стекол и рубщики мяса — все были наслышаны о глупости принцессы Иры, и никто не желал свататься: посватаешься, а она что-нибудь такое про тебя в результате ляпнет, что будет неловко перед народом.

К тому же пошли слухи, что у нее в клинике каждый владелец большого животного мог быть тоже госпитализирован, то есть имел право лечь в больницу вместе со своим нездоровым питомцем — вот как мать кладут в одну палату с заболевшим ребенком, чтобы ухаживать за ним на полную катушку.

И к Ире в клинику полезли всякие шарлатаны, бездельники и проходимцы: принесут какого-нибудь полузадушенного лесного клопа и ложатся с ним на год в отдельную палату.

Кто приходил и с тараканом без одного усика, кто и посерьезней, с лягушкой, у которой подозревалась водянка среднего уха, а кто прибежал с жалобой на полевую мышшь: не ест мяса, и все, чума, наверно.

И вот Ира одним прекрасным днем, запыхавшись, вела прием, и перед ней предстали хромой осел и его хозяин, мрачный и злой, который назвался Петром, а про осла продиктовал, что его зовут Жених.

Петр спросил, можно ли ему вылечить здесь осла Жениха за полчаса, потому что нужно срочно возить на нем воду.

Ира ответила, что нельзя, надо, наоборот, срочно оставить Жениха в клинике.

— Нет, — уперся мрачный и злой хозяин, — тогда я его пристрелю, шкуру с него сдеру, продам, а из мяса сделаю докторскую колбасу и тоже продам. А из хвоста сплету кисточку для тюбетейки, а копыта и кости пойдут на холодец! И я заработаю на этом целых две золотые монеты!

Так заявил этот мрачный и злой Петр.

Глупая же Ира тогда предложила, что если уважаемый хозяин хочет, то она купит у него осла Жениха за эти же две золотые монеты.

Злой Петр, наоборот, не согласился и потребовал у Иры за живого осла две тысячи золотых монет.

Ира тут же ушла и вернулась с бусами из драгоценных камней.

Она сказала, что это стоит много дороже двух тысяч, но сейчас нет времени на продажу, так вот пусть почтенный Петр пойдет и продаст эти драгоценные камни, а сдачу пусть принесет когда сможет, а то зверям нечего есть.

Злобный Петр бусы не взял и сказал:

— Ну и дура же ты! Мне говорили, что ты глупая, но я не верил! У меня висит твой портрет из газеты, и я смотрел на него и думал: неправда, у такой девушки должна быть очень ясная голова. И вот теперь я вижу, что ты действительно глупа как пробка! Ты всем веришь! А я ведь купил этого хромого осла за три копейки, его уже вели на живодерню. Мошенники живут у тебя со своими якобы большими блохами и клопами, а ты их всех кормишь!

— Ну что съест одно насекомое, — возразила глупая Ира, — каплю меда, крупинку хлеба! Разве жалко? А что съест его хозяин? Тем более что некоторым хозяевам приходится носить своих больных за пазухой и даже кормить их, например, клопов и блох. Это же не всякий решится! Они же жертвуют собой! И все это за три тарелки еды в день. Стираю я в стиральной машине, посуду мою вечерами, пол по утрам, обед варю ночью, и все идет по расписанию. А кони и куры вообще пасутся сами.

— Ну и дура ты! — опять закричал Петр. — Тебя все обманывают! А когда ты станешь королевой? Ведь любой аферист женится на тебе, если сочинит сказочку о своей любви к тараканам, и ты поверишь! Нет. Я на это не согласен. Надо тебя сдерживать. Я нанимаюсь к тебе сторожем, все.

И Петр живо навел в клинике порядок, выписал вон всех пауков, жаб, мышей, тараканов и комаров, объявив, что они практически здоровы.

Что касается хозяев этих пациентов, то одному из них, который возражал против выписки, прижимая к груди любимого клопа, Петр дал по шее, а остальные поняли все сами и удалились, сильно качаясь, видимо, от горя.

Некоторые при этом громко пели печальные песни.

У принцессы пошла теперь легкая жизнь, она начала спать по ночам, а днем работала только с утра и до обеда, как все врачи; мало того, Петр приновился теперь брать с хозяев деньги за лечение животных, и в короткое время клиника разбогатела, правда, Ира тут же пошла в город и купила у бургомия

стра на все заработанные деньги бродячих собак города оптом — и тех, которые шатались по улицам, и тех, кто еще лежал под заборами в новорожденном состоянии.

Всех этих красавчиков ей привезли на следующий день в собачьем фургоне, и целую неделю Ира и Петр мыли, расчесывали и лечили новое пополнение, а затем выпустили их всех жить в парк.

Собаки эти, даром что уличные, начали очень ретиво охранять территорию, то есть полностью оправдывали свой хлеб, не давая ловким людям вырубать деревья в парке, срезать цветы на продажу и выкапывать особенно полюбившиеся кусты для собственных нужд.

Из постоянных работников в клинике теперь жили только собаки, кошки-мышеловы и бывший хромой осел Жених.

Он поправился и возил на себе сено, которое косил Петр для нужд рогатых пациентов.

И немудрено, что, когда постаревшие король с королевой приехали в очередной раз уговаривать Иру встретиться с женихами (все-таки и среди мужчин попадаются дураки, которых можно уговорить при помощи портрета красивой девушки), Ира сказала:

— А у меня уже есть жених!

— А где? — спросили удивленные родители.

— Пойдемте, — гордо сказала глупая принцесса и повела короля с королевой на луг, где Петр нагружал осла Жениха сеном.

— Вот, познакомьтесь, это Жених, — сказала сияющая Ира и ушла.

А обманутые король с королевой подошли к Петру, познакомились с ним, выяснили, что он герцог по отцу и маркиз по дяде, обрадовались и удалились вон из клиники очень довольные, провожаемые сворой бешено лающих собак.

И эти обрадованные король с королевой решили назначить свадьбу прямо на следующее утро, чтобы не откладывать, мало ли что.

Тем же вечером к Ире приехал портной и привез ей белые одежды — платье, шляпу и перчатки, а заодно и туфли, фату и букет, а Петру привезли белую фрачную пару с белой рубашкой и белым галстуком-бабочкой, и глупая Ира целый вечер прохотала, сидя с Петром: она думала, что ловко обманула родителей.

Наутро Ира, все еще смеясь до слез, повела осла Жениха расписываться к бургомистру, а Петр шагал рядом, как всегда серьезный, в новом наряде.

Но когда принесли книгу и велели в ней расписаться, то Ира поставила свою подпись, а осел Жених не смог, как она его ни уговаривала.

Тогда Ира сказала, что за Жениха пусть распишется Петр.

Петр расписался, все выпили шампанского, участники церемонии из бокалов, а осел Жених из бадейки.

Потом принцесса Ира преподнесла ослу букет, и осел тут же его съел на закуску, а папа с мамой поздравили Иру и поцеловали ее и Петра.

И тут глупая Ира засмеялась от души:

— Мама и папа, мой муж ведь осел! Поцелуйте его!

И привычные ко всему мама и папа воскликнули:

— Какова жена, таков и муж!

И ушли.

А серьезный Петр сказал Ире:

— Как все-таки хорошо, что ты такая дура глупенькая! Тебя можно облапошить как малого ребенка! И хорошо, что это именно я тебя облапошил, а не какой-нибудь проходимец, и я теперь твой муж, а не какой-нибудь мошенник! И как хорошо получилось, что я тебя давно люблю и никому тебя не отдам!

Глупая принцесса Ира удивилась:

— Мой муж ты? А как же Жених?

— Жених остался Женихом, осел ослом, а твой муж — я.

И Ира довольно быстро с этим смирилась, буквально через минуту.

Она сказала:

— А я ведь и не надеялась, что ты меня полюбишь, и с горя решила выйти замуж за твоего осла.

Так что наша история пришла к своему счастливому концу, как и полагается.

### ЗОЛОТАЯ ТРЯПКА

Один путешественник исследовал жизнь горных людей в далекой стране. Он надеялся хорошо изучить их язык, а пока что пользовался, как все иностранцы, жестами и кошельком, и его понимали достаточно хорошо.

Таким вот образом он нанял себе проводника с ослом.

Через пару дней они уже шли по узкой каменной тропе, причем слева были скалы, а справа ущелье, как всегда в горах. И вдруг началось землетрясение.

Сверху стали падать камни, тропа подпрыгнула, другой склон ущелья перекопился и снова встал на место.

Проводник положил осла и лег рядом с ним.

То же самое сделал и путешественник и закрыл голову руками, земля под ним ерзала и увиливала, наклонялась вперед и перекашивалась в разные стороны, вдобавок ко всему наступила ночь.

Утром, когда рассвело, наступила тишина, и путешественник увидел, что проводника с ослом нет и тропа оборвалась.

То есть путешественник лежал на каменном выступе, внизу был обрыв, наверху скала. Все.

Правда, повыше, метрах в трех, зацепившись за что-то, болталась на ветру тряпка.

Ученый — делать было нечего — полез наверх к этой тряпке, он подумал, что, может быть, его проводник шел этим путем и оставил такой знак, вчера тряпки не было.

Вверх всегда идти легче, чем вниз, это закон гор, а вот спуститься обратно не всем удается — ученый об этом подумал, прощаясь со своим уютным уступом, как с родиной.

Однако на этой малой родине делать уже было нечего, только медленно подышать в ожидании спасателей или вертолетов.

Но в данной дикой стране вертолет имелся только у короля, а король жил совершенно в другом углу гор и берег этот вертолет на случай свержения с трона, никому не давал.

Об этом путешественника предупреждали бывалые люди.

Итак, ученый стал карабкаться вверх, думая найти проводника, и как-то, цепляясь ногтями и ботинками, долез до тряпки.

Тут же он увидел узкую щель в скале, сунул тряпку за пазуху (зачем-то) и затолкал себя в щель.

Опять-таки залезть легче, чем вернуться обратно, но назад ходу уже не было (вспомним короля и его вертолет), и ученый, втискиваясь все дальше и застревая на каждом выступе, продирался в тесной щели в глубь скалы.

Он лез и лез и вдруг увидел, что это уже не щель, а улица в горном селе, и что с обеих сторон его окружают каменные дома и ограды.

Ученый стал заходить в дома и никого там не обнаружил.

И не было буквально никаких следов человека: ни посуды, ни черепков, ни одеял и подушек — голые стены.

Ученый решил тем не менее отдохнуть и лег в каком-то доме, накрывшись найденной тряпкой.

Он тут, кстати, ее и рассмотрел — это было нечто вроде древней скатерти или знамени, выцветшая материя, затканная почерневшим золотом.

Любой музей мира дал бы за такую тряпку большие деньги, но ученый об этом не думал.

Он накрылся этой скатертью, и мир и покой сошли на его бедную голову, и перестали болеть разодранные в кровь руки и колени.

Тут же его разбудил невнятный шум, он вскочил и выбежал на улицу.

Была уже ночь, и на улице толпились маленькие худые люди, сильно встревоженные.

Они что-то говорили, указывая руками вдаль, и ученый, сложив свою тряпку и спрятав ее за пазуху, пошел в том направлении.

Вслед за ним тронулись и эти люди.

Всю ночь они шли — сначала по улице, потом по тропам над безднами, в щелях между скал, по висячим мостам, через перевалы, причем небо было совершенно черное, без проблеска звезд — видимо, висели тучи.

Но как-то все-таки ученый пробирался во главе своей неожиданно возникшей экспедиции, сам недоумевая, почему так легко идти в этой непроглядной тьме.

Наконец они добрались до высочайшего пика, который горел в лучах невидимого еще солнца, как розовый кристалл, сверкая гранями.

Эта скала, однако, оказалась на поверку домом, многоэтажным, наверное, хотя окна виднелись только на самой вершине и нестерпимо светились, как будто именно там, внутри, пряталось солнце.

Внизу же был обычный серый, с ржавыми потеками, камень.

Правда, ученый увидел в одном месте что-то вроде маленького неровного окошка, как будто запыленного и от старости даже радужного.

Ученый не раздумывая вытащил из-за пазухи свою тряпку и попытался протереть это окошко.

Тут же он заметил, что в скале открывается дверь, огромная, как для самолетов, и вошел в нее во главе своего нищего отряда.

Внутри оказался тоже огромный зал, похожий на вокзал, и везде лежали или сидели люди, какие-то усталые и помятые, как беженцы.

Недалеко от двери стоял как раз проводник профессора, и они обрадовались, но почему-то сделали вид, что не знают друг друга.

Ученый все еще держал в руке свою тряпку и вдруг заметил, что она начала сверкать всем своим золотом.

К ней потянулись люди, и проводник тоже подошел поближе.

Тряпка теперь горела, как жидкое стекло, переливаясь при малейшем движении.

Люди теснились вокруг ученого, свет озарял их лица.

И профессор протянул им это древнее знамя, желая сказать, что он не возьмет его себе, не волнуйтесь.

Он невольно коснулся этой сверкающей материей нескольких людей, и они вдруг исчезли.

Они исчезли, как исчезает в компьютере буква при нажатии клавиши, подумал ученый.

Он даже испугался, но все люди вокруг как будто ждали, что он и их коснется.

И он их касался своей тряпкой.

Последним к нему подошел проводник, и тоже подставил голову, и тоже исчез после прикосновения.

Таким образом, профессор остался один.

Он, однако, не испугался, а положил свое сверкающее полотнище на прежнее место, за пазуху, и мгновенно потерял из виду эту огромную пещеру.

Тут же — как исчезнувшая с экрана буква — он оказался в совершенно другом месте, на горной тропе рядом со своим проводником, только ослы не было.

Проводник на совершенно понятном ученому языке сказал, что упал в пропасть и потерял сознание, а потом очнулся и быстро нашел тропу наверх.

А ослик, видимо, так и погиб.

С ним пропало все снаряжение и продукты, но как-то путешественники довольно легко проделали обратный путь, и ученый тут же вылетел на самолете домой.

Там он прочел все газеты, скопившиеся за последний месяц, и оказалось, что в той стране, где он только что был, произошло действительно огромной



силы землетрясение, и целый город, второй по значению в стране, завалило каменной лавиной.

Однако не было бы счастья, да несчастье помогло — в ту же ночь в горах произошел новый обвал, и каменная лавина по новой обрушилась в ущелье, и люди, заживо погребенные в своих домах, смогли выбраться и спаслись.

Но теперь другое беспокоило газетчиков — все эти спасенные люди, все как один, оказались совершенно немыми, кроме одного проводника-профессионала, который был родом из другого города и который и смог что-то рассказать газетчикам.

Правда, этот проводник тоже все время плакал и утверждал, что потерял память о предках. То есть не помнит ни деда, ни прадеда.

Так что для него это землетрясение тоже не прошло бесследно.

А у профессора, наоборот, дела пошли как нельзя лучше: он приготовил для телевидения целый цикл передач об этой горной стране, а как раз в связи с таинственными двумя землетрясениями и чудесным спасением целого города (и онемением его жителей) данная страна оказалась на самом гребне моды.

Профессор ведь сам был участником землетрясения!

И он имел поразительное доказательство — древнее знамя (или скатерть) как научный трофей.

За эту скатерть Британский музей предложил ему пожизненную стипендию и место хранителя горного зала. Таких экспонатов не было нигде, ни в одной стране, и профессор даже раздумывал, а не показать ли эту скатерть (или знамя) где-нибудь в другом месте, и не дадут ли за нее на знаменитом аукционе Сотбис побольше.

И он действительно показал свою скатерть (называя ее магическим знаменем гор) некоторым специалистам, и ученые пожимали плечами и говорили, что ничего подобного они в своей жизни не видели.

А профессор говорил, что эта тряпка в лучах утреннего солнца в горах способна светиться, как жидкое стекло!

Об этом проводили на телевидении и тут же решили заснять данное явление свечения, для чего была организована новая экспедиция, найдены большие деньги, причем профессору сразу предложили огромный гонорар, но, чтобы он не путался под ногами и сидел бы дома, они сами, без него, найдут место в горах (видимо, им не хотелось все-таки тратить лишние средства на профессора).

Однако ученый уперся — уж больно ему хотелось снова побывать в любимых горах, вдохнуть полной грудью этот чистейший воздух вершин, а денег-то не было, он все еще не решил, как поступить со своей древней скатертью.

Почему-то он не хотел отдавать тряпку в чужие руки, даже за большие деньги.

Здесь уже, наверно, проявился его характер коллекционера, а настоящий собиратель умрет с голоду, но любимую вещь не продаст.

Таким образом он и оказался в составе телевизионной команды, прилетел снова в пограничную деревню, и довольно скоро он нашел своего проводника.

Проводник этот лежал в своем домике на полу, он отказывался работать наотрез и даже показал профессору с дикой злобой кулак.

В дело немедленно вмешались телевизионщики, поговорили с мамой-папой проводника, подарили им японский телевизор, работающий без антенн и электричества (от солнца), старики тут же растолкали сына, дали ему лепешку и тыкву с водой и выпроводили вон, а сами уселись перед телевизором.

Проводник канючил, что у него теперь нет осла, что у него потеряна память о предках, но вместо осла экспедиция наняла королевский вертолет, и команда полетела в горы.

А что касается предков проводника, то ведь у каждого есть свои предки и о них тоже мало кто вспоминает, подумаешь.

Через час пути проводник и его бывший клиент, ученый, указали на горную тропу, и сначала спустился оператор, который тут же начал снимать окрестности, а потом спустился проводник и за ним профессор.

Профессор, очутившись в знакомом месте, не обращая внимания на оператора, огляделся со слезами на глазах.

Светило уже раннее солнце, горы вокруг сияли.

Проводник хмуро стоял над пропастью, глядя себе под ноги.

На тропу уже слезли остальные, и вертолет улетел.

Собственно говоря, в данном узком месте было не протолкнуться.

Профессору стало тошно, и он сказал, что сейчас найдет место, где в прошлый раз обнаружил древнее знамя.

На самом деле ему захотелось просто остаться одному.

И он полез прямо вверх.

Камера своим глазом следовала за ним.

Поднявшись до знакомого выступа, он понял, что оператор его не видит, обрадовался всей душой и огляделся вокруг.

Вот виднеется пограничный поселок, где сидят сейчас перед телевизором родители проводника и смотрят мексиканский сериал.

Он также увидел далеко-далеко розоватую скалу, горный замок, сверкающий, как кристалл, башню мертвых, в преддверии которой ему удалось побывать, как он теперь понял.

В этот момент, стоя в неудобной позе над пропастью, вцепившись ногтями в скалу, он стал размышлять, почему спасенные им горные жители перестали говорить все как один.

Башня мертвых светилась вдали, как маленький стеклянный остро заточенный карандаш.

Она светилась так, что прошибала слеза, и, на мгновение отвернувшись, профессор увидел внизу глаз камеры и несчастного оператора, который лез следом за ним, цепляясь одной рукой за скалу.

Откуда только силы взялись у профессора — он полез еще выше и скрылся из поля зрения оператора.

К вечеру прилетел вертолет, и были большие неприятности, поскольку оператор ничего не снял, вертолет забрал его со скалы бледного от злости.

Профессора тоже совлекли с уступа повыше, он не отвечал ни на какие вопросы, древнее знамя исчезло (профессор показал, что ни за пазухой, ни в карманах у него ничего нет и на туловище тоже не намотано).

Зато проводник сиял, как медный тазик, смотрел на ученого с любовью и сказал ему что-то очень радостное, но на сей раз ученый ничего не разобрал, он потерял способность понимать этот язык в тот самый момент, когда повесил на острый уступ скалы старую, ветхую тряпицу, вынутую из-за пазухи, и древнее знамя засияло на прощание и исчезло.

И башня мертвых в ту же минуту в последний раз сверкнула вдали и растаяла в тумане.

Кончилось все плачевно для ученого.

Телевидение оказалось в большом денежном проигрыше, так как без древнего знамени передача вообще не имела смысла: горы есть горы, они везде одинаковые, и снятый оператором профессор, который нелепо лез по почти отвесной скале и забрался за какой-то выступ и исчез на несколько часов — это никакая не сенсация.

Мало ли дураков лезет на стену!

Короче, передачу отменили, вся команда вернулась домой, а профессора с собой не взяли, в наказание оставили его в горах, в пограничной деревушке без денег.

Профессор приехал на родину только через год, он заработал деньги на билет, устроившись библиотекарем к королю.

Но ведь кто-то его устроил, провел через все горы и направил прямо во дворец!

Может быть, это был тот самый проводник.

Мало ли, в такой дикой стране и проводники могут оказаться королевскими родственниками, там все родня друг другу.

Так что все кончилось довольно неплохо.

Хотя профессор потерял работу преподавателя.

Но на самом деле все ученые мира, работающие в музеях и университетах, страшно завидовали профессору.

Как-то ему удалось прожить целый год в этих диких горах, куда никого не пускают, где никому не удавалось зацепиться больше, чем на месяц,— и мало того, он был допущен в королевскую библиотеку, о которой мечтает буквально каждый!

Правда, он и из этого не извлек никакой выгоды, ни одной книги не выпросил и не привез, мало того, не написал ни единой статьи об этой библиотеке.

Он только сообщил одному знакомому (это сразу попало в газеты), что история о том, как целый город в горах онемел, оказалась выдумкой.

— Там все уже давно прекрасно разговаривают, лучше нас с вами,— сказал профессор.

Надо сказать, что работу он себе все же нашел, смотрителем зала в музее, и в этот зал приходят экскурсии, но смотрят не на горшки и ржавые топоры, а на профессора, который спокойно стоит у стены.

А в те дни, когда он отсутствует, его сменщица таинственно говорит посетителям, что профессор сегодня работает в другом месте, в королевской библиотеке в горах.

— И если бы не его старенькая мама, которая нуждается в уходе, он бы вообще давно улетел. А я его сюда устроила. Его мама — моя подруга, она меня попросила. Деньги-то нужно зарабатывать. Хорошо еще, что он на самолеты не должен тратиться, так просто летает. Его там любят.

И посетители явно хотят спрашивать дальше, как это можно летать без ничего, «так просто», но из-за хорошего воспитания делают вид, что им все понятно.

## ЗА СТЕНОЙ

Один человек лежал в больнице, он уже выздоравливал, но чувствовал себя еще плоховато, особенно по ночам.

И тем более ему мешало, что за стеной все ночи подряд кто-то разговаривал, женщина и мужчина.

Чаще всего говорила женщина, у нее был нежный, ласковый голос, а мужчина говорил редко, иногда кашлял.

Эти разговоры очень мешали нашему больному спать, иногда он вообще под утро выходил из палаты, сидел в коридоре, читая газеты.

Ни днем, ни ночью не прекращался за стеной этот странный разговор, и наш выздоравливающий начал уже думать, что сходит с ума, тем более что, по его наблюдениям, никто никогда не выходил из палаты.

Во всяком случае, дверь туда постоянно была закрыта. Больной стеснялся пожаловаться на шум, только говорил, что плохо со сном, и лечащий врач отвечал: ничего, скоро вы поправитесь, дома все пройдет.

А надо сказать, что дома этого больного никто не ждал, родители его давно умерли, с женой он разошелся, и единственным живым существом в его доме был кот, которого теперь приютили соседи.

Больной выздоравливал медленно, жил с заложенными ушами, но и сквозь затычки он слышал все тот же разговор, тихий женский голос и иногда мужской кашель и два-три слова в ответ.

Кстати, сам больной уговаривал себя, что если бы он хотел спать, то заснул бы в любых условиях, и все дело просто в том, что пошаливают нервы.

Однажды вечером наш болящий вдруг ожил: разговор за стеной прекратился.

Но тишина длилась недолго. Затем простучали знакомые каблуки медсестры, эти каблуки затоптались на месте, потом что-то глухо обрушилось, потом забегали, засуетились люди, забормотали, стали двигать стулья, что ли,— короче, какой тут сон!

Больной вышел в коридор, не в силах больше лежать. Он тут же увидел, что дверь в соседнюю палату против обыкновения распахнута настежь и там находится несколько врачей: один склонился над постелью, где виднелся на подушке бледный профиль спящего мужчины, другие присели около лежащей на полу женщины, а по коридору бежит медсестра со шприцем.

Наш больной (его звали Александр) начал беспокойно ходить взад и вперед мимо открытых дверей соседней палаты, что-то его притягивало к этим двум людям, которые как будто одинаково спокойно спали, с той только разницей, что мужчина лежал на кровати, а женщина — на полу.

Задерживаться у дверей было неудобно, и больной стоял у дальнего окна, наблюдая за кутерьмой.

Вот в палату завезли пустую каталку, вот она медленно выехала обратно в коридор, уже с грузом, на ней лежала та самая женщина, и мелькнуло опять это спящее женское лицо, спокойное и прекрасное.

Надо сказать, что Александр знал толк в женской красоте и не единожды наблюдал свою бывшую жену у зеркала (перед походом в гости, например).

И каждый раз, видя очередную волшебницу (бриллиантовые глаза, полуразвернутый бутон розы под носом), он представлял себе это лицо перед зеркалом в виде белого, маслянистого блина с дыркой на том месте, где потом будет роза, и с двумя черными отверстиями там, куда затем вставят бриллианты.

Но тут, в больничном коридоре, Александра как будто кто-то ударил в самое сердце, когда мелькнуло это чужое женское лицо, лежащее на плоской подушке.

Печальное, бледное, простое и безнадежно спокойное, оно быстро исчезло за спиной санитаря, а потом задвинулись двери лифта, и все кончилось.

Потом Александр сообразил, что тело женщины, которую провезли мимо, укрытое простыней, выглядело безобразно большим и бугристым, как бы раздутым, и носки ее ног безжизненно торчали врозь, и он подумал, что в природе нет совершенных человеческих созданий, и от всей души пожалел эту толстую даму с таким красивым личиком.

Затем операция с каталкой повторилась, но на сей раз провезли чье-то тело, укрытое с головой.

Тут Александр понял, что это умерший из соседней палаты.

Наш больной, по природе человек молчаливый, ни о чем не стал спрашивать медсестру, которая пришла к нему утром ставить градусник.

Александр лежал и думал, что теперь за стеной полная тишина, но спать все равно невозможно, за прошедшие недели он как-то уже привык к этому долговому, спокойному разговору двух любящих людей за стеной, видимо, мужа и жены.

Было приятно, оказывается, слышать мягкий, ласковый женский голос, похожий на голос мамы, когда она гладила его в детстве, заплаканного, по голове.

Пускай бы они говорили так вдвоем все время, думал несчастный Александр, а теперь за стеной такая могильная тишина, что ломит в ушах.

Утром после ухода медсестры он услышал в соседней палате два резких, крикливых голоса, что-то брякало, стучало, ездило.

— Вот, доигралась! — с усилием произнесла какая-то женщина.

— Я ничего не знаю! — крикнула другая. — Была в отгуле, ездила к брату в деревню! Они мне соломки на зуб не дали! Брат называется! Картошки насыпали, и все!

— Ну вот! — рывкнула первая, что-то приподнимая и ставя на место. — Ее обманул этот травник. Ну который приезжал с Тибета.

— Ничего не знаю, — возразила вторая.

— Этот травник, он ей вроде много наобещал, если она отдаст ему все, что у них есть, — крикнула первая откуда-то снизу, видимо, она полезла под кровать.

Слышимость была прекрасная.

— Все?

— Ну!

— Как это все?

— Она вроде продала даже квартиру и все вещи,— вылезая из-под кровати, очень разборчиво сказала первая.

— Дура! — крикнула вторая.

— Почему я знаю, потому что медсестры у нее что-то купили — холодильник, и пальто, и много чего — по дешевке. Она даже цену не назначала: сколько, мол, дадите, столько и возьму.

— А ты что купила?

— А я в тот день вышла в ночь, они уже все разобрали.

— А я где была? — крикнула вторая.

— А ты была в отгуле, вот больше гуляй! — глухо сказала первая. Было такое впечатление, что она замотала рот тряпками, но, видимо, она опять полезла под кровать.— И он, этот врач, колдун этот, обещал, видно, улучшение. То есть сказал: «Все кончится хорошо». Вот тебе и кончилось.

— Известное дело! — резко выкрикнула вторая.— Наши врачи сразу лягнули, что ему жить две недели, вот она, видно, и стала искать колдуна. Все ему отдала, а мужик все одно помер.

Даже через стенку было слышно, что она расстроилась из-за чего-то.

— Теперь что же? — завопила она.— Ее все вещи у медсестер, а во что она ребенка завернет?

— А,— с трудом отвечала первая, все еще, видимо, из-под кровати,— да она сама-то при смерти, без сознания. Родит — не родит, выживет — не выживет. Ее на третий этаж положили, в реанимацию.

— Че ты там нашла? — крикнула вторая.

— Кто-то мелочь рассыпал,— пробубнила первая, вылезая из-под кровати.

— Сколько? — поинтересовалась вторая.

Первая не ответила и сыпала все в карман. Вторая продолжала с горечью в голосе:

— К ним в палату и заходить было тяжело. Я все думала, чего это она так радуется? Сама в положении, муж у ей помирает, а она как на именинах сидит.

Первая назидательно сказала:

— Она все отдала и думала, что это поможет. Ничего себе не оставила. Может, она думала, что, если муж помрет, ей ничего больше не надо.

— Ну дура! — воскликнула вторая.— А этот травник, что? Ну, колдун.

— Он забрал все деньги и сказал, что едет в Тибет молиться.

Удивительно, как все ясно было слышно!

Александр подумал, что, видимо, его бывшие соседи говорили очень тихо, если тогда он не мог разобрать ни единого слова.

Потом уборщицы начали обсуждать бесстыдное поведение некой раздатчицы в столовой (малые порции, не хочет кормить санитаров и носит парик в таком возрасте), пошумели еще и исчезли.

А Александр все никак не мог поправиться, барахлило сердце.

Пришлось задержаться в больнице.

Через неделю к нему пришли две санитарки с пачечкой денег и листом бумаги: они собирали средства одной женщине, которой надо было купить приданое для новорожденного сына.

Санитарки были очень любезны и даже стеснялись.

Они намекнули, что это «та», бывшая его соседка из палаты рядом.

Александр отдал все, что у него было, расписался на листочке и немного повеселел: во-первых, он дал очень большую сумму, во-вторых, если эта женщина родила, стало быть, все кончилось хорошо.

Он не стал ни о чем спрашивать по своему обыкновению, однако его состояние резко улучшилось.

Александр был, на свое счастье, небедным человеком, только болезнь остановила его на пути к большому богатству; он любил деньги и не тратил их на

пустяки, и сейчас его дела шли блестяще. Даже из больницы он умудрялся руководить своими сотрудниками.

А болеть он начал внезапно, однажды ночью. Он шел пешком от метро, немного навеселе, поужинав с друзьями в ресторане, и недалеко от дома вдруг увидел грязного, какого-то заплаканного мальчишку лет десяти, который вынырнул из-за машины и спросил, как дойти до метро.

— Метро там, но оно уже закрылось.

На улице было холодновато, мальчишка немного дрожал.

Александр знал эту породу людей — они притворяются голодными, замерзающими, маленькими и беззащитными, а потом, стоит их привести домой, отмыть, накормить и уложить спать, они или утром исчезают, своровав что плохо лежит, или же остаются жить, что еще хуже, и к ним в один прекрасный день присоединяются какие-то подозрительные родственники, и приходится выпроваживать таких гостей, но ведь бродяги не знают стыда, ничего не стесняются и, сколько их ни выгоняй, возвращаются на протоптанную один раз дорожку, колотят в дверь, кричат, плачут и просят погреться, и бывает очень неприятно — никому не хочется выглядеть жадным и жестоким.

Короче, у Александра был уже такой случай в жизни, и он насмешливо предложил мальчишке отвести того в милицию, если он заблудился и не может найти свой дом.

Пацан резко отказался, даже отскочил немного.

— Ага, а они меня тогда домой отправят.

Короче говоря, с этим парнем все было ясно, и Александр посоветовал ему зайти куда-нибудь в теплый подъезд, чтобы не замерзнуть, — бесплатный совет сытого и довольного взрослого человека маленькому и убогому прохожему.

На этом они расстались, мальчишка, дрожа, побрел куда-то по ночному городу, а Александр пришел домой, принял душ, заглянул в холодильник, поел холодного мяса и фруктов, выпил хорошего вина и пошел спать в добром расположении духа, после чего ночью проснулся от резкой боли в сердце и вынужден был вызвать «Скорую».

Врачу в больнице он пытался что-то сказать о том, что встретил Иисуса Христа и опять его предал, но доктор вызвал еще одного доктора, и больной, пребывая как в тумане, услышал, что у него ярко выраженный бред.

Он пытался возразить, но ему сделали укол, и начались долгие дни в больнице.

Теперь, отдав свои наличные деньги, он заметно повеселел.

Все последние недели он неотрывно думал о том человеке, которого увезли под простыней и который так мужественно умирал, не позволяя себе жаловаться.

Александр вспоминал его спокойный, глуховатый голос.

Таким голосом говорят: все в порядке, все нормально, ни о чем не думай, не волнуйся.

А может быть, они и не говорили никогда о болезни, а говорили о каких-то других вещах, о будущем.

И она тоже не беспокоилась, она так радостно и счастливо рассказывала мужу, возможно, о том, как хорошо им будет вместе, когда они все вернутся домой, и какую кроватку надо купить ребенку: говорила, отлично зная, что денег не осталось совершенно.

Видимо, она верила в целительную силу трав, и ничего, кроме жизни мужа, ее не волновало: что будет, то будет.

Может быть, она рассчитывала, что, если ее муж умрет, она каким-то волшебным образом тоже не останется жить.

Но, вероятно, наступило такое время, когда ей все-таки надо было существовать одной — неизвестно как, без дома и денег, с ребенком на руках.

И тут Александр смог вмешаться в ход событий со своими деньгами.

Он рассчитал так, чтобы бедной женщине хватило на весь первый год, — она могла бы снять квартиру и продержаться, пока не найдет работу.



Какое-то счастливое спокойствие наступило для Александра в его последние дни в больнице, как будто он точно знал, что все будет хорошо.

Он начал спать по ночам, днем даже выходил погулять.

Началась прекрасная, теплая весна, по небу шли белые маленькие тучки, дул теплый ветер, зацвели одуванчики на больничном газоне.

Когда Александра выписывали, за ним пришла машина, и он, дыша полной грудью, в сопровождении друга пошел вон из больницы.

Тут же, у ворот, он нагнал небольшую процессию: санитарка из их отделения вела под руку какую-то худую женщину с ребенком.

Они волоклись так медленно, что Александр удивленно обернулся.

Он увидел, что санитарка, узнав его, густо покраснела, резко опустила голову и, пробормотав что-то вроде: «Я побежала, дальше нам нельзя», — быстро пошла обратно.

Женщина с ребенком остановилась, подняла голову и открыла глаза.

Кроме ребенка, у нее ничего не было в руках, даже сумочки.

Александр тоже приостановился.

Он увидел все то же прекрасное, спокойное молодое лицо, слегка затуманенные зрачки и младенца в больничном байковом одеяле.

У Александра защемило сердце, как тогда, когда он только начинал болеть, как тогда, когда он смотрел вслед дрожащему мальчишке на ночной улице.

Но он не обратил внимания на боль, он в этот момент больше был занят тем, что соображал, как ловко санитарки ограбили беднягу.

И он понял, что с этого момента отдаст все, всю свою жизнь за эту бледную, худенькую женщину и за ее маленького ребенка, который лежал, замерев, в застиранном казенном одеяле с лиловой больничной печатью на боку.

Кажется, Александр сказал так:

— За вами прислали машину от Министерства здравоохранения. По какому адресу вас везти? Вот шофер, познакомьтесь.

Его друг даже поперхнулся.

Она ответила задумчиво:

— За мной должна была приехать подруга, но она внезапно заболела. Или у нее ребенок заболел, неизвестно.

Но тут же, на беду Александра, на женщину с ребенком налетела целая компания людей с цветами, все кричали о какой-то застрявшей машине, об уже купленной кровати для ребенка и ванночке, и под крики «Ой, какой хорошенький, вылитый отец!» и «Поехали-поехали!» они все исчезли, и вскоре на больничном дворе остался стоять столбом один Александр с ничего не соображающим другом.

— Понимаешь, — сказал Александр, — ей было предсказано, что она должна отдать все, и она отдала все. Такой редкий случай. Мы ведь никогда не отдаем все! Мы оставляем себе кое-что, ты согласен? Она не оставила себе ничего. Но это должно кончиться хорошо, понял?

Друг на всякий пожарный случай кивнул — выздоравливающим не возражают.

Что Александр потом предпринимал, как искал и нашел, как старался не испугать, не оттолкнуть свою любимую, как находил обходные дороги, как познакомился со всеми подругами своей будущей жены, прежде чем завоевать ее доверие, — все это наука, которая становится известной лишь некоторым любящим.

И только через несколько лет он смог ввести в свой дом жену и ребенка, и его старый кот сразу, с порога, пошел к новой хозяйке и стал тереться о ее ноги, а четырехлетний мальчик, в свою очередь, засмеялся и бесцеремонно схватил его поперек живота, но престарелый кот не пикнул, и терпеливо висел, и даже зажмурился и замурылкал, как будто ему было приятно свешиваться, поделившись надвое, в таком почтенном возрасте, но коты — они народ мудрый и понимают, с кем имеют дело.

**СЕКРЕТ МАРИЛЕНЫ**

Одна очень толстая девушка не умещалась в такси, а в метро занимала собой всю ширину эскалатора.

Сидела она на трех стульях, спала на двух кроватях и работала в цирке, где поднимала тяжести.

Это была очень несчастная девушка, но ведь многие толстые люди живут счастливо!

Их отличают кроткий нрав и доброе сердце, и люди любят толстяков.

Но наша толстая Марилена хранила в себе одну тайну: только ночью, придя к себе в гостиничный номер (цирк ведь постоянно путешествует), где для нее, как обычно, были сдвинуты три стула и две кровати,— только ночью она становилась сама собой, то есть превращалась в двух девушек нормального вида, очень красивых, которые принимались тут же танцевать.

Секрет толстой Марилены был такой, что некоторое время назад она выступала на сцене в виде двух балерин-близнецов, причем для различия одна из них была золотистой блондинкой, а вторая — с черными как смоль кудрями: так считалось интересней, а то люди путались, кому из них передавать какие цветы.

И, разумеется, в блондинку влюбился некий колдун, а вторую сестричку, черненькую, он немедленно обещал превратить в электрический чайник со свистком, чтобы этот чайник повсюду сопровождал молодую пару и своим шипением и свистом напоминал о том, что вторая сестра, только взглянув на колдуна, начала отговаривать невесту от этого знакомства.

Но, когда он только замахнулся своей волшебной палочкой на эту несчастную, его предполагаемая невеста так надулась, что покраснела, вспотела, зашипела и забурлила не хуже чайника, и колдун тут же решил, что ничего не выйдет.

— Такие подруги,— сказал он (а колдун был женат семнадцать раз и знал, о чем говорил),— такие подруги хуже чайника, потому что чайник можно вырубить, а кипящую бабу нет.

И он решил наказать шумную пару сестер.

А дело происходило за кулисами в коридоре, где он поймал их сразу после концерта, чтобы познакомиться и предложить блондинке брак немедленно, тут же.

Уж что-что, а это он умел.

Кстати, если у него что-нибудь не получалось сразу, он тут же терял интерес к делу, скучнел и бросал все на полдороге.

Он превращал своих неудавшихся невест и жен во что попало: в плакучую иву, в водопроводный кран, в городской фонтан.

Ему нравилось, чтобы они плакали всю оставшуюся жизнь.

— Вы еще будете у меня рыдать,— сказал он, не давая сестрам прохода в тесном коридоре, по которому взад-вперед сновали артисты.

— Да? — ответили сестры. — А ты знаешь, что при нашем рождении присутствовала фея Бродбутер, которая сказала, что тот, из-за кого мы хоть раз заплачем, превратится в корову! И его будут доить пять раз в день! И он проведет весь свой жизненный путь по колено в навозе!

— Да? — усмехнулся колдун. — Тогда и от меня подарочек! Вы больше никогда не сможете плакать! Это раз! И, во-вторых, во-вторых, вы больше никогда друг друга не увидите, если уж на то пошло!

Но сестры возразили:

— Фея Бродбутер и это предусмотрела. Она сказала, что, если кто нас разъединит, тот превратится в микроб дизентерии и всю свою оставшуюся жизнь проведет по больницам в жутких условиях!

— А, тем лучше! — воскликнул неудачливый жених-колдун. — Тогда я вас, так и быть, соединю навеки. Будете всегда вместе. Фея Бродбутер останется довольна. Если только,— тут он тихо засмеялся,— вас не захотят разделить напополам. И я согласен, что в данном случае виновник должен быть превращен в

микроба дизентерии, в палочку! Это будет справедливо. Молодец ваша фея! Но кому придет в голову разрезать вас напополам?

Тогда близнецы сказали:

— Не выйдет! Фея Бродбютер заколдовала нас, чтобы мы ежедневно два часа в любых условиях при любой погоде танцевали вдвоем.

Колдун задумался и ответил:

— Ну, это не проблема. Два-то часа в день можно. Когда вас никто не будет видеть, вы будете танцевать два часа в день и еще горько об этом пожалуете!

Тут близнецы побледнели, кинулись друг дружке на шею и стали прощаться, но заплакать они уже не могли.

А колдун, ухмыляясь, взмахнул своей волшебной палочкой, и в мгновение ока перед ним выросла девушка-гора, бледная и испуганная, с грудью, как подушка, со спиной, как надувной матрац, с животом, как мешок картошки.

Тяжело переваливаясь, эта девушка полезла к зеркалу, увидела себя, застонала и упала в обморок.

— Вот так-то, — печально сказал колдун и исчез.

Почему печально — потому что жизнь всегда открывалась ему с плохой стороны, несмотря на то, что он все мог.

Вернее сказать, жизни у него не было никакой. Никто его не любил, даже папа с мамой, которых он однажды после небольшого скандала превратил в свои домашние тапочки.

Неудивительно, что тапочки у него все время терялись.

Колдун мстил тем, кто его не любил, он буквально смеялся над бедными, бессильными человеческими существами, а они платили ему страхом и ненавистью.

У него было все — дворцы, самолеты и корабли, но люди его не любили.

Может быть, если бы нашлась добрая душа и позаботилась о нем, он бы и засиял, как медная сковородка у заботливой хозяйки.

Но все дело в том, что он сам не мог никого полюбить и даже в простой улыбке прохожего видел злой умысел и стремление выпросить что-нибудь даром.

Тут мы его оставим, он ходит где-то по белому свету, никого не боясь (и жаль), а наша толстуха в тот же момент была удалена из театра охраной, как постороннее лицо, находящееся в служебном помещении, ей не удалось даже забрать с собой сумочки с деньгами, принадлежавшие сестрам: кто она такая, чтобы брать чужие сумочки!

Марилена (бывшая Мария и Лена) чуть не умерла с голоду в первое время: она жила то на вокзале, то в городском саду, она уже не могла танцевать и зарабатывать на жизнь, а милостыню такой толстухе кто же подаст: где вы видели жирного нищего!

Такому нищему немедленно надо похудеть где-нибудь в укромном месте, чтобы не пропасть от нищеты.

Он и похудеет, уверяю вас.

Но наша Марилена похудеть не могла, даже если бы вообще ничего не ела: все благодаря колдовству.

Кстати, многие полные люди, похоже, заколдованы: как бы они ни голодали, все равно вес возвращается, словно по волшебству.

Итак, нашу Марилену больше никто не приглашал для исполнения парных танцев.

Во-первых, какие могут быть парные танцы в одиночку!

Во-вторых, слишком толста.

В-третьих, ее никто не узнавал, а ведь широко известно, что в балет и на сцену принимают только знакомых.

Однако ночами где-нибудь в парке или за вокзальными постройками, оставшись одна, толстуха превращалась в двух очень худых балерин и печально, спотыкаясь от голода, танцевала чарльстон, чечетку, рок-н-ролл и па-де-де из балета «Спящая красавица».

Но ее в этот момент никто не видел, как и завещал колдун.

Наконец она придумала, как поправить свои дела: она пошла в цирк и предложила аттракцион — съедение жареного быка за десять минут.

Идея понравилась руководству, и была устроена показательная репетиция, на которой голодная Марилена сожрала быка за четыре с половиной минуты!

Бык был, правда, маловатенький и тощий, на большие затраты дирекция не пошла.

Съев быка, Марилена ощутила жуткий прилив сил и на радостях подняла директора и администратора, каждого одним мизинцем, и пронесла так по кругу.

Тут же с ней заключили договор как с самой сильной женщиной мира и чемпионом островов Мань-Вань.

Насчет быка больше не заикались, так как это могло бы обойтись дешево.

Теперь на ежевечернем представлении Марилена подымала лошадь с телегой, паровоз и в заключение весь первый ряд зрителей на скрепленных между собой стульях.

Только на этих условиях ей платили деньги, в искусстве надо сильно удивлять публику, иначе подохнешь с голоду.

Запыхавшись, она шла после работы в ресторан, где съедала жареного барана, выпивала флягу молока, а затем, не заплатив, ехала к себе в гостиницу.

Ее ужин был рекламным трюком для ресторана, туда собирались любители поспорить, за сколько минут Марилена сожрет барана.

Так же весело проходили покупки платьев: портные шили Марилене и приглашали на примерку телевидение, а также нанимали фотографов — вот Марилена ДО, а вот она же ПОСЛЕ, смотрите, как изменило ее это платье!

И в журналах появлялись снимки веселой толстухи с хорошенькой мордочкой — от удвоения у нее, конечно, увеличился нос, но глаза стали просто огромными, а зубы были такие крупные и белые, что на Марилену кидались все производители зубной пасты и щеток, умоляя ее рекламировать именно их товар!

То есть она стала гораздо богаче, чем была.

И ее теперь сильно утомляли собственные ночные танцы, которые она по дурости сама себе накликала, придумав фею Бродбутер перед лицом легкового колдуна.

Ведь она уже стала забывать, что в ней томятся две души, эти души молчали и плакали без слез в темнице, которой было для них мощное тело Марилены, а вместо них в этом теле вырастала совершенно новая, посторонняя душа, толстая и прожорливая, нахальная и веселая, жадная и бесцеремонная, остроумная, когда это выгодно, и мрачная, когда невыгодно.

Это ведь не секрет, что в человеке иногда исчезают прежние души и заводится новая, особенно с возрастом.

Новая душа Марилены прекрасно знала, журналистов какой газеты надо угостить обедом перед интервью, и когда можно посетить клуб угнетенных толстяков, и когда передать сиротам подарки фирм (фирмы платили отдельно).

Танцы ее больше не интересовали, эти две души, которые имели право возникать на два часа по ночам, несчастные и одинокие, путали весь режим, не знали распорядка, что день был тяжелый, что завтра самолет в шесть утра, не умели считать прибыль и убытки, зато неуместно вспоминали родину и отца с матерью, что тормозило всю программу ночного отдыха.

Особенно это стало трудно, когда у Марилены появился жених, бледный юноша с пухлыми губами по имени Владимир, который быстро взял на себя все счета, расчеты и переговоры.

Его как раз очень раздражало, что каждый вечер Марилена исчезала на два часа и после этого выглядела как загнанная лошадь, не вступала ни в какие беседы ни с кем и отключала телефон.

Взяв в свои руки всю жизнь Марилены, он не мог понять, куда девались эти неоплачиваемые два часа, и закатывал ей жуткие скандалы.

Марилена его любила и назначила ему огромное жалование, а также взяла на работу его сестру Нелли, однако стеснялась рассказать ему про те два часа.

Но, как бы там ни было, однажды Нелли объявила ей, что Владимир договорился о гигантской рекламной кампании, о похудении: это предложение двух фирм, занимающихся операциями на людях и особым питанием.

Причем они платят большой гонорар ей же!

Нельзя упускать такого шанса, сказала Нелли, а Владимир в командировке в обеих Америках и вернется как раз к финалу, чтобы встретить свою помолодевшую худенькую невесту.

— Да, и я смогу танцевать,— сказала Марилена, не подумав о том, что в случае похудения ее две души умрут от истощения.

Нелли в ответ заявила, что тоже ложится в ту же клинику пластической хирургии и тоже будет омолаживаться и кое-что менять в лице.

— Так что вы пострадаете не одна,— пошутила обычно мрачная Нелли.

И Марилену отвезли в клинику, где опытные хирурги сначала ее фотографировали со всех сторон, а затем спрятали фотографии для сенсации и повели Марилену куда-то по коридорам все вниз, вниз и вниз и наконец заперли в комнате со всеми удобствами, но зато без окна.

Марилена ничего не поняла, хотела позвонить, но телефона не оказалось, стала стучать в дверь, но никто не пришел.

Она начала стучать настойчивей, просто биться об дверь (вспомним, что Марилена работала силачом в цирке), но все было напрасно.

Сбив руки в кровь, Марилена затихла на полу, но вдруг услышала далекую музыку, как всегда перед началом танцев, и тут же увидела свою худенькую сестричку, а сама стала Марией и принялась кружиться вместе с ней.

Видимо, настало их ночное время, и, проклиная все на свете, расстроенные Мария и Лена танцевали со сбитыми в кровь руками.

Они сказали друг другу то, о чем давно уже подозревали,— видимо, это начало конца, видимо, Владимир решил избавиться от Марилены и завладеть ее деньгами, и клиника — это просто ловушка.

Но едва репетиция закончилась, толстуха Марилена с жадностью слопала обед, появившийся откуда-то на полу.

После обеда Марилена почувствовала страшную сонливость, успела подумать, что еда отравлена, и свалилась, где стояла, у стенного шкафа.

Когда пленница очнулась, она решила бороться за жизнь и ничего больше не есть, а только пить воду из-под крана, но вы знаете толстух — они и часа не могут прожить без пищи, и пришлось ей опять пообедать тем, что появилось на сей раз около двери на полу: кастрюлькой жирных щей с мясной костью.

После чего она буквально рухнула на кровать и пролежала без сознания до появления тихой музыки, возвещавшей о начале ночных танцев.

Мария и Лена теперь с трудом танцевали вдвоем, это был неповоротливый, медленный вальс, прощальный вальс, потому что было ясно: толстуху Марилену решили отравить.

Большую часть времени сестры разговаривали о смерти, молились и плакали без слез, прощались, вспоминали детство, папу, который так рано ушел, и маму, которая покинула своих детей вслед за отцом.

И туда, где теперь находились их души, туда, в неведомые края, лежал теперь путь сестер.

На следующий день толстуха Марилена не смогла даже подняться и дойти до крана с водой.

Она лежала, придавленная своим огромным весом, и тихо разговаривала сама с собой разными голосами, причем один ее голос был жалобный и упрекающий, а другой — добрый и ласковый.

— Если бы ты согласилась выйти замуж за колдуна, ничего бы с нами не случилось.

— Да, а ты бы сейчас жила в виде чайника.

— Нет, мы бы его уговорили, ты что! И потом, лучше жить в виде чайника, чем умирать вот так, в тюрьме!

— Не волнуйся,— отвечал другой, добрый и ласковый, голос.— Скоро ангелы проведут нас к папе с мамой.

— Нам не надо ничего,— вопила Марилена,— никаких денег, никакого Владимира, отпустили бы нас жить куда-нибудь на острова Мань-Вань!

— Если бы,— кротко отвечала Марилена сама себе.

И тут произошло чудо: с тихим шелестом отъехала одна из стен, и Марилена, не веря себе, почувствовала ночную сырость.

В комнату вползали туман и запахи жасмина и сирени. Кровать Марилены упиралась спинкой в куст шиповника, и цветочки, розовые и простенькие, свесились над подушкой.

Марилена с огромным трудом поднялась, переползла в сад и свалилась в крапиве, и на нее посыпался целый дождь росы с листьев.

Облизав пересошим ртом траву и свои мокрые руки, Марилена вдруг вскочила — уже играла тихая музыка — и принялась танцевать в кустах какой-то танец, то ли стрекозиный, то ли комариный, с подскоками и полетами.

— Ты поняла? Мы в раю! — радостно закричала Мария.

— Ой, уже? — заплакала без слез Лена.— А как же моя жизнь? Кончилась?

И буквально тут же обе балеринки оказались в чьих-то цепких лапах, причем это были мужички безо всяких крыльев и белых одежд: нормальная охрана с пистолетами и в потных рубашках.

Балеринок схватили и потащили, хотя они нисколько не сопротивлялись, и только Лена пискнула что-то вроде «Ой, это не рай».

Пленниц, видимо, волокли через заросли шиповника, потому что вскоре их руки и плечи оказались исцарапанными до крови, так что, когда сестричек втолкнули в караульную и принялись допрашивать, вид у них был дикий.

Тут же составили протокол о нарушении запретной зоны, затем арестованных допрашивали с пристрастием, в основном насчет того, могут ли они заплатить штраф в размере трех миллионов прямо тут же, на месте, в караульне,— тогда, дескать, отпустим.

— Откуда? — спрашивала белокурая Мария.— Да мы здесь никого не знаем, мы здесь проездом! Мы танцовщицы из балета!

— Вы что, с ума сбесились? — кричала черненькая Лена.— Хватают людей ни за что! Мы будем жаловаться!

— Что же, если денег нет, тогда вас приговорят к пожизненному заключению в тюрьме,— сокрушенно сказал сторож.— А двух миллионов не найдется? Мы дорого не возьмем.

Но тут произошло нечто странное: в караулку всунулся другой охранник и рявкнул:

— Это кто? Это не она! Вы ее упустили! Чем вы тут занялись? Нелли вопит как резанная! Должна быть одна толстая, а тут... Откуда эти две драные вешалки? Ну, вы сами ответите. Она идет сюда!

И действительно, в караулку вбежала в сопровождении своры врачей женщина с забинтованным лицом, и узнать ее можно было только по голосу, низкому и зловещему.

— Где! Где она? Это? Вы что, захотели на каторгу? Вас для чего наняли? Как только она выйдет, сразу ее схватить и убить в целях самозащиты! А вы кого мне предъявляете?

— Стояли, понимаете, на том самом месте, где открывается стена... Эти две мокрохвостые... — оправдывался охранник.— А больше никого не было.

— Как не было, бандит? Как не было, каторжник? Да я тебя сошлю на Мань-Вань! Ты что, забыл, какой у тебя приговор? Владимир все для тебя сделал, спас от виселицы, а ты! Что вы здесь делаете? У вас было задание убить больную, всё! В целях самозащиты! Прочешите весь сад! А этих разведите по разным комнатам и допросите, может, они что видели.

На этом Нелли с толпой врачей удалилась. В комнате остался начальник караула, тот, который требовал миллионы.

Со сладкой улыбкой он сказал:

— Вы у меня сейчас все расскажете! У меня такие есть способы... Такие способы... Вы у меня еще признаетесь, что сами убили и съели тостуху... При чем в сыром виде. Другого выхода нет... И вас казнят! А нам заплатят три миллиончика за труды... Все равно Марилену должны были случайно убить, как только она вылезет... Слышали? Тем более что эта жирняга сама оказалась бы накачанной наркотиками. И должна была одного из нас тут зарезать. Вон того, кто заглядывал, он не знает... Деловой такой, все командует... Жалко, не получилось... А теперь даже легче... У меня такие есть ужасные пытки! Сами полюбуется. Лучше сразу сознавайтесь, чтобы не страдать перед виселицей... Вы ведь ее скушали?

Но тут два часа танцев уже, видимо, истекли, потому что Марию неужемимо повлекло к Лене, и наоборот, а охранник оказался между ними.

— Вы что? — заорал он.— Куда? Че давите? Стрелять буду! Стоять на месте!

А Лена и Мария уже срастались руками вокруг него.

Тут он выхватил из-за пояса нож и стал вслепую рубить.

И после первого же удара, когда он отрубил руку Марии от руки Лены, они почувствовали, что им уже не надо соединяться. Окровавленные, исцарапанные балеринки стояли и смотрели друг на дружку, а охранник исчез.

— Ты знаешь, что произошло? — завопила потрясенная Лена.— Это же предсказание колдуна! Кто нас попытается разрезать, тот превратится в дизентерийную палочку!

— Ой,— сказала Мария,— бежим отсюда, еще нам заболеть не хватает!

Потрясенные, они глядели на пол, где, по их предположению, должен был сейчас ползать усатый, толстый микроб дизентерии, и пятились вон.

Иногда одно зло побеждает другое зло и минус на минус дает плюс!

Их никто не остановил. Они выбежали в сад, долго метались по мокрым кустам, пока не нашли ворота, где стоял на все готовый вахтер.

— Бегите, там ходит такая толстая тетка с ножом, она нам угрожала, что зарежет!

— Толстая? — восторженно воскликнул вахтер и бросился к телефону.

Лена и Мария выскочили за ворота и оказались на свободе.

Они помчались подальше от проклятого места, долго бежали, пока не оказались на давно знакомом вокзале. Куда же еще пойти бездомному человеку?..

Там они отмылись, сначала в луже за кустами (видимо, в городе этой ночью шел сильный дождь), потом в туалете.

Несколько царапин на лбу и на руках было не в счет, мало ли каким ударам судьбы подвергаются бродячие нищенки!

На вокзале Лена и Мария просмотрели несколько валявшихся на лавочках газет и узнали, что завтра ожидается триумфальное возвращение толстухи Марилены, обновленной звезды цирка, которая теперь весит пятьдесят килограммов вместо ста.

Тут же помещались портрет новейшей Марилены (явная секретарша Нелли, но с большими зубами и с расширенными веками, от чего вид был несколько косоглазый, как у бульдога, что поделать) и реклама удивительной клиники, где за три дня делают человеку новое тело плюс восстанавливают организм за счет идеального питания травами.

Тут же сообщалось, что Марилена уходит из цирка в новую жизнь, так как уже больше не может поднимать тяжести и есть барана и вообще уже не самая сильная женщина и не чемпионка островов Мань-Вань.

Но зато она теперь купила клинику похудения и институт травяного питания, где директором назначен ее муж Владимир,— они женаты давно, но скрывали, так как великая артистка не может принадлежать кому-то одному, она принадлежит всем.

Мало того, новая Марилена открыла музей толстой Марилены, где будут выставлены для обозрения все вещи толстухи-силачки, в том числе ее нижнее белье и совместные фотографии с мужем Владимиром.

Кроме того, приводились также фотографии постепенного превращения толстомордой Марилены в Марилену худощавую, это уже были явные шараш-монтаж и жульничество, и Мария, и Лена знали это прекрасно, но чего только не достигнешь в фотографии с помощью наложения негативов и искусства ретуширования!

Тут же было и интервью Владимира в семейном автомобиле «роллс-кинг-сайз-ройс» (королевский размер, сделанный на заказ для прежней Марилены, но не выкидывать же) на фоне нового дворца и на фоне клиники, из которой как раз и убежали ночью две сестры.

— Как он все умно сделал! — сказала Мария.

— Как хорошо, что мы ничего не говорили ему о танцах! — сказала Лена.— Это благодаря тебе: ты стеснялась, что у этого жениха окажутся две невесты.

Они помолчали, стоя посреди пустынного в этот ночной час вокзала.

— Так что же делать? — спросила Лена.

— Танцевать,— сказала Мария.

— Да, помнишь, в сказке о Золушке Евгения Шварца? Во всех затруднительных случаях надо танцевать!

И они встали в первую позицию и, тихо сказавши волшебную фразу «Раз, два, три, пали, вали», пустились в пляс.

Тут же вокруг них образовался маленький кружок ночных бродяг, продавцов и бессонных пассажиров с чемоданами, сумками и детьми, все стали весело хлопать и накидали много мелких монет (богатые люди ночами не сидят на вокзалах).

Быстренько собрав деньги (где толпа, там и полицейские с дубинками), балерины покинули свою временную арену, купили билеты на ближайший поезд и покинули страшный город, где с ними произошло столько приключений благодаря их красоте и талантам.

И уже через год сестры Ленмери блистали в соседнем городе в самом дорогом варьете со своими великолепными танцами, и их теперь всюду сопровождала охрана, состоящая из старичка в форме генерала (генералов как-то больше боятся), и у них был дом на берегу моря и контракты во все страны мира, включая неведомые острова Мань-Вань.

Среди зрителей довольно часто, кстати, можно встретить колдуна, который посылает им цветы, жемчужные короны и павлиньи веера, такой у него странный вкус: сам он боится сестер и их неведомой покровительницы феи Бродбутер, так как понимает, что его собственное заклятие не удалось.

Теперь ему понравилось любить издалека, таинственно и безопасно, когда нет необходимости напарываться на отказ.

Тем более что неизвестная и грозная Бродбутер может еще и наказать за предыдущие штучки.

Как ни странно, им часто пишет письма и некто Владимир.

Он пишет, что полюбил Марию и Лену с первого взгляда, что не может даже выбрать ни одну из них и согласен жениться на каждой по очереди.

А пока что, находясь в затрудненном финансовом положении, будучи жестоко ограблен злой женой Мариленой, которая оформила все имущество на себя и уехала неизвестно куда — а в клинике, которую он, Владимир, возглавлял, поселился злостный микроб дизентерии, и пришлось по приказу властей эту роскошную клинику сжечь! — так что пока Владимир просит временной помощи — в долг миллионов тридцать с возвратом через сорок девять лет.

И к сему каждый раз прилагались фотографии Владимира в плавках, в смокинге на балу, в свитере с высоким воротом за книгой и затем в кожаном плаще и в шляпе у дымящихся развалин клиники, с печальной улыбкой на бледном лице.



Правда, сестры эти письма не читают, их читает в свободное время и с большим интересом старик генерал, затем он складывает их в папку, ставит номер и кладет на полочку в шкаф, надеясь когда-нибудь удалиться на покой и там, на покое, написать роман об удивительной силе любви одного юноши В. под названием «Страдания молодого В.» с фотодокументами.

### **ОСТРОВ ЛЕТЧИКОВ**

Один молодой летчик слышал, что где-то в океане есть волшебный остров и на нем сад и дворец, и если пролетаешь над этой территорией, то сад пахнет на десять километров вверх, так что у экипажа кружится голова, и забыть это ощущение невозможно.

Каждый летчик стремится вернуться туда и пролететь еще раз над тайным садом, но остров лежит в стороне от всех маршрутов, его еще надо отыскать, кроме того, он не всегда является (разумеется, его нет ни на одной карте мира, не ищите), и надо потратить часы летного времени, а каждый час — это сотни километров, большой расход керосина.

А у нашего молодого летчика был свой небольшой сад, доставшийся ему от матери, — обыкновенный дом, газон, пять кустов жасмина, две старые груши и одна слива.

Но летчик разводил там еще и розы, тюльпаны, пионы, ромашки, васильки и настурции, хотя в итоге никакого особенного аромата в саду не наблюдалось — пахло китайским чаем и свежестью, а после дождя пахло землей.

Услышав от одного товарища об острове, молодой летчик решил во что бы то ни стало добраться туда на самолете, и ему это однажды удалось — он сделал небольшой крюк во время исполнения ночного рейса, пассажиры ничего не заметили, они сладко спали над океаном, экипаж тоже вздремнул, и вот тут наш молодой летчик рванул с большой скоростью в сторону, отклонился на тысячу километров от курса.

Что-то его притягивало, какой-то слабый знак или звук, он даже закрыл глаза (товарищ его говорил именно об этом странном ощущении) — и вдруг все вокруг переменялось.

Внизу, во тьме, светился маленьким огоньком дворец (видимо, окно под крышей), а сам летчик оказался в облаке запахов, которых он никогда раньше и не нюхал, — ночь пахла не лавром и лимоном, не медом и чаем, не жасмином и белой сиренью и не так, как новая лайковая перчатка, как рыжик во мху, как земляника в полдень на поляне, как теплая ванильная булочка зимним утром, и не как мамина ладонь у тебя на лбу, и не как фиалка «ночная красавица» среди папоротников, — это было что-то еще, нежное, сильное, но неуловимое.

Летчик вскочил, хотел разбудить всех, но передумал, тем более что аэродром, на который он должен был приземлиться уже через полчаса, настойчиво доискивался, куда смылся целый лайнер с пассажирами.

Конечно, потом были большие неприятности, самолет, само собой, опоздал, встречающие волновались, служба информации сбилась с ног — короче, начальник уволил нашего летчика, да еще и приговорил его к штрафу, такому огромному, что летчик вынужден был продать дом и сад, матушкино благословение, да еще и взять очень большую ссуду в банке, хотя все товарищи дружно защищали его, ссылаясь на то, что это был временный провал в памяти, мало ли.

Себе летчик оставил только маленький клочок земли размером с автобус (междугородный).

Однако жить было надо, и наш бывший летчик попросился назад на аэродром в так называемую наземную службу — подвозить к самолету запакованные обеды.

Его взяли, потому что известна была его честность и порядочность, и за сохранность обедов можно было не беспокоиться.

А историю с исчезновением ему простили, так как, во-первых, никто не догадался, что он специально исчезал в поисках острова, а во-вторых, он полно-

стью уже расплатился как за истраченный керосин, так и за все пропавшие железнодорожные билеты пассажиров, и он даже заплатил за авиабилет и такси одному особенно взволнованному человеку, который кричал, что ему теперь не нужны никакие деньги, потому что из-за задержки рейса он упустил свой поезд, а его должна была прийти встречать одна собака, и именно к последнему вагону, она всегда приходила почему-то встречать именно его и именно к последнему вагону, и в этот раз он решил эту собаку усыновить за ее верность — и на-те, самолет опоздал!

Он так кричал и бесновался, повторяя, что не знает адреса собаки, а она не знает его адреса и все потеряно, что летчик дал ему деньги на авиабилет и на такси от аэропорта к последнему вагону поезда, вот так!

Короче, наш летчик все-таки вернулся к нормальной жизни и даже стал снова выращивать на своем клочке земли цветы — другие летчики жалели своего товарища и привозили ему семена откуда могли: трудно, что ли, проходя по чужому парку где-нибудь вдали от родины, сорвать стручок, засохший цветочек или кисточку ягод!

А ведь там, внутри, как раз и лежат нужные семена.

Наш поставщик запакованных обедов все свое свободное время трудолюбиво выращивал эти семена, и даже построил в окружении своих новых цветов дворец в полметра высотой из мелких камней, и даже провел туда электричество и ввинтил лампочку от карманного фонарика, чтобы ночами в его довольно маленьком саду горело одно окошко под крышей дворца.

Себе он поставил там же будку в три этажа, трудно, что ли, натаскал камней из оврага и построил — на верхнем этаже у него была даже оранжерея под стеклянной крышей, на среднем этаже помещались раскладушка и книги, а на нижнем он хранил лопату, лейку и удобрения, и имелся также большой подвал для семян, клубней и луковиц (уж под землей-то места было достаточно, рой вглубь хоть на десять метров).

Со своего этажа ночами он прекрасно видел маленький дворец со светящимся окном, и иногда летчику казалось, что он снова летит над волшебным островом и вдыхает тот запах, который пока еще не встречался ему на земле, разве что когда мама целовала его перед сном в новогоднюю ночь, а он лежал в своей кроватке среди ее бедных подарков и был счастлив, укрыт и любим.

А у них в летном отряде был еще один пилот, тот самый, который и проговорился как-то за стаканом рома об острове своему младшему другу, — знает, как это бывает с пьяными: возьмет и расскажет о самом дорогом.

Так вот, не один наш разносчик запечатанных обедов знал про остров — ром можно купить на любом углу, и таким образом о тайне пронюхал начальник.

Этот начальник никогда в жизни не сидел за штурвалом самолета, а начальством он стал по знакомству, так бывает: его двоюродный брат женился на дочери замминистра, и пошло-поехало, вся родня вскоре была пристроена.

Сам начальник был из почтенной семьи перекупщиков краденого, а поскольку все они жили недалеко от аэродрома, то и постепенно специализировались именно на краденном авиабагаже, то есть опыт работы с пассажирами в семье уже имелся.

Поэтому, став начальником, этот сын перекупщиков краденого сделался очень строг к нарушителям дисциплины, боясь, как бы кто чего не подумал о нем.

Самые строгие начальники как раз и водятся в мире бандитов, это общеизвестно: там они не увольняют, не тратят время, а чуть что — расстреливают свой трудовой коллектив, а затем набирают новый.

Короче, как только этот начальник прослышал о таинственном острове, из-за которого нарушается дисциплина, он стал настаивать на том, чтобы его немедленно отвезли туда по делу.

Старый пилот, проговорившийся начальнику, как-то плакал за стаканом рома, а бывший летчик (ныне развозящий запечатанные обеды) сидел с ним и думал, что делать.

Положение осложнялось тем, что начальник требовал для своей командировки старинный бомбардировщик, и уже одно это было подозрительно.

В конце концов молодой бывший летчик уговорил старого (на это пошла лишняя бутылка рома) взять его с собой в этот полет на бомбардировщике, и в назначенный вечер хмурый толстый начальник в полной летной форме и при орденах (все-таки замминистры — большая сила) с каким-то чемоданчиком взошел на борт бомбардировщика, не подозревая о том, что его сопровождает еще и грузчик готовых обедов, готовый на все.

Начальник потребовал у пилота открыть бомбовый люк (этот люк открывался прямо из салона самолета, такая устаревшая была конструкция) и положил туда, очень бережно, свой чемодан, после чего прошел в кабину и сел на почетное, как ему показалось, место у окна.

Что касается бывшего летчика, который спрятался под брезентом, то он, со своей стороны, быстро вытащил чемоданчик обратно, бесстрашно открыл его и вынул оттуда одну маленькую штучку, а затем захлопнул чемоданчик, положил его на место, закрыл бомбовый люк и снова лег под брезент рядом — на всякий случай.

Самолет разбежался и тяжело повис в воздухе, гудя своими старыми моторами, и вот ближе к полуночи наш транспортировщик запечатанных обедов услышал нежный, ласковый запах острова и одновременно дикий крик в кабине пилота: это орал начальник.

— Как не открывается? — вопил он. — Как это бомбовый люк может не открываться? Ты мне ваньку не валяй тут, понимаешь! Только что открывалось! Стрелять буду!

— Так вручную открывалось. Этому катафалку сто лет, механика не работает!

— Стрелять буду! — визжал начальник.

— Да заело крышку! — хрипло кричал в ответ старый летчик.

— Так кувалдой! Разводной ключ имеешь? А ну иди! Иди открывай вручную!

— Я пойду, я пойду, а кто этот гроб поведет, ты, что ли, начальник? — хрипел летчик у штурвала. — Я не хочу поцеловать носом этот островок!

— Я тебя... за это знаешь куда отдам? Да я тебя... я тебя премии лишу!

А волшебный запах заполнил весь самолет, и внизу, видимо, уже проплывал огонек замка, но молодой бывший летчик не смотрел в окно, а лежал под своим брезентом.

В кабине тем временем продолжался крик.

— Обратно, скотобойня! — кричал начальник. — Поворачивай оглобли!

— Домой! — кричал пилот.

— Не домой, хроник! Вот вернемся, я тебя уволю! Заходи над объектом, ты, независимый! Видишь, внизу лампочка светит? Вот делай круги туда-сюда, понял? А я пойду сам соображу.

И спустя мгновение бывший летчик из-под своего брезента увидел, как начальник подбегает и, пыхтя, открывает крышку люка.

Дикий, одуряющий запах сада чуть не сшиб его с ног.

Начальник даже зашатался.

У летчика под брезентом тоже закружилась голова.

Но тем не менее он выскочил из-под брезента и столкнул своего толстого бывшего начальника в бомбовый отсек, а затем захлопнул крышку и задрал ее как следует, до упора.

После чего он побежал в кабину. Старый пилот плакал.

Бомбардировщик делал круги над островом, в кабине стоял запах чего-то настолько прекрасного, что хотелось выпрыгнуть из самолета и полететь, по-глупому маша руками.

Внизу моргал огонек под крышей дворца. Фляжку с ромом старый пилот держал неотлучно при губе, отчего самолет бултыхался, как жидкость в его посудине, или наоборот.

Грузчик запечатанных обедов сменил своего старого товарища за штурвалом и, зорко глядя вниз, повел самолет на снижение.

— Я взорвал остров, слышишь? — хрипел старый пилот. — Ты что делаешь, щенок?

— Я иду к берегу. Слушай, там есть какой-нибудь пруд на побережье?

— Навалом! Тут же пляжи, тут и бассейны. А что тебе?

— Увидишь.

Через час полета бомбардировщик нарушил границы соседнего государства и с редкой точностью сбросил в бассейн отеля «Пента» бомбовый груз, который приземлился с большим шумом в виде толстого мужчины и тут же был выловлен двумя пьяными охранниками отеля, которые отдыхали в шезлонгах у бассейна и были теперь мокрые с головы до ног (взрывная волна).

«Что, однако, за идиоты работают в соседней стране? — думали тамошние разведчики, получив в свои руки такой подарок судьбы (где пойманный шпион, там премии и награды). — Диверсанта сбрасывают в полном обмундировании, с документами и орденами, однако без парашюта — это раз. И тут же, буквально на голову ему же, сбрасывают чемодан с бомбочкой, полный бред. Но без взрывателя, что тоже необъяснимо».

Во всяком случае, пьяные охранники из отеля «Пента» прославились на всю страну, их снимали в мокром виде вместе с обалдевшим, тоже мокрым, шпионом, а также отдельно от него; на завтра их совместные портреты были опубликованы на первых страницах газет и т. д.

Происходил большой переполох.

Пограничники гордились своим шпионом, как грибники белым грибом.

А старый бомбардировщик тем временем тихо-мирно вернулся на аэродром без начальника.

Вскоре из соседнего государства последовал запрос о шпионе, майоре Н., а в его доме при обыске нашли множество бомб и ножей, причем на чердаке были свалены пустые чемоданы, ранее украденные из багажного отделения аэропорта.

Мама шпиона и вся его семья тут же поклялись, что все это принадлежит только ему: такое у мужчины было хобби — воровать.

Они здраво рассуждали: если уж он сидит в тюрьме, пусть сидит.

А молодой бывший пилот, вернувшись к себе в свою трехэтажную будку, сладко заснул, потому что, когда все удается, люди очень устают и хорошо спят.

Во сне ему снился сад, и он летал среди цветов острова на маленьком самолете типа «стрекоза», и запахи сада баюкали его всю ночь.

Утром же, проснувшись, он обнаружил у себя в саду новые диковинные цветы — видимо, за эту ночь проросли все семена, зерна и бобы, подаренные ему товарищами.

Из-за ограды выглядывали удивленные соседи, все бабочки округи порхали над крошечным садом летчика, и вообще обстановка сильно напоминала сон, потому что этот клочок земли нестерпимо благоухал.

Мало того, молоденькая дочка соседей, существо, похожее то ли на подснежник, то ли на цветок земляники, — эта девушка помахала ему из-за ограды рукой, покраснела и спросила, не хочет ли сосед выпить с ними чашку чая, а то папа с мамой интересуются насчет семян, отводков и корней.

Разумеется, он тут же откликнулся на это приглашение прекрасной соседки.

Надо ли говорить, что там, где обычно кончается сказка, начинается счастливая жизнь...



Владимир ГАНДЕЛЬСМАН

---

## Страница быта

\* \* \*

Полдень всяких городков таких,  
белых, известковых, развесных

пятен света, поворот песчаной —  
ни души — дороги, полдень чадный,

но прохлада дома изнутри  
ощутительней вдвойне — смотри:

там уроки музыки дают,  
вдовствуют, по-тихому сдают,

навсегда там убрана одна из  
комнат, по утрам не растемнясь,

время закупорено в часах,  
на пюпитре пьеса в трех частях

остановлена, сухая птица  
в доме вдовствует, на жизнь скупится,

и не слышит собственные шарки,  
и не видит поворот дороги жаркий,

свет над ней, изношенный до дыр  
темноты, превосходящей мир.

\* \* \*

Мост с пятого мне этажа,  
за ним еще один запомнить,  
пространство больше, чем душа,  
болящая его заполнить,

шпиль солнца пылью золочен,  
бухгалтерские счета Биржи  
стоят ребром, стоят плечом  
к плечу дома, ничто не ближе

тебя, мы в воздухе одном,  
тебя, на что оно без слова,  
пространство, данное вверх дном  
в реке, для пущего улова,

поэтому так разрастись,  
как свет, себя переполняя,  
идет, как если бы он вниз  
шел, бóльший свет припоминая,

а мыслимое все, тобой  
став и озвучив, словом то есть,  
как рыба с порванной губой,  
срывалось бы, на миг удвоясь.

\* \* \*

Низких окон жилищно-  
эксплуатационных контор  
мимо, мимо, не хищно,  
но приверженно мир

видеть, угол Каляева  
с Чернышевского, двор  
и — направо, хваля Его  
за прижизненный дар

быть с тобою в квадратных  
метрах, лампа и шнур,  
перестуки парадных  
и кровать вроде нар.

Кто ты? Техник-смотритель.  
Грузчик я, истопник,  
тараканоморитель.  
Крупно падает снег.

Утверждать безусловность —  
утешенье двоих.  
Что у них, кроме слов, есть?  
То же, что и у всех:

души, неповторимость...  
И зачем она им,  
абсолютная зримость  
мира, спящим уже?

\* \* \*

*В. Ч.*

Я на кухне сидел,  
был почти что свободен  
и ничем не владел,  
тишине соприроден,

чуть дышало окно,  
паруся занавески,  
и фонарные дно  
озаряли подвески,

шли Невой корабли,  
и, пока на рассвете  
что-то там не свели,  
плыли черные эти,

что еще? — ничего,  
в лучшем, думаю, месте  
ели хлеб и вино  
пили врозь или вместе,

ты о чем? — ни о чем,  
я, возможно, прощаюсь  
и оглядкой в ночном  
малодушно прельщаюсь,

ни о чем, никому,  
безразличнее, суше,  
притопляя корму  
весом собственной туши.

*Начало зимы*

1

Из города — уже закат  
подвел черту — обратно  
я ехал мимо Кротона, в квадрат  
оконцем возведенного опрятно.

На станции поймал такси,  
и дуновенье ветра  
оспорило на миг, ни с чем в связи,  
спокойные угоды геометра.

2

Религия его ума,  
идущего по тропке,  
как формулы, возделала дома  
и вынесла святых как бы за скобки.

Он на механика снегов  
взглянул — в столь час не ранний  
не спит ли, не упал с колосников...  
Рассеянность, подруга чистых знаний...

3

Шел в комнату — забыл за чем...  
С небес летели числа,  
и несколько ветвистых теорем  
росло в ночи, доискиваясь смысла.

К воздушной книге для слепых,  
что текстом вниз раскрыта,  
словно тянулся кто-то... и затих.  
И я перевернул страницу быта.



Юлия СИДУР

---

# Пастораль на грязной воде

ПОВЕСТЬ

*Александру и Людмиле Бакиш*

**В**се это никуда не годится! Нельзя так писать в наше время. Бабка Соломония прочитала написанное три года назад и осталась собой чрезвычайно недовольна. В этот момент пришла в гости кошка по имени Последняя. Все трое на кухне радостно ее приветствовали. Еще двоих звали Хом и Чернушечка. Жена Хома Чернушечка была до ужаса худая красавица. Сам Хом сверкал внушительными солидными очками, поскольку после давней отслойки сетчатки глядел на мир практически одним глазом. Оба были безобразные ненасытные курильщики. Казалось, что они не курят, а едят сигареты. Сидя в желто-черном дыму, они улыбались и походили на доброжелательных призраков. Оба существа, женского и мужского пола, покачивали длинными, одинаково коротко стриженными головами и безудержно скалили свои ярко-белые зубы.

— Не всегда у вас будут такие зубки! Попомните мое слово,— сказала Соломония.— Никому даром не проходит кофе пить и сигаретами закусывать. И так целый день!

Ласковая гримаса не исчезла ни у того, ни у другого, только дым сделался еще чернее и гуще. Последняя долго раздумывала — уйти или остаться. Все-таки осталась и прыгнула на раскладушку в углу, неодобрительно поглядывая на обоих дымящих.

Дело происходило в начале девяностых годов XX века в деревне Туково, где все жители были Туковы. А дачники звались Соломой.

Империя уже рухнула, но многие вспоминали о ней с нежностью. Превенная, неоднократно проклиная жизнь была позади, и сейчас тем, кто умел ее пережить, казалось, что та жизнь, может, была не такой уж и невыносимой. Но здешние персонажи: бабка Соломония, Хом, Чернушечка и отсутствовавший член семьи Сам — радовались падению империи. Главный в этом семействе по имени Соломой уже умер. Его смерть прихлала на начало совсем новой эпохи, но он еще успел поучаствовать в спасении кошки Последней, родившейся весной одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года.

Последняя заболела через два месяца после окончания исторического апрельского пленума, ознаменовавшего собой начало конца.

Супругам Соломоям не нравился плотный мужчина с пятном на лбу в телевизоре, не нравился так же, как и любой другой имперский начальник. Но в его устах прозвучал новый штамп — «новаторство в литературе и искусстве», и они этот штамп на всякий случай отметили как полезный на будущее.

Когда Последняя заболела, никто и не предполагал, что вождь со звездой во лбу развалит сверхдержаву столь стремительно. Однако речь не о нем. А о том, что кошка заболела и ее было жалко. Последняя была обаятельное животное. Она сильно напоминала, по словам Соломой, современную девушку.



Вся она была узкая, длинная и чрезвычайно привлекательная. «Последняя в моей жизни кошка»,— говорил Соломой.

Доверие Последней не знало границ. Она постоянно проживала у соседа через один участок, мясника Тукия Тукича Тукова. Но, когда Соломой приезжали в Туково, она тут же поселялась у них. Чужая кошка сверхрасслабленно распластывалась на коленях у Соломая, как будто она была его дочка. И она постоянно требовала еды громким неприятным голосом...

Старший сын Соломая Хом и его Чернушечка знали, что произошло потом, однако все равно внимательно слушали.

— У тебя, Чернушечка, есть с Последней некоторое отдаленное сходство, только масть другая,— сказала Соломония.

— Правда? — удивилась Чернушечка.— Но она полосатая, а я гладкая.

— Я и говорю, масть другая.

— Ха-ха-ха! — сказал Хом.

— Вам действительно не надоело? — спросила Соломония.— Я уже в который раз рассказываю эту историю.

Никому не надоело: абсолютно все действующие лица были патологическими кошатниками с младенчества.

— Я только лягу на кровать, очень жестко на стуле сидеть,— сказала Чернушечка.

— А ты кури побольше,— сказала Соломония,— повсюду будешь костями греметь, как погремушка! И цвет лица у тебя такой интересный, то белый, то серый.

В ответ Хом и Чернушечка выпустили из оскаленных ртов совершенно чудовищные струи дыма. Последняя сердито фыркнула, но посторонилась и пустила Чернушечку улечься рядом с собой.

На дворе стояла летняя ночь, вся деревня Туково спала. Пролетающая мимо летающая тарелка зафиксировала светящуюся избушку, уютную кухню, окутанную табачным дымом, и четырех существ: трех двуногих с разного цвета головами и еще одно маленькое, полосатенькое, с четырьмя ногами. НЛО просканировал мозг всех четырех существ и отметил, что у маленького четырехногого белкового объекта уровень интеллекта не намного ниже, чем у трех больших. Тарелка полетела дальше самым медленным ходом, заинтересовавшись одиноким пьяницей посреди большой пустынной дороги.

НЛО чуть не перепутал Туково с другой планетой. Он соскучился из-за нетрезвого и полетел дальше в поисках чего-нибудь более необычного.

...Итак, дело происходило давным-давно, летом все того же одна тысяча девятьсот восемьдесят пятого года. Она шла по дорожке, то бежала, то снова шла. На этой дорожке, посыпанной желтым песком, краснели яркие капельки.

— Гляди-ка,— жалостливо сказала Соломония,— кровит!

Соломой поднял Последнюю на руки. Она тут же замурлыкала. Соломония подошла и подняла кошкин хвост. Из нижней дырочки вылезла какая-то форма и тут же спряталась обратно.

— Ай-ай-ай! — сказал Соломой.— Она болеет!

Последняя соскочила с рук Соломая и лихо взлетела на дерево. Кровь капала в траву. Из-под победно вздернутого хвоста что-то обернутое белой пленкой вылезло наполовину, потом спряталось обратно.

— Это выкидыш,— сказал Соломой.— Она слишком молода для беременности. Не убереглась.

— Что же делать? Туков не будет ее лечить. В Тукове кошкам лечиться не положено.

— Надо сделать ей операцию. Вытащить этот недоразвитый плод.

Последняя спрыгнула с дерева и медленно направилась к своей миске. Она с большим достоинством ела тогда еще не исчезнувшую из продажи перестроенную колбасу синего цвета.

Соломония, удрученно качая головой, пошла в дом. В кладовке она взяла резиновые перчатки, пузырек с марганцовкой и старую эмалированную кружку с вмятиной на боку.

Вошел Соломой с сытым животным на руках.

— Операцию сделаем в саду,— сказал он.

Кошка не вырывалась, когда Соломония наконец поймала все время исчезающий внутри ее тела скользкий кусочек. Соломония сделала всего лишь одно резкое движение, и кусочек остался у нее в руке. Кошка коротко вскрикнула. Соломония начала безмерно поливать марганцовкой отверстие у нее под хвостом. Соломой гладил Последнюю и рассказывал ей о своей любви. Кошка молчала. Соломой встал. Последняя пошла вперед, ее лапки немного зашатались, но она не упала.

— Последняя! — виновато позвала Соломония.

Кошка обернулась, внимательно взглянула на Соломонию и зашкандыбала дальше в кусты...

Хом и Чернушечка дружно закурили.

— Может быть, сделаете перерыв? — посоветовала Соломония.— Я хочу сказать тебе, Хом-самоубийца, что все сейчас держится на тебе. И если ты променяешь свое здоровье на курево и раньше времени загнешься, то ничего не будет! Музей закроют, подвал отберут, твоя Чернушечка развалится на отдельные кости, а я умру от горя. Самое смешное, что я совершенно не шучу. Я буду повторять тебе это неустанно. Я слишком люблю тебя, чтобы не обращать внимания на это самоистребление!

— Пойми,— сказал Хом,— сейчас это невозможно. Никак невозможно! Ну давай рассказывай, что там было дальше?

...Последняя появилась на другой день к вечеру. Неестественно светлые глаза на узком лице источали недомогание. Но неведомая сила все-таки пригнала ее в этот садик. Она стояла на подгибающихся ножках и слабенько мяукала.

— Умница! Хорошая кошка! Замечательная кошка! — наперебой повторяли Соломой, склонив над ней свои седые головы.

Последняя ничего не ела. Пила только воду. Молока тоже не пила. Соломония развела молоко водой, и Последняя сделала ровно два глотка. Затем она проковыляла в дом, с трудом забралась на табуретку, где лежал ее персональный рваненький коврик. Раза два она с трудом прыгивала, добредала до миски с водой и бесконечно долго пила. По нужде Последняя не выходила.

Утром Соломония постирала коврик и повесила его сушиться на солнышко.

Кошкин вид был ужасен. Тусклая шерсть, грязный мокрый подбородок. Неслыханное дело — животное перестало умываться! И только безумно много пила воды.

— Плохи дела,— сказал Соломой,— помрет кошка.

Последняя побрела куда-то в траву и там исчезла.

— Наверное, сегодня больше уже не вернется,— сказала Соломония.

Вечером Соломой крикнул, призывая Соломонию с заднего двора:

— Иди скорее! Пришла!

Никаких сил не было смотреть на больного зверя. Длинный, как палка, хвост, грязная острая физиономия, свалывшаяся шерсть. Последняя то и дело открывала рот, но ничего не было слышно. Шатаясь, она побрела к своим мискам. Попила воды и с отвращением отвернулась от любимой прежде тюри, которую Соломония готовила ей из дешевых рыбных консервов с хлебом и плавленым сырком за четырнадцать копеек. Все это изобилие существовало в деревенском магазине в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году!

Кроме питья воды, Последняя делала еще ровно по два глотка разбавленного водой молока и неизменно ковыляла к своей табуретке с ковриком, на которую с трудом вскарабкивалась.

Утром кошка снова оказалась жива. Соломония опять постирала ее коврик. Последняя, еле двигаясь, направилась к кустам и исчезла там, ни разу не откликнувшись на зов Соломонии в течение всего дня.

— Наверное, она все-таки помрет,— сказал Соломой.— Похороним ее около забора, там, где кусты сирени. Спокойное, хорошее место.

Однако, как только наступили сумерки, Последняя пришла живая и такая же страшная. Особенно Соломояв огорчало, что она не умывается. Они с умилением вспоминали, как Последняя перед ними прыгала и кувыркалась в воздухе, как взлетала она на деревья, как раскладывалась у Соломоя на шее воротником и как бросалась со всех ног к холодильнику, когда Соломония только к нему приближалась. Как долго и тщательно она умывалась!

Кошкина болезнь продолжалась около месяца. Соломония ежедневно стирала коврик, разбавляла молоко водой, чтобы Последняя сделала свои два глотка, безуспешно уговаривала ее съесть немного тюрки и обязательно промыла у нее под хвостом марганцовкой.

— Может, и не помрет, — с надеждой сказал Соломой.

И вдруг однажды он позвал тихонько:

— Погляди-ка!

Последняя стояла около дома, хотя вечер еще не наступил. Она с трудом поднимала переднюю правую лапу и пыталась водить ею по лицу.

— Умывается! — воскликнула Соломония. — Не помрет!

Спала Последняя в доме даже тогда, когда к ней вернулся аппетит. И в тот момент, когда она в невероятно красивом прыжке вновь взлетела на дерево, стало ясно, что животное выздоровело.

На другое утро Соломония взяла мокрый коврик, подтащила к нему кошку, ткнула ее несколько раз носом и громко сказала:

— Ты прекрати хулиганить! Ты больше не болеешь. Мне надоело стирать твой коврик.

Последняя все поняла и больше под себя не делала. Вскоре она снова забеременела. Хозяин Последней Тукий Тукич Туков, проходя мимо Соломоева участка и увидев, как кошка резвится на чужой территории, сказал соседу:

— Я-то думал, куда она пропала, а она вон где бегаёт!..

С тех пор прошло много лет. Соломония никак не могла забыть, как Соломой сказал: «Последняя в моей жизни кошка!»

Ночь продолжалась. НЛЮ заблудился и завис над избушкой, размышляя, кто был бы полезнее у него дома в другом мире: двуногие существа или вот это миниатюрное в полосу. Выбор его все больше склонялся к последнему. Но для этого надо было запрашивать начальство, и он пока еще не решил, стоит ли стараться. На розовом экране седая размахивала руками, двое с черной и с темно-темно-желтой головой выпускали гигантские струи дыма из своих самых крупных головных отверстий. Полосатое существо лежало молча. Оно хотя и страдало от дыма, но пока уходить не собиралось.

Соломония решила прерваться. Хом и Чернушечка были закаленные слушатели и кошкофилы. Но необходимо все же соблюдать меру в рассказах о кошке. Последняя соскочила с раскладушки и потребовала пищи удивительно жлобским голосом. На подбородке у нее сверкала какая-то очередная болячка: то ли экзема, то ли лишай. Соломония промыла болячку марганцовкой, других лекарств под рукой не было.

О том, как под руководством Соломоя учила кошку ловить мышей, Соломония решила рассказать в другой раз.

День начинался со слезами.

Бывало, что тихое будничное безумие переходило в творческое — иногда такое случалось. Но редко. Если же оно накатывало, то хотелось писать о всяких кошмариках: о бедствиях, о болезнях. А про хорошую поездку за границу писать не хотелось. Особенно после отъезда врачей Брумов. Вот, Соломойка, когда ты был жив, твоя бабка Соломония писала тайно и взахлеб и было ощущение счастья. Я ведь знала, что ты меня особо и не похвалишь. А если и скажешь что хорошее, то очень скупое. А все равно было счастье, несмотря на застой и прочие гадости. Сейчас свобода слова есть, а тебя нет. И счастья тоже нет.

Соломой всегда был влюблен. У него была потребность во влюбленности. Существовала огромная разница между влюбленностью и любовью. Он любил жену, детей и умерших родителей. Любил друзей, как свою семью. А влюблен был постоянно в юную девушку, в девочку-подростка или в молодую женщину. Иногда влюблялся всего на одни сутки, потому что какая-нибудь другая женщина перебивала его чувство своим появлением. Был влюблен в своего младшего сыночка Самика. Тот умилял его своими крохотными тапочками и разбросанными по квартире игрушками.

Однажды они с Соломонией были в гостях у своего друга-артиста. Там их встретили еще и дети: две дочки. Маленькая, абсолютная обезьянка, сидела под столом и демонстрировала какой-то спектакль. Она производила много шума и забирала на себя все внимание. Но Соломой влюбился в старшую — тихую неуклюжую десятилетнюю девочку. Его привлекла ее безмолвная, но очень интенсивная внутренняя жизнь, которую Соломой мгновенно уловил, как медиум.

Через некоторое время Соломония спросила:

— В кого ты нынче влюблен?

— В Лялю Мах,— коротко ответил Соломой.

— А ее родители разводятся,— сказала Соломония.

— Ужасно,— сказал Соломой,— бедные дети, бедная Ляля!

При этом Соломой подумал о своих собственных бедных сыновьях, тоже немалое время проживших при матерях-одиночках, а также о внуке, жившем после развода Хома с матерью и отчимом.

Соломония заметила, что после смерти Соломоя в нее вошли какие-то его черты, ранее ей не свойственные. Одной из таких черт стала потребность во влюбленности. И она решила влюбиться в Скифа романтической юношеской любовью. Она в него влюбилась еще до того, как он всенародно был избран туковским президентом. У политического деятеля Скифа голова сильно напоминала булыжник. Это был красивый, гармонично обтесанный природой валун. Скиф обладал приятной сиволапостью и лицом «Тролля сидящего», одной из ранних каменных скульптур Соломоя. Очевидно, давние-предавние предки белого монголоида Скифа происходили из какого-нибудь народа степной группы. И еще однажды в телевизоре возникла Скифова мать, необыкновенно достойная старуха. Мать и сын имели абсолютно одно и то же булыжного типа лицо. Соломонии бабушка очень понравилась, и она решила заодно влюбиться и в нее. Слова, которые Скиф экономно произносил, тоже напоминали тяжелые и неровные булыжники. Естественно, как все бывшие начальники из народа, он говорил «прецеНдент» и путал имена и фамилии соратников, что при желании можно было принять за пренебрежение. Однако чувствовалось, что именно пренебрежения у Скифа нет ни к кому и ни к чему.

Все эти мысли одолевали Соломонию по дороге из Тукова в столицу под названием Водный Гряз. По обыкновению своему они все трое возвращались ночью. Из-за жизненной неорганизованности они никак не могли улечься в часы дневного времени. И почти превратили день в ночь. Соломония специально загружала свою седую голову разными, Бог знает какими идеями, чтобы заглушить извечную боль по Соломою. Больше всего на свете Соломой любил избушку в Тукове вместе с прилегаемым к ней садиком и приходящими в гости вольными кошками. «Надо, надо влюбляться,— думала Соломония,— влюбленному человеку жить интереснее и легче».

Соломония сидела в машине рядом с Хомом.

— А на чем я буду лежать? — недовольно сказала находящаяся сзади Чернушечка.— Ты зачем выбросил мой мячик?

— Я его не выбросил, а вытащил,— сказал Хом.— Он мешал мне упаковываться.

Большой тряпочный мяч служил Чернушечке подушкой в дальних поездках внутри столицы и вне ее.

— Лучше заведи себе настоящую подушку,— посоветовала Соломония.

Но Чернушечка ее уже не слышала. Она спала, специально, чтобы не скучать там сзади в одиночестве. Соломония порадовалась и позавидовала столь быстрому и легкому засыпанию молодой женщины.

Пустынная ночная дорога бежала себе бездумно посреди сильного тумана. Хом, довольный тем, что никто не едет навстречу, палил дальний свет. Он ждал, когда после аэропорта начнут гореть желтые фонари. Из-за своего единственного здорового глаза он боялся темноты.

— Хом, наверное, все-таки существуют летающие тарелки, как ты думаешь? Посмотри на небо, все время кто-то летает.

— Так это же самолеты, тут аэропорт рядом.

Хом был прав. НЛО не летал в данный момент. Он решил побыть еще немного в Тукове. Он приземлился около покинутой двуногими избушки и находился в контакте с маленьким полосатым объектом. НЛО интересовался, что думает объект о конце империи, а также просил дать персональный прогноз по поводу дальнейшей судьбы Пятнистого и Скифа.

Полосатый меховой объект давал показания толково и четко. В ближайшее время, считал он, Пятнистый будет ездить по планете и зарабатывать конвертируемую валюту. В основном его роль по развалу империи благополучно завершена. Что же касается Скифа, то, по мнению объекта, ему необходимо укреплять свое здоровье, так как впереди его ждут серьезные испытания в борьбе за упрочение установленного им нового, называемого демократическим порядка. Объект настолько освоился, что, в свою очередь, задал вопрос, как в ближайшее время будет с продовольствием в Тукове. Куда, например, девались рыбные консервы «Завтрак туриста» и самые дешевые плавленые сырки, необходимые для тюри. НЛО вежливо сказал, что запрограммирован на постановку вопросов, а не на ответы, тем более столь чудовищной сложности. Затем он пригласил объект слетать с ним в свой другой мир для дачи показаний.

— А что у вас там есть? — поинтересовался объект.

— В виде исключения я перечислю вам, чего у нас нет, — сказал НЛО. — У нас нет среды обитания, продуктов питания, производительных сил и производственных отношений. Нет животного и растительного мира. Нет рек, долин и гор, а также морей и океанов. Нет любви к родине и ненависти к врагу. Нет друзей и недругов. Нет семьи, нет любви к ближнему. Нет добра, зла, ревности, преступности, уличных шествий и демонстраций. Нет божества и вдохновения, насилия и секса, общественного транспорта, средств массовой информации, бедных и богатых, бездомных, инвалидов, суперменов, нормативного поведения, комплекса неполноценности, безумия, внезапной озаренности, свежего ветра перемен, Музея Соломоя на Лысотуковской заставе, войн, разрушений, памятников старины, проституток, гомосексуалистов, геростратов, злодеев, праведников, экстрасенсов, верлибра, пьянства, социальной справедливости, деревни Туково, Пантеона Лысого Тука, жизни и смерти...

— А что у вас едят? — поинтересовался объект.

— У нас не едят, — сказал НЛО. — Ладно, так и быть, я открою вам нашу тайну...

НЛО сделал паузу.

— Поскольку вы представляете для нас некоторый интерес в целях безопасности... У нас есть самоцельное и бессмертное гармоническое существование!

— Не поеду! — твердо сказал четырехногий объект. — Мне этого вашего не надо! Но я должна вам признаться, что с продуктами в Тукове стало очень тяжело!

После некоторой паузы НЛО сказал уверенно:

— Хорошо, госпожа Последняя. Я скоро вернусь, и там посмотрим...

НЛО молча взмыл вверх и мгновенно исчез в туманном пространстве.

Дома Соломония, не зажигая света, встала посреди комнаты и произнесла вслух длинный монолог:

— Соломой, я расскажу тебе о тебе. Когда ты пришел ко мне в первую ночь после смерти, я даже не удивилась. Ты был в старой синей байковой куртке, той, что я купила на рынке с рук по дешевке в старинные застойные времена. Ты ужасно, ужасно исхудал! Еще больше, чем при жизни. Это была такая радость, что ты пришел. Целый день я просила Бога, чтобы он прислал тебя ко мне. И ты пришел. Ты лег на меня. Я поразилась твоей легкости, почти невесомости. Переплетение наше было неправдоподобно чудесным. Ты терся лицом о мои губы, а я старалась не думать о твоей необыкновенной легкости. Эта легкость указывала на очень скорое исчезновение счастья. Я только бормотала непрерывно: «Пришел, мой любимый!» Потом я изо всех сил благодарила Бога, надеясь подспудно, что, может быть, ты останешься. Бог представлялся мне добрым старичком с картинки. Именно этого старичка я и благодарила. Но хитрость моя не удалась. Больше за последние пять лет он тебя ни разу не присылал.

Музей имени Соломоя возник совершенно непонятным образом. Сразу же после его смерти все происходило, как оно и должно было происходить,— власть по инерции начала уничтожать все. Руководил общественным забвением старый облезлый волк по имени Заяц. Его тогда еще не сделали директором Института искусствознания, где он поражал сотрудников вежливостью и обходительностью. Он уже не был замминистра по культуре, но зато сидел в ЦК и ослабшими силами культивировал старую ненависть. Он поступал так, несмотря на громогласно объявленное сверху новое мышление. Поражало только, с какой точностью Соломой предсказал все дальнейшие события. «Держитесь до последнего! — завещал Соломой. — Вспоминайте все время, как вдова художника Валюнкиса целых пять лет держала подвальныйчик своего мужа. В итоге подвальныйчик отобрали, но пять лет она продержалась! Когда же будет совсем невмоготу, распахивайте скульптуру по квартирам. Кое-что по друзьям! Все большое и объемное — в Туково. Пускай Хом сфотографирует нескрепленные объекты. Потом сами скрепите. А я все-таки попробую сделать завещание на Ларка Айма. Все, что они сочтут самым первым для уничтожения, я ему завещаю. «Гроб-арт» ему завещаю, «Железную леда»... Все вещи в таком духе ему завещаю. Если они даже и не выпустят из страны, все равно не посмеют тронуть то, что завещано иностранцу».

В нотариальной конторе почему-то не обратили внимания на нетуковское имя наследника. Очевидно, привыкли в многонациональном сверхгосударстве ко всяким еще более экзотическим именам. Зато заинтересовались названиями предметов завещания: «Гроб-мужчина», «Гроб-женщина», «Автопортрет в гробу», «Существо из подвала», «Гроб повапленный», «Крышка гроба»...

Бдительные служащие сочли, что все эти гробы по меньшей мере золотые, раз стали предметом завещания. И не так уж они были не правы. Весь цикл «Гроб-Арт», любовно созданный Соломоем из самолично сколоченных гробов, а также наполненных им предполагаемыми останками человеческой цивилизации, подобранными на роскошных в коммунистические времена поймаках и свалках, действительно нынче был дороже золота.

— Это что у вас за гробы? — поинтересовалась нотариус, женщина, судя по лицу, вполне хорошая. — Это настоящие гробы?

— Настоящие, — скромно потупившись, сказал Соломой, — только я сам их сделал. Я создал искусство эпохи равновесия страха.

Женщина-нотариус обдумывала сказанное Соломоем. Видно было, что ей не все понятно, но она все-таки сказала:

— В общем, вы все написали по правилам. Мы это завещание оформим, ну а что будет потом, сами понимаете...

— Конечно, понимаю, — сказал Соломой.

Соломония была целиком поглощена тем, как будут выглядеть три четырехметровые бронзы, и заранее расстроилась, полагая, что выглядеть они будут не очень хорошо и придется исправлять. Ее напугал талантливый, но черес-

чур умный скульптор Сиз, который увеличил Соломоево произведение. Когда он сделал гипсы, Соломония и поэт Ганя Шумер съездили во Второй Тук, чтобы их принять. Все было отлично. Настолько хорошо, что Соломония и Ганя решили: вроде могли бы даже и не приезжать. Одну голову у левой фигуры чуть-чуть подправили, но скульптор Сиз и сам это уже видел и без них. У Сиза гипсовые фигуры стояли готовые для бронзовой отливки в саду около его халупки. Он, с одной стороны, радовался, что закончил работу, с другой — был весьма озабочен тем, что его семью собираются выгонять из халупы по причине рыночной экономики: по участку собирались тянуть газовые трубы. Сейчас он и другие скульпторы из округи написали очередную жалобу в столицу.

У Сиза лицо было маленькое оттого, что утопало в чересчур большом количестве растительности, включая бороду, усы и невообразимо длинные курчавые волосы. Соломония и Ганя посочувствовали ему, а потом вместе с жалобой Сиза отбыли к себе домой в столицу Водный Гряз. Они пообещали бросить кляуз в почтовый ящик где-нибудь поближе к новым демократическим властям.

У Соломонии были все основания беспокоиться перед прибытием скульптур в столицу. Недавно прошла выставка иностранного скульптора Бура, и некоторые скульпторы несколько помешались от этого красивого зрелища. Особенно их волновала поверхность: бронза, а выглядит как полированный малахит, эдакая роскошная зелень с прожилками! Перед отправкой скульптор Сиз позвонил и сказал, что все удивятся, какую отличную он сделал поверхность, — как у Бура! Соломония тут же насторожилась и огорчилась. Но ничего не сказала, поскольку дело уже было сделано. К Сизу она относилась с большой нежностью и благодарностью за то, что он увеличивал уже третий Соломоев памятник, и вообще за то, что он был очень хороший. Но горе от большого ума в нашем государстве обязательно присутствует. Великие мастера от добра добра искать!

В начале того года, в котором умер, Соломой сделал себе для игр трех больших кукол. Решил в конце жизни хотя бы всласть наиграться. «Начал я свою жизнь с куклят и кончу тем же», — сказал Соломой.

Тогда, в самом его раннем детстве, когда вся семья жила в городе Славке, из-за бедности не было у ребенка игрушек, а играть хотелось. Малыш и его мать самостоятельно мастерили себе игрушки. Они рисовали куклят на бумаге, раскрашивали их цветными карандашами, затем вырезали и склеивали. А потом уже из всяких лоскутков и тряпочек шили им одежду.

Во время войны куклятки сгорели вместе с домом и коммунистическими книгами. Перед отправкой в эвакуацию подросток Соломой успел разложить литературу по всей квартире. Он считал, что среди врагов обязательно есть сознательные рабочие и крестьяне. Они придут в дом, увидят эти замечательные правдивые книжки о справедливости и братстве, непременно прочтут их, устыдятся и перейдут на нашу сторону. И тогда будем строить человеческое счастье все вместе. Может быть, оно так бы и случилось, но в дом попала бомба до того, как неприятельские солдаты смогли в него войти.

Очень скоро Соломой очутился вместе с мамой и папой в азиатской эвакуации. Стукнуло ему всего лишь восемнадцать лет, а он уже стал курсантом-пулеметчиком! Но вот и года не прошло, как война переместила его обратно на окраину своего родного города. Он очутился всего в нескольких километрах от Славка. Соломой не удержался и сбежал в самоволку во время боевого затишья. Так сильно захотелось ему посмотреть на свой дом. Но не было отчего дома. Дом сгорел дотла в дыму пожарниц. Только встретил он среди руин полусумасшедшую старуху, в которой с великим трудом опознал мать своего школьного товарища. Страшная женщина взглянула на него мельком и прошептала с ненавистью: «Некоторые возвращаются». Соломой очень сильно на нее обиделся и, хотя понял, что товарища его на свете больше нет, все равно не смягчился.

Когда Соломой возвратился на линию фронта, окоп стал его домом на бесконечно долгие военные месяцы.

Изменился домашний интеллигентный мальчик Соломой неузнаваемо. И внешне, и внутренне это стал совсем другой человек. У него сделался хриплый, вечно простуженный голос. Он с удовольствием пил водку прямо из солдатского котелка, курил махорку, был обут в дырявые сапоги и одет в шинель с погонами младшего лейтенанта. Матерился так же, как и все окружающие; всякая другая, более цивилизованная, речь воспринималась на передовой как неестественная.

Дело шло к победе. В отличие от начала войны, когда оружия катастрофически не хватало, сейчас его было сверхдостаточно. Соломой с головы до ног был обещан разнообразным оружием. Солдаты его взвода катили за собой драгоценный пулемет.

Тридцатилетние старики, остатки от разных уничтоженных взводов, которыми Соломою пришлось командовать, не умели стрелять из пулемета. Их прислали на фронт из замшелой глуши необъятного государства. Обученных солдат не хватало, и этими телами количественно затыкали человеческую брешь. Люди эти из невероятного далека оказались набожны и непьющие.

От окопа к окопу бегал главный командир в звании старшего лейтенанта. Подбегая в очередной раз к Соломою, он тыкал ему в лицо пистолетом и, отчаянно матерясь, со страшно выпученными глазами, требовал, чтобы Соломой со своим взводом немедленно откапывал новые окопы: старые были чересчур пристреляны. Перед лицом почти неминуемой гибели Соломой научился не выполнять бессмысленные приказы. Но тут же, как бывалый туковец, начинал усиленно делать вид, что вместе со своим престарелым контингентом что-то усердно копает. Старший лейтенант бежал дальше к другим подчиненным, обещав напоследок: «Если не окопаешься, расстреляю!» Как только его фигура исчезала из обозрения, Соломой тут же прекращал всякую работу и приказывал всем отдыхать. Именно за это тридцатилетние рядовые любили своего юного офицера — за отсутствие страсти к ненужному мучительству. Они, непьющие, сливали свою водочную пайку в его котелок, и, лежа на спине в мартовской слякоти, он с наслаждением пил горькую водку; она казалась ему сладкой. Глядя в бездушное, черное от копоти небо, он, дисциплинированный и горячо убежденный в правоте своей борьбы солдат, изо всех сил, напрягая зрение, безуспешно пытался разглядеть Бога, чтобы всей своей душой уверовать в него. Но кругом происходило будничное убийство, и Бог не желал с ним общаться.

Сутками находясь в окопах, Соломой испытывал вдохновенный восторг, когда видел результаты своего воинского труда: он стрелял, и вражеские фигурки, как черненькие куклятки, падая веером в разные стороны, навсегда затихали. Сквозь прицел пулемета все выглядело завлекательно, как в кино. Душа Соломая настолько закалилась в боях, что он перестал жалеть врагов и не верил больше в рабоче-крестьянскую интернациональную солидарность. Он всячески скрывал и отвергал в себе любые поползновения жалости, когда видел разбросанные по полю мерзлые трупы вражеских юношей, совсем раздетых, кроме коротких нижних рубашек. Почему-то у всех у них на лобках были рыжие волосы. Наши солдаты были одеты. С наших трупов снимали только сапоги. Они лежали непогребенные, с черными ступнями, пока шло наше стремительное наступление.

Вскоре тридцатилетних непьющих стариков всех поубивало. Соломой с грустью и восхищением наблюдал, как тихо и просто они умирали. Он спокойно ждал своей очереди.

И дождался.

Это произошло как раз в тот момент, когда набрали новый взвод таких же старых. Пришло ему время себя покинуть. Угломонили боевого пулеметчика снайперской пулей в голову. И ничего такого особенного не произошло. Не промелькнула вся жизнь перед его полудетским взором. Только было ощущение конца от чудовищного удара по голове громадной оглоблей.



Скорее всего он бы так никогда и не вернулся обратно на этот свет, если бы не одна деревенская женщина. Соломония разыскала ее после смерти Соломои и теперь находилась с этой прекрасной бабушкой в оживленной переписке.

Ее звали Конь. От бабы Конь Соломония узнала, как воскресший Соломой лежал у нее в хате вместе с другими ранеными. Письма бабы Конь были весьма своеобразны. Мало того, что она писала на странном диалекте,— Соломонии они напоминали поток сознания: она ждала эти письма с нетерпением, но сама с ответами всегда опаздывала. Баба Конь даже боялась, что Соломония вообще перестанет писать: она очень пристрастилась к письмам.

Баба Конь писала: «Говорять май унуки бабушка ви не только для нас хорошая а ви даже у войну помогали военим спрашивать стали бабушка роскажи как ви спасали егова ранинова литинанта я им все рассказала гаварю внас много било раниних настилили саломи на зимле и все врят лижали но йво принесли очинь бил вгрязи как будто йво хто вмокнул вгрязь мы с мамой йво обмили привили в порядок но ти ранини хоч кушали а он немог кушать но я старалося йво накормить чтоби он бил жив жалко било смотреть на йво муку но я слава богу остался жив после такого тяжелого ранения мы получили от ниво письма когда он уже вернулся из все госпиталя день победы я всегда ходю до школи до могил в нас всегда коло могилы бывае митинг и мне хочица помянуть всех погибших и йво мучиника как он только пережил такую муку ищо добавилося болезнь инфаркт сердечко болела я вже вам письмо писала и каждый день жду от вас ответ и все нету низнаю почиму можить вас ищо дома нету я вам пишу что от вас посилочку получила все било целое...»

Идея делать кукол на старости лет пришла из-за хитрости. Соломой все думал, как бы так придумать, чтобы скульптуру создавать и не умереть при этом от чрезмерного физического напряжения. Сил не было даже в подвал каждый день на метро ездить. Уже Соломония сама проводила подвальные экскурсии, а посетителям передавала от Соломои привет. Акварели тоже тяжело давались. Надо было по несколько часов, не разгибаясь, над ними стоять. Соломой прорисовывал свои акварели пером с тушью, пока они были мокрые. Иначе весь эффект пропадал.

Утомительная оказалась работа. Акварели выглядели особенно красиво из-за иллюзии легкости и воздушности. Чем изысканнее получалась акварель, тем тяжелее писалась. Но, несмотря на наслаждение от работы с акварелями, Соломой все время тосковал по скульптуре. И вообще дело шло к концу жизни, надо было напоследок в куклы поиграть.

Помог режиссер Ногай. Когда-то он был Соломеевым учеником, но потом стал самостоятельным, завел кружок по мимике и пластике и в основном ругался с актерами: он считал, что они над ним издеваются. Это не соответствовало действительности. Актеры вполне хорошо относились к Ногаю. А частые конфликты возникали из-за того, что у Ногая имелось много таланта и мало ума. Когда ему было совсем неважно, он бежал к Соломоим поделиться:

— Они обнаглели! Они не умеют работать до седьмого пота! Я их всех разгоню! Сегодня моя опять меня довела, я ей по морде дал!

— Тебе надо расслабляться,— успокаивал его Соломой,— иначе тебя инфаркт хватит.

— Я не потерплю к себе такого отношения! — закричал Ногай.

— Ты что, совсем уже озверел, жене по морде давать! — возмутилась Соломония.

— Она больше всех хамит! Я не могу больше жить в этой стране! Не могу больше здесь находиться! Надо отсюда уезжать!

— Но там тебе никто не позволит так распускаться. Тебя феминистки разорвут на куски!

— А что ты сейчас делаешь? — спросил Соломой.

— «Башню» репетирую.

— Это которую ты уже почти два года репетируешь? — сказала Соломония.— Все про эту несчастную наклонную башню, которая в клоуна влюбилась?

— Ну! — сумрачно сказал клоун Ногай. — О чем ты еще хочешь меня спросить?

— Ни о чем, — сказала Соломония.

— Ладно, Соломония, — сказал Соломой, — ты же знаешь, что это бесполезно. Пусть живет как хочет.

— Скоро все артисты от него разбегутся!

— Пускай! Это его дело. Скажи, Ногай, нет ли у тебя знакомого театрального художника, который умеет шить?

— Слоник, — сказал Ногай.

— Какой слоник? — не понял Соломой.

— Не какой, а какая. Слоник — художница из Оперы. На вид она вполне нормальная, но при ходьбе кое-что крушит. Я ее выгнал из коллектива! Я с ней поговорю.

За всю свою полувековую жизнь Соломония не могла припомнить такого количества мусора на улицах Водного Грязя. Иногда, возвращаясь в сумерках из подвала, она замечала озабоченных упитанных крыс, неуклюже перебегающих от одного коммерческого ларька к другому. Возле киосков невозможно было проходить — настолько сильно шибал в нос запах мочи. Город затихал на короткий переходный период между днем и ночью. Криминальные элементы выглядели более явственно и зловеще. Рядом прохаживалась полиция. Преступники и полицейские имели вид родственный, добрососедский — одни ворovali, другие по мере возможности этому препятствовали. Но те и другие часто и успешно друг друга заменяли.

Ночами пересвистывались соловьи-разбойники, заглушая истерические привокальные вопли.

В двух шагах от Дарданелловского переулка, где жила Соломония, среди бела дня ограбили Чернушечкиного сына от первого брака, длинного худенького Черна. Сняли с него часы, да так быстро, что он ничего и не понял. У мечтательного пятнадцатилетнего Черна был такой потусторонний вид, что грех было его не ограбить.

Жить, конечно, стало веселее, товарищи! Веселее — это уж точно. Оглушительно гремела всякая музыка: от эстрады и рока до блатных баллад. И совсем рядом трогательный духовой оркестрик играл упраздненный ныне гимн Великого Тука. Играл он также что-то из довоенного и послевоенного. Многие останавливались, слушали с тяжелыми вздохами и, несмотря на все душераздирающие разговоры о нищете, стремительно наполняли бумажными деньгами высокую консервную банку.

Торговля по всему городу имела сюрреалистические очертания. Как будто вся страна с разбегу бросилась торговать, опасаясь потерять свой единственный шанс немедленно извлечь хоть какую-нибудь сиюминутную выгоду. Все спешили что-нибудь сбыть. Именно сейчас, именно в данную секунду! Иначе будет поздно. И оказалось, что люди интуитивно правы. После указа Скифа, разрешающего свободно торговать на улице, уже был готов противоположный приказ городских властей о запрете с первого мая бесконтрольной уличной торговли. Все ощущали себя на этой земле временно проживающими. Не делаешь сегодня — завтра будет поздно. Огромное большинство готовилось к худшему и спешило по мере сил себя обезопасить.

В воскресенье, пройдясь по всему сверхъестественно шумному, возникшему из ничего, плотному и угрожающему торговому центру, Соломония вышла на широкую пустынную улицу. Таких улиц в столице было много. Улицы, не приспособленные для человеческого удобства.

Ветер гнал и гнал перед собой громадные охапки мусора. «Это тот самый мусорный ветер», — бормотала Соломония, заслоняя лицо рукой и вспоминая самого любимого своего писателя. Одинокие прохожие, спасаясь от ветра, поднимали воротники, пытались спрятать головы. На огромном пространстве проезжей части крохотные фигурки быстро семенили ногами, желая скорее поки-

нуть неуютную асфальтовую пустыню. Голубовато-серые лица попадающихся навстречу людей выражали страх и растерянность.

Когда на секунду выглянуло солнце, оно тут же разлило золото невыносимой яркости по всем окнам фасада громадного замка, где помещалось ведомство по иностранным сношениям.

Соломония шла вдоль реки, смотрела на гигантские каменные жилища, окутанные розово-фиолетовым пространством, и постепенно проникалась этой неправдоподобной красотой. Мусор мчался за ней по пятам, завихряясь и швыряя в лицо горсти пыли.

Мой город тяжело болен, думала Соломония. Его раздрает собственное безумие. От пренебрежения и неухоженности он весь покрылся коростой и гнойниками. По нему табунами бегают кровососущие твари. Его воспаленные мозги выдают бредовые идеи. Огромное сердце мегаполиса бухает с перебойми. Но все равно он фантастически привлекателен! Нигде в мире нет таких прозрачных сумерек. Такого холодного опьяняющего воздуха. Такого сумасшедшего смешения старого, нового и будущего! Несмотря на дикость и хаотичную бесформенность, в нем есть мощное обаяние столицы, обладающей всемирным тяготением. Безмерно любопытство приезжающих со всех концов земли в этот, по словам Ларка Айма, «город бесконечных затруднений». Он такой же, как люди, его населяющие, — велик и жалок одновременно. И необходимо очень сильно его любить, чтобы...

Соломония и Самик говорили о протезе.

— Наверное, надо делать протез. Твоя рука очень портит тебе нервы. Раньше ты как-то спокойнее относился. А теперь все время ее прячешь.

— Не знаю, — сказал Самик.

— Ну а кто должен знать? В пятнадцать лет пора знать. Она же у тебя действующая рука. Она тебе помогает. А когда ты ее прячешь, получается, что ты однорукий!

— Ну, я не знаю! — повторил Самик капризным тоном.

Чувствовалось, что этот разговор для него невыносим.

— Ну хорошо, — примирительно сказала Соломония, — я вижу, как тебе неприятно. Но все равно вы с матерью поедете в Наргемию и будете делать все исследования. А потом будем кумекать, как дальше. Ты не думай, что я говорю только о косметическом протезе. Сейчас есть такие протезы за границей, которые сохраняют функцию. Я считаю, что тебе нужен именно такой протез. Узнайте, сколько это стоит. Потом я буду советоваться с Ларьком и Гелизой.

Самик молчал.

— В общем, я считаю, мы договорились, — сказала Соломония. — А в школе как?

— По физике двойку получил.

— Да ты что? — не поверила Соломония. — И это отличник! Первый ученик! Ты же был «гордость нашей школы». Как же это тебя угораздило?

— Учительница очень противная.

— Понятно, — сказала Соломония. — Но три ты в итоге получишь?

— Конечно, — подтвердил Самик. — У Кантина уже две двойки.

— Что Кантин! Кантин может и руками работать. У него выбор больше, чем у тебя. А тебе придется вкалывать исключительно головой.

...Соломония стояла на лоджии своей квартиры на седьмом этаже.

Внизу серая асфальтовая полоса дворика окаймлялась с обеих сторон только вчера появившейся необыкновенно нежной зеленью. Острый весенний ветерок мешал испытывать полное счастье от пробудившейся природы. Нарисованные на асфальте классики опустели. Девочка, которая минуту назад искусно по ним прыгала, покинула двор. Остались только отец и шестилетний сын в красном пальто и белой вязаной шапочке. Они уже третий день подряд выходили в этот двор для важного дела. Сын опирался на двухколесный велосипед. Отца почти не было видно. Он стоял на газоне около дерева, и нижние ветки закрывали его почти целиком. Сверху виднелся только его темно-синий

берет. Слышимость великолепная! Двор похож на колодец, в нем хорошая акустика.

— Ну, давай! — сказал Соломой.

Красенькая фигурка неуклюже вскарабкалась на велосипед и тут же шмякнулась на асфальт.

— Ну, давай, сынок, влезай!

Внизу послышалось тоненькое хныканье.

— Давай, давай, Самик! Все нормально, все хорошо. Давай влезай!

Самик влез, проехал два метра и благополучно свалился.

— Я же тебе говорю: не пытайся ничего делать правой рукой! Рулем управляешь только левой! Понял?

Самик уже раз двадцать проезжал по два-три метра, затем неизбежно падал.

— Забудь про правую руку! Она тебе мешает, — повторял Соломой. — Давай! Поехал! Ну вот, молодец, почти полкруга проехал!

Соломой поднял голову:

— Эй, Соломония! Сегодня совсем другое дело! Намного лучше! Спускайся, побегаешь за ним!

Соломония спустилась. Она прилежно бегала, держась рукой за велосипедное седло. Несколько раз она по инерции пролетала вперед, и они падали с Самиком вместе, а сверху их еще пристукивал велосипед. Потом случилось так, что Соломония упустила седло; Самик уехал, а она бежала за ним, бежала, пока не поняла, что все равно не догонит.

— Еду! — счастливо вопил Самик.

Его навечно согнутая в локте правая ручка с двумя маленькими пальчиками победно торчала вверх.

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Соломой. — Наконец-то человек понял, что надо держать руль только левой рукой!

Самик с криком проехал мимо. Соломой и Соломония захлопали. Они счастливо переглянулись.

— Вот видишь, научил! — сказал Соломой. — Теперь будет кататься не хуже других.

Несмотря на то, что Соломой немедленно влюбился в Слоника, как только ее увидел, он ни на минуту не забывал, зачем она вообще тут появилась. У Слоника был совершенно чокнутый вид. Это несколько не удивляло — вокруг много было таких. Неловкая, но милая, Слоник должна была шить кукол. Она это и делала, пока Соломой разглядывал ее с большой нежностью.

— И за что же тебя прогнал Ногай? — спросил Соломой.

Соломония держала длинную, обшитую простынной материей ватную руку. Слоник пришивала ватные пальчики к пухлой ватной ладошке.

— Он снова начал тиранствовать, — сказала Слоник меланхолично. — Последнее время особенно.

— А что произошло?

— На занятиях по теме «Человек — дитя природы» я должна была держать во рту большой палец левой ноги. У меня долго не получалось, хотя тренировалась очень много. И он все это терпел. Но на одной репетиции по бионике и еще чему-то он показывал возможности тела. Он жутко разорался на Ситоха. Это наш самый лучший актер. Ситох стал работать не хуже Ногай. Даже возражает ему! Скандалы шли один за другим. Пока все кричали, я задумалась и не заметила, как нога вывалилась у меня изо рта. И вдруг слышу над самым ухом: «Можешь больше не приходите, тебе нечего делать в коллективе!» А я, наоборот, так обрадовалась! Устала! В Опере с костюмами зашиваюсь, а еще эти репетиции в его подвале. Я переоделась и ушла. Но он мне потом позвонил. Попросил, чтобы я ему сшила клоунские шаровары. Сейчас у меня с ним хорошие отношения.

— Правильно сделала, что ушла из его коллектива, — одобрил ее эгоист Соломой, — а то у тебя не было бы времени шить со мной кукол. Теперь у нас

свой коллектив. Все эти куклы будут девочки-близняшки, и каждую я назову твоим именем в твою честь.

Слоник благодарно улыбнулась.

— Понимаешь, мне совсем недолго осталось,— сказал Соломой,— а то я бы мог предложить тебе большее, чем просто дружбу. Это моя последняя работа, и я хочу сохранить для нее силы.

Слоник заворожено, приоткрыв рот, смотрела на Соломою.

— Ты шей, шей этот мизинчик, не отвлекайся,— ласково сказал Соломой,— я довольно долго проковырялся с пальчиками. Никак не ожидал, что это будет так сложно.

— Пойду чайник поставлю,— сказала Соломония.

— погоди,— недовольно сказал Соломой,— вот пришьем пальцы, тогда и чаю попьете, а то целый вечер уйдет на чаепитие! Ты потерпишь? — проворковал он, обращаясь к Слоннику.

— Да,— прошептала Слоник.

Пришив пальцы и обсудив, как делать кукольные волосы из белой веревки, долго пили чай с соевыми батончиками и бутербродами с плавленными сырками. Соломой был чрезвычайно оживлен — его влюбленность набирала силу. Этому не помешало то, что Слоник разбила стакан и уронила стул, зацепившись за него ногой.

Уходя, Слоник сложила ватные руки и ноги в белый мешочек и пообещала в следующий раз принести туловище и волосы.

— Жду с нетерпением! — сияя, сказал Соломой.

В дверях Слоник столкнулась с Хомом и чуть было не сшибла его с ног.

— Кто эта шизоватая девушка? — подозрительно спросил Хом.

— Мы с ней кукол шьем,— сказал Соломой,— она помогает.

— Самикова мама тоже пол подметала! — сказал Хом.

— Ну что ты, Хом! — воскликнули Соломой и Соломония вместе.— Это совсем другое дело!

Ощущение курорта началось с аэропорта. Во-первых, майская жаркая наргемская погода. Соломония прилетела в теплом плаще. Водный Гряз был переполнен холодными ветрами и дождями. Накануне она безуспешно дозванивалась в Наргемию, чтобы узнать, какая у них погода, но так и не дозвонилась. Сразу же попав в объятия Ларка и Гелизы, она почувствовала, как ее отпускает водногрязское напряжение. И она с заговорщицким видом вынула из кармана кругленькую бронзочку. Это была «Медаль им. Ларка Айма» 2-й степени. Первая степень изображала мужское бородатое лицо. И Ларку она уже была вручена Соломеем при жизни. А вторую степень, женскую физиономию, пересылать было тяжело из-за беспрерывно ужесточающихся таможенных правил. Соломония гордилась, что обманула жандармов. Несмотря на революцию в Великом Туке, многие бессмысленные запреты остались без изменения.

Теперь Ларк Айм был полный кавалер медали собственного имени.

Аймы жили в большой шестикомнатной квартире, в которой невозможно было даже при желании научиться наргемскому языку. Жилище напоминало туковский проходной двор. Беспрерывно здесь кто-то жил, ел, пил и общался. Речь звучала исключительно туковская. Когда Ларк уходил в университет, Гелиза развлекала туковскую гостью Соломонию рассказами о своих родственниках. Она знала историю своей родни чуть ли не с восемнадцатого века. Родни было необыкновенно много, и про каждого дядю можно было написать роман. Гелиза это делала, но не в форме обширного мелодраматического повествования, о котором всегда мечтала тайная сочинительница Соломония, а в коротких, весьма занимательных историях. Непонятно, когда Гелиза успевала их написать. Она целыми днями стирала на бесчисленных гостей и готовила необыкновенно вкусную пищу. Естественно, Гелиза не в корыте стирала, а в потрясающе тихой и удобной стиральной машине. И посуду мыла другая машина — посудомоечная.

— Мои рабы! — говорила Гелиза про эти машины.

С недавних пор по пятницам стала приходиться молодая женщина, этническая наргемка из бедной страны Палск, и тщательно убирать всю громадную квартиру. И гладить белье. Самое скучное дело!

Окна выходили на многочисленные газоны и клумбы. Во дворе галдели белые, черные и желтые ребятишки. Все мощные внутренние дорожки были заняты необыкновенно чистыми автомобилями. В доме практически не было пыли. Когда еще не приходила служанка из страны Палск, Соломония украдкой проводила пальцем по верхним книжным полкам. Куда же пыль подевалась? Гелиза никогда пыль не вытирала. И автомобиль свой Ларк возил на мойку только раз или два в году. Хом в Водном Грязе обязательно мыл свою тачку каждые три дня, а то и чаще!

В университетском городе Мух, где жили Ларк и Гелиза, не летало ни одной мухи. Ларк был этим удручен. Он считал, что это следствие загрязнения среды обитания. Так много химических отходов, что все мухи передохли, полагал Ларк.

— Если любишь мух, живи у нас, — предлагала Соломония. — Наверное, у нас нет загрязнения, поэтому так много мух, комаров, тараканов, крыс, мышей и даже вшей!

Ларк и Гелиза добродушно смеялись.

Иногда хозяева приглашали Соломонию в мамайский ресторанчик г-на Чана. Г-н Чан выражал необыкновенную сердечность, встречая гостей еще на пороге своего заведения. Ларк и Гелиза ловко управлялись, поедая мамайскими палочками пищу из риса, бамбука, сладкой утки и чего-то еще, не менее экзотического. Соломония решила было научиться тоже есть палочками по-мамайски, но для этого надо было чаще посещать ресторан. Однако времени не было и дороговато. Так и не научилась.

У Аймов было так хорошо, что некоторые туковские эмигранты думали, что эдак повсюду. Иные нахлебники с удовольствием становились в Наргемии гражданами второго сорта. Они пробивали себе социальную помощь, получали крышу над головой, смотрели видеофильмы, посещали переполненные магазины и ругали Наргемию за сытость и бездуховность. И беспрерывно говорили о взятках, коррупции, невозможности чего-либо добиться без связей. С восторгом рассказывали, как за мытье полов у богатой старухи можно получить старую мебель, которая совсем еще новая. На городской свалке валялись исправные черно-белые телевизоры, а на блошином рынке, если поискать, можно купить не очень потертую дубленку за пять наргемчиков.

В Великом Туке ничего такого не было. Страна с дикими муками выползала из революционного, почти столетнего умопомрачения. Она истекала кровью на окраинах и с ужасом ждала, когда кровопролитие разразится в центре. Но эта была своя страна, и в ней был свой родной туковский язык. Несмотря на большое количество глупостей и мерзостей, а также грязь и разруху, многие туковцы испытывали непонятное умиление и даже гордость, глядя на трепыхающийся над президентским дворцом веселый трехцветный флаг, символ своей свободы.

В общем, как говорится, туковцы знали себе цену. Цена эта, по их мнению, была достаточно высокой. Иначе почему бы благополучная Наргемия испытывала такое непреодолимое влечение к распавшемуся израненному монстру? Ее влекли не только альтруизм и возможность будущего обогащения. Было что-то еще, чего не было у наргемцев, вернее, то, что они утратили. С одной стороны, их пугали иррациональные туковские страсти, с другой — неумолимо притягивали. Они уже переманили к себе массу талантов: художников, музыкантов, ученых, артистов. А страна как заведенная все воспроизводила и воспроизводила новых нищих гениев. Невостребованные умники плодились на туковской земле в необыкновенно большом количестве. И хотя много уехало, тех, кто остался, было больше.

Однажды пошли в гости. Соломония не любила в гости ходить. Она и дома не любила гостей. Вернее, она чувствовала себя неуютно среди чужих. В молодости они ходили с Соломеем по гостям и у себя в подвале часто принимали

ли. Теперь поднадоело пустое времяпрепровождение. Еще тогда обрыдло ку-хонное туковское вдохновение. А теперь тем более. Соломония любила только своих, свою родню и своих друзей. Со всеми остальными утомлялась.

Но Гелиза возмутилась:

— Не желаешь делать public relations!

И Соломония тут же согласилась, чтобы никого не сердить и не огорчать. Тем более что люди в том доме были знакомые. Женщина приходила в подвал, когда стажировалась в Водном Грязе, и теперь работала у Ларка сотрудником. А муж ее был пастор.

После аймовской квартиры казалось, что не может быть более райского местечка! Однако может. Дело происходило в городе, но в это не верилось. Лужайка, пальмы, бассейн, особняк. Детская площадка с немыслимым количеством игрушек, в которых сосредоточенно возился прелестный сопливый херувимчик. И сопли он рукавом утирал так же, как грязные туковские ребятишки около лужи на разбитой деревенской дороге.

Потом была пустая беседа. Это была запланированная пустота. Считалось, что таким образом публика расслабляется от тяжелой работы и стрессовых ситуаций. Но именно от этой пустоты Соломония уставала гораздо больше, чем от самой напряженной деятельности. Надо было улыбаться и всячески выражать, как тебе интересно и приятно. Соломония уже начала позевывать и потихоньку поглядывать на часы. Но на этот раз выручило, что рядом находился профессор-туковец из бедной страны Палск, работавший в Наргемии по обмену. Соломония из нищей страны Великий Тук и профессор из бедной страны Палск мгновенно почувствовали подсознательную солидарность бедных и начали автономно, но очень активно общаться.

Пока во время «фёрст дринк» пили в роскошном саду джинс с тоником, кампари, мартини, всякие вина и обязательное неизбежное пиво, палский профессор успел сказать Соломонии:

— Я большой поклонник вашего мужа!

— Правда? — обрадовалась Соломония. — Вам, конечно, Ларк рассказывал.

— Разумеется. Я считаю его самым главным солмоведом в мире!

— А других пока просто нет, — сказала Соломония, — пишут много, но понимает по-настоящему он один.

Подошла хозяйка дома, смуглая, стриженная под коротенький ежик, черноголовая Ханик в серых вареных джинсах и клетчатой рубашке.

— Пойдемте в дом, покажу вам мой кабинет, — предложила она.

Вместе с палским профессором Соломония оценила кабинет Ханик, и кабинет пастора, и детскую комнату. Комнат было побольше, чем у Аймов; повсюду узенькие крутые лестницы то поднимались вверх, то спускались вниз.

Почти в каждой комнате стояли компьютеры. Это был вполне интеллигентный и богатый дом. Соломония уже привыкла к тому, что у богатых практически не было красивой мягкой мебели и роскошной посуды, зато много громоздилось забытых книгами полок, рабочих стульев и кресел на колесиках. На неярких ворсистых коврах валялись многочисленные, отпечатанные на принтере рукописи. Еще у богатых имелись подлинные произведения искусства — живопись и скульптура. В этом доме тоже висели в очень простых скромных рамках какие-то портреты родственников, а также несколько невзрачных пейзажиков. И никаких репродукций. Все было подлинное.

Богатый дом резко контрастировал с небогатым. Например, с жилищем недавнего эмигранта Брума, где было много мягких диванов, огромных кроватей, полированных шкафов и столов. Цветные ковры устилали полы, зеркальные трельяжи отражали обстановку в двукратном размере — и все это добро Брумы приволокли с помойки!

Когда сидели в саду за столом и ели тут же поджаренные на вертеле сосиски и куски свинины, пустые разговоры перетекли в анекдоты.

— Рассказать Брумов анекдот про тукрейского портного? — спросила Гелиза у Соломонии.

— Давай,— сказала Соломония.

— Портной снимает мерку с клиентки. Измеряет ей плечи — сто пятьдесят, затем грудь — сто пятьдесят, в поясе — сто пятьдесят, бедра — сто пятьдесят. Потом спрашивает: «Где будем делать талию?»

Анекдот имел успех у всех, кроме одной дамы, которая не любила столь примитивные анекдоты. Она неодобрительно усмехнулась.

Пастор стал рассказывать анекдоты из церковной наргемской жизни. Соломония тут же заскучала. Туковцы — ушибленные люди! Даже анекдоты воспринимают только те, что происходят или с ними лично, или на их жизненном пространстве.

Херувимчик восседал за столом на высоком стульчике, хлюпал мокрым носом и с серьезным видом таскал маленькой грязной лапкой печенье из вазочки. Покушавши печенья, принялся за орешки. Большие черные птицы с ярко-желтыми клювами упоительно пели, пролетая прямо над головами гостей, иногда даже заглушая человеческую речь. Один желтоносый уселся на столе рядом с херувимом и стал бойко клевать орехи из красивого керамического блюдца. Херувим не очень удивился. Он на секунду перестал есть. Потом медленно протянул руку к птице. Желтоносый аккуратно подвинулся, не переставая клевать. Застывшая над блюдцем младенческая ручка залезла в вазочку и захватила сразу горсть орехов. Выпучив глазенки, херувим запихивал себе в рот всю пригоршню, но не справился и заплакал.

Подошла мама Ханик. Она взяла херувима на руки. Желтоносый птиц склонил последний орех. Улетая, он ткнул клювом мамашу в черную голову. Гости затаив дыхание наблюдали за всей этой сценой. Но в этот момент все расхохотались.

— Какой прекрасный ребенок! — сказал палский профессор.— У нас невозможно находиться в гостях. Если есть ребенок, он отвлекает на себя все внимание. А этот спокойно занимается сам с собой.

Профессор, очевидно, сглазил херувима: тот совсем расхныкался и стал тереть свои глазки кулачками.

Пацан устал, а мамаша его подольше выдерживает, чтобы он завтра не разбудил ее ни свет ни заря. Знаем эти хитрости, подумала Соломония. Но все бесполезно, все равно проснется с петухами!

Ханик с сожалением утащила херувима спать. Пастор принес целую охапку свитеров. Все их с удовольствием на себя натянули. Дневная жара превратилась в очень ощутимую прохладу. На какое-то мгновение люди в саду притихли. Было слишком приятно вот просто так сидеть и молчать. Только оглушительно распевали невидимые ночные птицы.

Крыша дома напротив освещалась ярким лунным светом. На нее мягко опустилась миниатюрная летающая тарелка. Возле тарелки возник пушистый черный кот. Его белая грудка необыкновенно сияла. Кот не вертел головой, вся его поза выражала огромное внимание. Тарелка бесшумно вращалась рядом, как большой игрушечный волчок.

— Видите? — шепотом спросила Соломония у палского профессора.

— Где? — не понял профессор.

— Там, на крыше!

— Потрясающе красивый кот! — восхитился профессор.

— А...— Соломония открыла рот и тут же его закрыла. Не надо распространять свою ненормальность на других. Значит, такая ее судьба — видеть то, чего не надо.

Перед уходом в коридорчике ее неожиданно остановила Ханик. Она взяла Соломонию за руку и просительно посмотрела на нее фиолетовыми до бесконечной черноты глазами. Соломония на всякий случай улынулась:

— У вас так здорово, Ханик, так красиво! И ребеночек замечательный...

— Мы вообще не уверены, что сможем остаться в Мухе,— вдруг сказала Ханик.

Тревога, исходящая от этой стройной красавицы, мгновенно передалась Соломонии. Это было ее свойство — улавливать чужие тревоги. Она огляну-



лась. Никого не было. Гости уже вышли на улицу и направлялись к своим либузинам.

— Хозяин дома сказал, что у нас еще только два месяца. У него больна тетька, и он сам теперь хочет тут жить. Мой контракт у Ларка тоже кончается.

Кажется, она делится со мной ужасами капиталистической действительности, подумала Соломония.

Сзади стоял пастор Ханк. Соломония спиной почувствовала его присутствие. У него было бледное потное лицо.

— Спасибо, Ханк...— начала Соломония.

— Тебе, тебе спасибо! За то, что ты пришла,— горячо заговорил Ханк понаргемски.

В таких пределах Соломония этот язык понимала. Господи Боже мой, чего же они так, заволновалась Соломония. Чего они от меня ждут?

И вдруг ее озарило. Вот чего они хотят от туковской бабки! Хотят, чтобы я по дружбе замолвила словечко перед начальством, то бишь перед Ларком. Это уже как у нас!

— Я не знаю... Ну я спрошу у Ларка...— неуверенно пообещала Соломония.

Оба благодарно заулыбались.

Ты сказал: «Про говно в проруби я сам напишу. Этим я закончу МИФ. Я скажу: мы ни с кем. Мы, как говно в проруби, болтаемся сами по себе. А ты скажешь; ну как же так? Надо все-таки выбирать... А я скажу: если ты не хочешь быть говном в проруби, я буду один. Тогда ты сразу скажешь: нет, что ты, я тоже хочу!»

Несмотря на такую аполитичную и нейтральную позицию, начальство не хотело забывать Соломою. Вовсю кричали по приказу Пятнышка о «свежем ветре перемен». И по телевизору говорили, и по радио...

А Соломой никому не верил и все множил материалы для второй части сотворенного им самим собственного МИФа. Материалов накопилось громадное количество. Даже любимые куклы не могли отвлечь его от этого самозабвенного накопительства. Соломой уже был недоволен законченной первой частью своего произведения.

— Если доживу, переделаю! — угрожал Соломой. — Я сейчас ко многому по-другому отношусь! И к людям, и к событиям. Ну-ка, запиши еще кое-что.

— Для МИФа?

— Ыгы. Пиши: «Выходя из туалета ночью, я увидел Соломонию за письменным столом, похожую на памятник Оголю работы скульптора Ндреева». «Баптисты: «В молитве мы всегда встречаем оппозицию дьявола». «Мой отливальщик Шалаш сказал про свою жену и тещу: «Назвал бы я их как-нибудь поматерному! А я просто сказал: «Дуры!» Ой, как они обиделись».

— Ну зачем тебе это, Соломойка?

— Пиши, не разговаривай! Не хватало мне еще преодолевать твоё сопротивление! Что там сказал инвалид Курк в нашем инвалидном магазине?

— Когда?

— Когда ты вчера ходила за моим инвалидным заказом. Почему ты ничего не помнишь? Я всегда надеюсь на твою память, а ты ничего не помнишь. Я тебе сто раз говорил, чтобы ты сразу записывала!

— Ну ладно, не заводись. Сейчас я вспомню. Дело было после праздника. Он сказал: «Как хорошо-то! Как пусто! А я-то думал, ничего не дают». Продащица добродушная, веселая. Мало народу, очереди нет: «Почему же? Мы вам, инвалидам, рады! Понедельник — ваш законный день!» «А я-то думал, праздники кончились, все проели, все пропили и ничего не осталось!»

— А что Шалаш сказал жене про пенсию?

— Он сказал: «Ты нос на мою пенсию не раскатывай!»

— Ну вот, — удовлетворенно сказал Соломой. — Все помнишь. Но я все-таки очень тебя прошу записывать сразу. Ты тоже, старуха, уже не та. Это раньше у тебя голова была, как компьютер. А теперь ты у меня малость остарела.

До смерти Соломою оставалось еще четыре с половиной месяца, когда посетили его начальники из художественного ведомства Стюк и Цеп.

Совсем недавно Соломония видела на экране непотопляемого Стюка, сидящего в парламенте еще целостного Великого Тука. Окончательно супергосударство распалось после августовской контрреволюции. Сначала парламентом руководил лично Пятнышко, затем будущий государственный преступник Лук, участвовавший в заговоре против своего хозяина. Пятнышко сделал все, что было в его силах, чтобы всех предателей во главе с Луком посадить вокруг себя крепко и надежно. В этом первом в Великом Туке за всю его историю парламенте мелькало несколько приметных физиономий, но все остальные были сплошь стюки.

Художественный начальник Стюк пытался увидаться с Соломоем еще во времена старого мышления. Прошло целых двенадцать лет с тех пор, как Соломою исключили из КПВТ за антикапелетистское поведение и такие же мысли. Соломой поленился и не узнал точную формулировку. Тоталитарная симфония подзаглохла и поутихла, и хоть громыхала еще по инерции, но не сверхоглушительно, как раньше, чтобы под ее рев и грохот окончательно истребить крамольных художников. А потом уже не трогали инвалида, контуженного героя войны. Ограничились исключением. Поскольку сидел под землей и не боролся словом за права человека. А боролся делом. Установил в Наргемии много памятников, из которых первым был памятник погибшим от душегубства. Наргемцы сами его тайно вывезли и увеличили по маленькой отливке. За границу Соломою не пускали, но он туда и не хотел. Боялся, что не впустят обратно, как это случилось с другими. По правде говоря, Соломой не очень верил, что там, за границей, намного лучше, чем дома. С малолетства вошло в него понятие о тяжелой эмигрантской доле. И он втайне радовался, что его не пускают. А разговоры о переполненных едой магазинах его не волновали, так как ел и пил он все меньше и меньше.

В течение двух лет Стюк добивался, чтобы Соломой явился к нему в учреждение для беседы. Начал добиваться во времена старого мышления, а во времена нового продолжал настаивать так, как будто ничего не изменилось, как будто и не говорили ему, что надо изменить мышление в связи с новыми установками — оставлять художников в покое. Он не верил в «свежий ветер перемен», как учил Пятнышко!

— Как ваше здоровье? — участливо спрашивал Стюк. — Не могли бы вы зайти ко мне на службу кое о чем поговорить?

— Нет, конечно, — отвечал Соломой, — зайти к вам не могу, чувствую себя плохо. Если вам очень надо, приходите ко мне домой, мы и поговорим.

А кругом бушевала начальственная вакханалия. Собирались ослабленные силы по оживлению когда-то победоносной идеологической битвы. Художнику Бакаку Стюк сказал во время проработки у себя в кабинете, что тот всех иностранцев к себе пускает, а ведь эдак можно и злодея Адольфера к себе пустить. Бакак так изумился, что и не знал, что на это ответить. Он считал, что наргемский каннибал Адольфер давным-давно в аду, с того самого момента, когда разгромили фашистов более сорока лет тому назад. И впечатлительному Бакаку стало плохо прямо там, в кабинете у Стюка, во время проработки.

От художника Глины потребовали, чтобы он написал открытое письмо и отмежевался от наргемской антитуковщины. Глина был выпивши. Он обругал Стюка и компанию по-матерному. Несмотря на это, его выпустили из кабинета живым. Он заперся у себя дома с большим запасом водки, ждал репрессий и произносил бесконечные манифесты о свободе творчества.

И только двое молодых, Абалак и Жигал, радовались, что в статьях их называли грязными букашками, бездельниками, наргемскими прихлебателями, получающими свои подлые сребреники за дешевую антитуковщину. Они не были членами художественной организации. Их никуда не вызывали. Они всегда открыто ненавидели туковский режим. Жигал не раз сидел в психушке и потому ничего не боялся. Они жаждали, чтобы их куда-нибудь вызвали. Более того, они везде рассказывали, что хотят устроить еще один перформанс — спля-

сать в голом виде на гранитной усыпальнице Лысого Тука, основателя государства. И теперь обдумывают, как это осуществить технически. Но не успели — в тот же вечер Жигала забрали. И снова запихнули в психушку. Знакомый врач-психиатр дружески встретил Жигала и сказал ему извиняющимся тоном:

— Надеюсь, вы на меня не сердитесь? Вы же понимаете, что мы ничего против вас не имеем. Это все контора!

По поводу ареста Жигала Абалак собрал у себя на квартире пресс-конференцию для иностранных корреспондентов. И все им рассказал. То, что генсек Пятнышко уже успел наболтать про новое мышление, многих укрепляло и поддерживало.

Соломой воспринимал всю эту суету полуравнодушно. Чувствовал он себя чрезвычайно скверно. И хотя все время готовился помирать, все-таки ставил перед собой на ближайшее время кое-какие грандиозные задачи, которые непременно пытался выполнить. Он просто запретил сам себе думать о Стюке как об еще одном вялотекущем отечественном злодействе.

В последнем вязком телефонном разговоре, когда Соломой снова очень твердо сказал Стюку, что он ни за что и никогда к нему не придет, тот неожиданно пообещал:

— Ну ладно, вот вернусь на днях из Второго Тука, обязательно к вам загляну.— И попросил вкрадчиво: — А может, все-таки ко мне потихонечку выберетесь?

— Нет! — решительно сказал Соломой.— Я к вам никогда не выберусь.

Итак, день начинался со слезами. И тебе, бабка Соломония, не суждено избавиться от одиночества среди многолюдства. Команда расплзлась в разные стороны. Один женился и родил сына. И сама же ты, бабка, все сделала, чтобы он поскорее женился! Потому что видела, что он одинок и страдает оттого, что не имеет самого что ни на есть обычного человеческого счастья. Теперь он необыкновенно занят добыванием пропитания для семейства, а к тебе ходит редко, и перестали вы на высоких и страстных тонах обсуждать повседневное туковское светопреставление. Но пишет он свои никому, кроме тебя, не нужные поэмы здорово. А это, естественно, главное.

Другой сидит в Наргемии около иностранной подруги и необыкновенно ценит свое тоскливое эмигрантское бытие.

Художница Толстонольдик пропадает беспричинно и надолго, скрывая свою загадочную жизнь.

Ослепленные наргемским богатством Брумы бросили все и уехали. Многие эмигранты не могли устоять перед самим фактом существования помоек, на которых можно подобрать бесплатно почти новые и почти чистые вещи.

Даже Подвалыч с вечной сигаркой во рту стал хворать, но с сигаркой расстаться не в состоянии.

А еще есть Фотий номер два, но он наемный работник и в команду не входит.

Большие и малые дети беспрерывно качают права. А Фотий номер один свалил еще, когда ты был жив. Но главное... В общем, все хорошо!

— Я к вам по рекомендации госпожи Последней,— сказал НЛО. Он стоял на стуле рядом с кроватью и беспрерывно вертелся.— Мне нужна кое-какая информация.

У Соломонии не было сил встать и безмерно испугаться.

— Скажите, пожалуйста, это вы тогда в Наргемии с котом беседовали на крыше? — спросила она.

— Ну!

— А откуда вы прилетели?

— Ох, издалека я прилетел! Из очень далекого далека!

— А почему я встать не могу?

— Зачем же вам вставать? Я, наоборот, советую вам предельно расслабиться.

— Я вот думаю, что вы что-то такое со мной сотворили, от чего я не могу подняться.

В это же мгновение Соломония села на кровати. И еще через секунду встала.

С тех пор как Соломония похудела, она снова стала помещаться в желто-белую полосатую Соломиеву пижаму и спать в ней. При виде этой пижамы ее каждый вечер охватывали короткие, но бурные рыдания. Однако она упорно продолжала в этой пижаме спать.

— Ну? — спросил НЛО.

— Что вы нукаете? — сказала Соломония, утирая слезы рукавом. — Эти галлюцинации посещают меня уже в который раз. Тогда я пила снотворное, чтобы хоть немного забыться. Но теперь я ничего не пью. Что это за напасть такая? Поймите, я глубоко несчастный и одинокий человек! Я все время кашляю. Я никак не могу смириться с тем, что его нет! Понимаете вы это или нет?

— Нам не надо это понимать, — сказал НЛО. — Мы делаем свое дело. Когда вы осознаете, что это не галлюцинации, вам сразу же станет легче. Не сопротивляйтесь.

— Никогда в жизни мне не станет легче!

НЛО соскочил со стула и, слегка жужжа, закрутился посреди комнаты.

— Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Г-жа Последняя сказала...

— Какая госпожа? Какая она вам госпожа? Она простое животное! Это Серая-Предпоследняя, ее дальняя-предальная родственница, дворянка. Но она Последнюю не признает! Последняя — беспородная деревенская кошка. Туков два раза прогонял ее со двора за то, что она к нам уходила. Она ничего не могла вам сказать! Она не умеет разговаривать на туковском языке. Она никакая не госпожа, она мой товарищ. Она мой друг! Она сирота! Это я научила ее ловить мышей.

— Но она знает туковский язык не хуже вас! Давайте поговорим спокойно.

— Нет, ни за что! Я иду мыться!

НЛО запрыгал за Соломонией в коридор.

— Вы что, и в туалет за мной поскачете? — презрительно спросила Соломония.

— Это не обязательно, — сказал НЛО и улетел обратно в комнату. Стоя под душем, Соломония перечисляла в уме знакомых врачей, к кому можно было бы по благу обратиться. Главные — Брумы — эмигрировали. А другие были не столь близки. Господи, думала Соломония, они же начнут пичкать меня таблетками, от которых я растолстею и окончательно отупею. Самой надо выбираться. Никто мне не поможет.

Она вышла из ванной и побрела обратно в комнату. НЛО прилежно крутился на прежнем месте.

— Который уже час? — спросила Соломония.

— Ночь на дворе, — любезно ответил НЛО.

— О Господи! Это сколько же мне еще до утра мучиться!

— Не надо мучиться, надо с нами общаться.

Соломония легла на кровать и накрылась с головой одеялом. Она вспомнила, как Соломой говорил в таких случаях: «Сгинь, сгинь, гадкий сон!»

— Поверьте наконец, что это не сон, — сказал НЛО. — У меня задание, и я не покину вас, пока оно не будет выполнено.

Соломония в бешенстве вскочила с кровати.

— Как это не сон! — закричала она. — Самый что ни на есть идиотский и поганый сон! Как это может быть, чтобы какой-то неопознанный хрен скакал по моей квартире и устраивал мне допросы? Где ваши документы?

— Вы прямо-таки меня утомили, — сказал НЛО. — Вы что, всерьез хотите, чтобы я вам паспорт показал?

Соломония в своей полосатой пижаме еле держалась на ногах от всей этой бредятины. Все у нее внутри дрожало и обрывалось. И она мечтала скорее снова залезть в постель, укрыться и забыться. Хотя она прекрасно понимала, что ничего такого хорошего с ней не будет, а вся эта липкая муть будет продолжаться еще необыкновенно долго и мучительно.

Она держала в руках жухло-зеленый паспорт, пахнущий клеем ее раннего детства времен правления Палача Уса. На картонной обложке переливался разными цветами блестящий игрушечный волчок. Она открыла документ ватными пальцами. Слева внизу была еще одна фотография волчка, на этот раз черно-белая. Сверху она прочла только одно, звучащее по-туковски, непонятное слово: «Дуль» № 0234/705894 cjnjr ltdznjq cntgtyb, потом опять по-туковски: «Сорок восьмая степень», по-наргемски: «skrypk — RST kul МГ 105-282».

Не могу стоять на ногах, подумала Соломония. До чего запах неприятный! Паспорт исчез. Тотчас же она вновь оказалась в постели. Ей даже показалось, что она и не вставала.

— Если желаете, мы вам покажем удостоверение экс-президента г-на Пятнышка или президента Скифа. Или наргемского профессора Айма.

Соломония сосредоточенно умащивалась в постели. Она старательно укрывалась с головой, высунув наружу только нос.

— Желаете?

— Не желаю,— глухо отозвалась Соломония.— Я желаю, чтобы вы исчезли!

— Это невозможно.

Зачем я с ним беседую, думала Соломония. Нужно молчать, нельзя поддаваться болезни. Я, конечно, болею. И самое ужасное — никто, никто не сможет мне помочь! А сама я все-таки эту чертовщину преодолею. Я смогла бросить курить, могу голодать неделями... Конечно, душевный недуг, он очень тяжкий. Но если есть цель, если есть смысл, если есть любовь к тем, кто рядом...

— Вы чрезвычайно интересно размышляете,— прервал ее НЛО.— Я нахожусь в плотном облаке сильнейших эмоций. Удивительно, что один-единственный объект может создавать такой мощный, прямо-таки материальный экран. Удивительно! Но неразумно.

Соломония молчала.

— Нам ничего не стоит получить от вас показания,— сказал НЛО,— но мы не хотим применять спецметоды. Качество информации будет неполноценным.

— Вот, вот,— усмехнулась Соломония,— у вас, у насильников, не все получается. Качество вам надо хорошее! Спецметоды! Не пугайте меня, я на всю жизнь напугана. И не собираюсь больше бояться! Я вам ничего не скажу! Вы и так применяете какую-то дрянь. Я же чувствую — лежу, как бревно, и сил у меня нет пальцем пошевелить.

— Нет, нет, мы тут ни при чем,— поспешно проговорил НЛО,— это ваши местные хвори: возраст, депрессия, комплексы и прочее. Мы же, наоборот, оберегаем вас от резких и опасных движений. В таком состоянии вы могли бы упасть в ванной, но мы этого не допустили.

— Будет врать! — сказала Соломония.— Я ведь вам все равно не верю. Я не падаю только потому, что сопротивляюсь изо всех своих слабых сил. А вы, окаянная нечистая сила, плод моего безумия. И вы тут же меня погубите, если я поддамся. Но я буду держаться до последней минуты! И я ничего вам не скажу. Я хоть и не знаю, чего вам надо, все равно показания давать не буду!

— Очень даже неумно с вашей стороны! — сказал НЛО.

Соломония вспомнила, что так говорил плотник-алкоголик из деревни Туково. И ей всегда было смешно, когда он так говорил.

— Ну, повеселей вам стало? — спросил НЛО.

— Мама, Соломойка, помогите! — всхлипывая, пробормотала Соломония.— Как же мне худо, о Господи!

Постреволюционная эпоха продолжала свое неумолимое шествие.

Соломония и Самик любили гулять среди вокзальных ларьков и восхищаться наглостью цен за яркий товар. Этим поздним летом, несмотря на запустение, нездоровая красота города заволакивала вечернюю уличную жизнь. Бессонные жирные голуби по-хозяйски расхаживали под бесчисленными ногами прохожих. Необъяснимое волнение разливалось по лицам людей. Выпученные человеческие глаза казались пустыми. Пустоглазые физиономии вдыхали одурманивающие испарения. Вонь от нечистот перемешивалась с ароматом кофе и запахом продаваемых тут же чебуреков, шашлыков, арбузов, а также немислимого количества выдыхаемого почти каждым ртом спиртного. От духоты, усталости и бесшабашности кружилась голова и возникали легкомысленные идеи. Становилось надрывно весело среди непроходящей тоски.

Соломония и Самик увидели, как из-за киосков возникли два потрепанных музыканта: один с трубой, другой с гармошкой. Тот, который с гармошкой, бросил себе под ноги бесформенную от ветхости шапку. И тут же они заиграли.

Публика как-то незаметно сама собой образовала вокруг них большое кольцо. Чувствовалось, что люди довольны появившейся возможностью прервать на время свое беспорядочное мельтешение. Всеобщее томление располагало к расслабленности и добродушию.

Музыканты играли замечательно. Их испитые рожи не соответствовали такой хорошей, душевной игре. Они исполняли исключительно ностальгические имперские мелодии, лирические отголоски нестрашной ныне тоталитарной симфонии.

В круг, шатаясь, вывалилась пара голодранцев. Мужчина и женщина были немолоды, оборваны и грязны. Женщина держала в руке сетку с тремя пустыми бутылками, неуклюжие подскоки обоих сразу же сломали печальное очарование площади. Пустоглазая публика как бы очнулась и вернулась в сегодняшний день. Исчезли томление и мечтательная завороченность. Вокруг снова простиралась мусорная действительность с уродливыми киосками и пьяным народом. До невозможности сильно воняло мочой. Пустые глаза обрели недобрую осмысленность. От веселья повеяло грозной опасностью. Голодранская пара плясала все ожесточеннее. Тетка громко звякала бутылками в такт своему топтанию. В круг вышли и начали плясать другие поддатые голодранцы. Мужик из первой парочки в маленькой шляпе, с трудом умещавшейся на его слипшихся кудрях, пытался прыгать вприсядку. Возбуждаясь толпа криками поддерживала его старания.

— Пошли отсюда! — сказал Самик. Ему стало не по себе от всеобщего веселья.

— Погоди немного. — Соломония, растроганная игрой музыкантов, бросила им в шапку трешку.

Вдруг голодранцы с бутылками перестали плясать. Неподвижно стоя один против другого, они мрачно разглядывали друг друга в упор. Женщина резким движением головы откинула назад грязные волосы. Через секунду в ее левой руке оказалась бутылка из авоськи, и она замахнулась ею на своего партнера. Площадь ахнула. Какой-то человек подскочил к ней зади, обхватил и потащил подальше от мужика. И они вместе упали навзничь. Задрыгали в воздухе теткинны ноги в дырявых чулках. Засверкало из-под юбки голубое трико допотопного фасона. Одна туфля со стоптанным каблуком отлетела в сторону.

Мужик в маленькой шляпе взревел, наклонил голову и двинулся к валявшимся на заплыванном асфальте людям. Все вокруг загалдели, заорали.

Что-то случилось с музыкантами. Они заиграли бездарно и фальшиво. Другие нетрезвые плясуны подскочили к мужику и оттащили его в сторону. Он что-то мычал нечленораздельное, но по лицу его уже разливалась недавняя блаженная пустота. Лежавшие на асфальте уже встали. Бутылки разбились. Руки женщины были в крови. Она с большим удивлением их рассматривала.

Народ медленно расходился. Музыкант с трубой подобрал с земли свою шапку. Который с гармошкой рассовал деньги по карманам, и через мгновение оба пропали среди киосков так же незаметно, как и появились.

Голодранцы снова оказались вместе. Мужик вытряхивал из авоськи осколки стекла. Тетка усиленно вытирала окровавленные руки о порванную юбку.

Голуби заворковали, люди засуетились и зашпешили в разных направлениях. Еще один типичный туковский праздник закончился малой кровью. От метро напротив доносился исполняемый духовым оркестром старый сверхдержавный гимн, такой родной, такой далекий...

Новотуковский крестный отец за все заплатил. Представив человека с волосатым лицом безнадежного фанатика, он торжественно произнес:

— Великий Тукуй!

У самого крестного отца желтая опухшая физиономия светилась глубочайшей гордостью. Оплаченные им художественные акции следовали одна за другой. На первом представлении приглашенные проходили по только что вымазанному зеленой краской мраморному полу. По команде «Сели!» все должны были немедленно садиться. Тех, кто не сажился, не допускали на банкет. В следующем зале всем зеленозадым раздавали продуктовые подарки. Недобросовестным зрителям, попытавшимся ранее сесть на газетку, пакет с едой не выдавали. Обделенные стремглав бросались обратно в крашенный зал, чтобы посидеть на полу, но... краска уже высохла!

Другая акция планировалась как тематическая и называлась «По следам репрессий». Она должна была состояться в пересохшем канале, оставшемся после великой стройки. Вокруг канала, едва присыпанные землей, валялись сплошь незахороненные останки строителей-рабов, и, поддав землю ногой, можно было выбросить в воздух несколько берцовых костей или даже хорошо сохранившиеся целные скелеты. В программу входил очистительный футбол черепами. Великий Тукуй таким способом выражал раскаяние свое собственное и всего туковского народа перед невинно убиенными. После нарочито кощунственного футбола, олицетворяющего греховность и душевную подлость, все должны были в течение получаса рвать на себе волосы и, ползая в грязи, громко стенать и выть. Специальные контролеры будут следить за теми, кто халтурит: волосы свои жалеет и недостаточно громко воет. Таких будут лишать гостинцев и билета на обратный путь. Заканчиваться акция будет всеобщим спаньем вповалку в огромном ослепительно белом шелковом шатре, расположенном посреди канала.

Мучнолицый крестный отец, блистая масляной головой револьверного цвета, сообщил по ТВ, что уже предварительно заплатил за предстоящую акцию восемнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тукчика, а заодно к празднику Дня независимости велел выдать каждому детдомовскому ребенку по две жвачки и одному значку с портретом Великого Тукуя.

Однако предпоследняя акция, по нынешним временам совсем безобидная, вызвала самый большой резонанс и некоторое осуждение. До такой степени публика продолжала шуметь, что даже ангажированные крестным отцом солидные добропорядочные искусствоведы наперебой уверяли, каким замечательным и неповторимым прекрасным зрелищем явилась данная акция. И что в древности этим занимались чуть ли не каждый день во благо физического и эстетического совершенства личности.

Крестный отец и Великий Тукуй решили предварить спектакль короткими выступлениями.

— Я, как туковский патриот, все делаю для страны,— сказал крестный отец,— я готов приумножать ее славу и величие. И ради нее пойду на любые жертвы. А уж тем более на денежные расходы!

Великий Тукуй вторил ему:

— Я настоящий тукофил. В своем произведении я хочу уничтожить это существо, символизирующее грязного, пьяного, лживого и ленивого мужика, которым была наша любимая родина. Это одновременно и мерзкая распутная баба! Преступный гермафродит — олицетворение самого темного и низменного, что за многие десятилетия пронизало наше общество. Всем нам необходимо покаяться, совершив облегчающее душу и тело жертвоприношение!

Публика поеживалась и покрывала от внутреннего холода и необыкновенного ожидания. Посетители стояли за закрытой дверью в выставочный зал галереи «Дева» и не знали пока, о чем идет речь. Но когда открыли двери, то оказалось, что огромный зал с мертвенно-фиолетовыми стенами пуст. И только присмотревшись, все увидели в самом дальнем правом углу небольшой, оголенный фанерой загончик.

Как только зрители со всех ног устремились к этому месту, неожиданно верхняя часть одной стены загончика рухнула на пол, оставив снизу лишь небольшой заградительный бордюры. Все увидели деревенского жителя Тукия Тукича Тукова, который с доброй улыбкой смотрел на людей. У него была бритая синеватая голова, отскобленное до прозрачности лицо и большие торчащие уши. Опрятная черная рубашка-косоворотка, черные брюки, заправленные в сапоги, прикрывались длинным желтоватым парусиновым фартуком. За спиной Тукия Тукича на дощатой стенке висело три красивых ножа: большой и широкий, узкий и длинный и тесачок поменьше с лезвием-пилкой.

У ног Тукия Тукича на соломе лежала жертва.

Это был крупный розовый поросенок по имени Тачок. Его умные глазки на милом лице глядели с любопытством, смешанным с испугом. Чистый розовый нос блестел и подрагивал от волнения. Около Тачка негромко жужжал НЛО. Он тихо говорил ему в ухо:

— Не бойтесь! Убийство — это их суть. Для них убивать живое — это самое главное. Не важно, человека или животное. Это одно и то же. Давно уже не было всемирной бойни. Они соскучились по кровавому публичному зрелищу. Конечно, существуют местные более или менее обильные кровопускания, показанные по ТВ. Но им хочется соучаствовать безнаказанно и без всякого риска. К тому же так приятно произносить слова об очищении, нравственности, раскаянии и любви к родине. Они сожалеют только о том, что на вашем месте нет человека. Я уже рассказывал вам об одном древнем скульпторе, приказавшем пытать раба. Он хотел наиболее правдиво изобразить страдания человека и создать величайшее произведение искусства. Он запытал человека до смерти, но из его ваяния получилась бездарная поделка, такая же, как эта преступная и убогая акция, на которую вы приглашены в качестве жертвы.

— Я все понимаю, что вы говорите,— всхлипывая, хрюкал Тачок,— но мне бесконечно страшно. Я всегда знал, что умру именно такой смертью, но так и не сумел подготовиться.

— Не бойтесь,— сказал НЛО.— Уже решено, мы забираем вас к себе! Кстати, ваш хозяин Туков здесь ни при чем. Вы для него обычная еда. Работа! Сам он уже много лет вообще не ест мяса из-за больного желудка. Только поэтому он еще жив, хотя и пьет. Тукова наняли в этот непристойный балаган за большие деньги. А вот патриоты-тукофилы — другое дело. Они убивают из любви к искусству...

Великий Тукуй повелительно кивнул добролицему Тукию Тукичу.

— Эх, милок, иди-ка ты сюда,— со вздохом проговорил Тукий Тукич.

Тачок пронзительно завизжал, пытаясь вырваться из больших холодных рук хозяина...

Полная дама ученого вида уверенно говорила в микрофон о том, как хорошо и полезно приносить в жертву животных. И что это повсеместно практиковалось в древности, и какой это всегда был потрясающий по красоте праздник.

НЛО и Тачок, зависнув над головами зрителей, внимательно наблюдали, как искусно и споро Тукий Тукич то одним, то другим ножом разделявал свинину.

— Нечего, нечего тут,— похохатывал Великий Тукуй, гордо разгуливая среди зрителей,— мясо небось любите кушать!

Тачку было невыразимо грустно. Его большого теплого тела больше не существовало. Он уже почти привык к приятному состоянию невесомости, в котором сейчас находился. Ему почему-то было жалко Тукия Тукича и посетителей. Он вспомнил, как хозяин выделял его среди остальных поросят и по утрам во время кормежки всегда чесал его за ухом.



Некоторые зрители наклоняли головы, закрывали глаза, отворачивались, морщились, болезненно кривили губы. Но вскоре все успешно справились со своей поколебленной совестью и встали в спокойную очередь. Каждый предъявлял пригласительный билет и получал целлофановый пакет с парной свиной.

НЛО сказал Тачку:

— Должен вам сообщить, что все эти господа — покойники.

— О чем это вы? — не понял Тачок.

— Я говорю о вот этих несчастных из очереди.

— Но почему? — ужаснулся Тачок.

— Потому что каждое животное переполнено ядами в момент убийства. Стрессовые ситуации столь чудовищны, что весь организм жертвы буквально пропитан фантастическим количеством токсинов. Правда, у полуголодных туковцев есть сильное противоядие. Они едят отравленную пищу с младенчества, поэтому обладают некоторым иммунитетом. Но продолжительность их жизни чрезвычайно мала. Мужчины в среднем живут не более шестидесяти лет, женщины — не намного дольше.

— Но я надеюсь, что они завтра не умрут? — взволнованно спросил Тачок.

— Завтра нет, но через восемь дней обязательно.

— Умоляю вас! — взмолился Тачок.— Пощадите!

— Не могу! Им ни в коем случае нельзя есть ваше мясо.

— Но почему же? — прошептал Тачок.

— Потому что вы были необычный поросенок. Ваш уровень интеллекта в сотни раз превышает умственное развитие большинства здесь присутствующих. Ваши сильнейшие переживания вызвали гигантскую токсикацию и умертвили вашу плоть еще до того, как Туков ее убил. Вы умерли от сердечного приступа. Мясо отравлено. Публика будет вкушать ядовитую падалу! Они делают вид, что не замечают, какой странный продукт сине-зеленого цвета у них в целлофановых пакетах.

— Надо их спасти! — взмолился Тачок.— Это бедные, голодные люди! Они не виноваты. Спасите их!

— Зачем же? — сказал НЛО.— Пусть этого извращенного человеческого фактора будет поменьше. Пусть знают, что за любованье убийством надо платить своей собственной никчемной жизнью.

— Спасите! Пощадите! — молил Тачок.— Я так не могу! Я не согласен! Если вы их погубите, я отказываюсь лететь в ваш мир. Прошу вас! Умоляю вас!

— Прекратите немедленно! — жестко произнес НЛО.— Что это вы себе позволяете? Мы оказали вам великую честь! У нас никто не отказывается.

Тачок молча всхлипывал, но все-таки подумал, что НЛО говорит неправду: кошка Последняя отказалась лететь, она сама ему об этом сказала.

— Она ни в счет,— уязвленно сказал НЛО,— мы ее оставляем как спец-агента. Она будет на нас работать!

Тачок замер и постарался больше ни о чем не думать. Но людей было невыразимо жаль. Он ничего не мог с собой поделать.

— Хорошо,— неожиданно смягчился НЛО.— Эти потребители публичных казней не подохнут. Но они будут долго и мучительно болеть. Их будет неделю выворачивать наизнанку. А потом еще десять дней непрерывный понос! После этого все сделаются вегетарианцами!

— Спасибо вам,— прошептал Тачок.

— За такое поведение,— не унимался НЛО,— вас бы следовало превратить обратно в большую глупую свинью и отдать на заклание в новой акции! Тачок продолжал благодарно кивать головой.

— Будете у нас разрабатывать теорию сострадания и жалости на кибернетическом уровне,— сказал НЛО.

Зрители постепенно разошлись, утаскивая с собой дармовую свинину. Крестный отец с Великим Тукуем направились к огромному черному лимузину.

ну, дежурившему около галереи. Из автомобиля выскочил предупредительный шофер и распахнул перед хозяином дверцу.

Тукий Тукич складывал пожитки. Он с грустью вспоминал своего любимого поросенка. «Пойду приму полкило ради такого дела!» — твердо решил Тукий Тукич.

У Соломонии наступило время монолога. Она потушила свет, чтобы легче было говорить. Ее глухой голос иногда прерывался, но она все-таки договорила до конца: «Прости, мой любимый, но я не сумела удержать и сохранить наши подвальные междусобойчики. Я сама в этом виновата. Нет сил, недостает энергии и энтузиазма. И тоска беспрерывно хватает за сердце. Но несколько лет мы все-таки продержались. Брум и Подвалыч починили «Виктора-Победителя». Гипсовая фигура без ноги и без руки оказалась слишком неустойчивой и хрупкой. Ты сам все время переживал, что она крепится всего на двух точках: на единственной ноге в сапоге и на костыле. После первой же транспортировки для выставки последняя нога «Победителя» сломалась. Совсем он, бедняга, обезножел...»

Соломония запнулась. Ей вдруг стало безумно себя жалко. Но она взяла себя в руки и продолжила: «Брум с Подвалычем долго сращивали ногу «Победителя» в подвале. Это была многочасовая серьезная операция. Более-менее починили, но если бы позднее я не отдала отлить его в медной гальванопластике, мы бы эту скульптуру потеряли. Я думаю, ты был бы доволен. Скульптор Сиз присутствовал при споре, можно ли отличить гальванический плинт от деревянного. Никто не отличил! И медный, тонированный черной краской сапог гляделся абсолютной кирзой до того момента, пока торжествующий Сиз не постучал по нему кулаком, и сапог тут же металлически отозвался».

НЛО внимательно слушал, тихонечко жужжа. Он мягко вращался, поблескивая на шкафу около бронзовой загогулины из «Женского начала».

Как только Подвалыч появился один без Брума, он тут же обругал своего бывшего коллегу:

— Какой же Брумка гад! Почему он меня сюда не привел, пока человек был жив?

— Действительно жаль,— согласилась Соломония.— Соломой был бы счастлив иметь такого помощника, как вы.

Регулярно собирались в подвале и сидели за круглым столом в маленькой комнате. Это было в первые два года после смерти Соломоя. Иногда собирались по два, а то и по три раза в неделю.

Подвалыч реставрировал металлические отливки, Толстонольдик по несколько раз красила их черной краской, а потом не менее тщательно протира-ла тряпками. Все рваные простыни ушли на тряпки. Старались все делать как при Соломoe. Ганя Шумер и Фаин Персик вместе с Соломонией что-то беспрерывно прибирали, переставляли, приводили в порядок и выносили невообразимое количество мусора. И отчего это в подвалах всегда накапливается столько грязи!

Все сидели, как и раньше, за тем же столом, беспрерывно пили чай, убийственно курили и сладострастно поносили туковскую действительность. С удовольствием констатировали, что в Туке ничего невозможно сделать.

Соломония в меру поддакивала, однако и возражала изредка:

— Все-таки это не совсем так. Кое-что можно сделать. Мы отстояли подвал. Хом создал музей.

— Да,— сказал Ганя,— отдельные люди могут кое-что сделать, но в общем...

— Но ведь вся страна состоит из отдельных людей!

— Здесь никогда не будет нормального государства! — сказал Фаин Персик.

— Не будет,— с готовностью поддержал Подвалыч,— коммуняки не дадут!

— Я вообще никому не верю,— сказала Толстонольдик,— все такие противные!

— Я думаю,— сказала Соломония,— коммунисты сейчас не представляют никакой опасности. Другое дело — фашисты.

— Вот именно,— согласился Ганя.— Они объединяются! Если фашисты под руководством Взора, Бручника, Стерляди и организация «Помазанник Б.» да еще коммунисты договорятся...

— Все равно у них ничего не выйдет,— сказала Соломония.— Не выйдет, потому что ушла эпоха...

Потом приехали Хом с Чернушечкой из музея.

Прибавилась еще пара курящих. И поплыл, поплыл сизый туман по всем подвальным закоулкам...

— Он так же красив, как Шарлю,— сказала про Подвалыча женщина-поэт.

Подвалыч не оценил поэтического сравнения:

— Она же поэт, вот и выпендривается!

Но что-то было правильное в таком художественном определении. Бывший хирург, ныне пенсионер Подвалыч, глазастый, лысоватый, седоватый, коротенький, с походочкой в отличие от Шарлю ножки внутрь, неуловимо напоминал великого артиста. Его пребывание в подвале неуклонно приближалось к своему концу. А как было славно недавно-то! Подойдешь к темной страшной лестнице, просунешь руку сквозь железную решетку наверху, нащупаешь звонок слева на стене дома, позвонишь...

Дверь открывается, и немислимо яркоглазый человек появляется внизу в темноте лестницы. Он шустро спешит вверх со словами:

— Я вас приветствую!

— Привет, Подвалыч!

— А кто-нибудь еще ожидается?

— Как всегда: Ганя, Фаин и Нольдик.

— Ба! Полный сбор!

— Хом с Чернушечкой тоже могут пожаловать.

— Ну, прямо бомонд!

В этот раз Подвалыч приводил в порядок разбитую керамическую тарелку пятьдесят седьмого года. Это был портрет семнадцатилетней Соломонии с косичками. Тарелку разбили во время капитального ремонта. И теперь Подвалыч колдовал над нею, пытаясь воскресить мертвые черепки. Получалось хорошо.

— Здорово получается,— похвалила Соломония.— Как новая!

— Следующее что будем делать?

— Сначала надо будет окантовать большой Соломоев портрет, который залили какой-то гадостью во время седьмого потопа. Если закрыть испорченное место сбоку, он хорошо будет смотреться.

— Вы имеете в виду фотографию?

— Да, именно ее. Это прекрасный портрет шестьдесят на сорок работы Фотия Первого. Все знают, что Фотий большой жмот. У него новой фотографии не допросишься.

— А потом?

— Вы что, не видите, Подвалыч, сколько работы вокруг? На годы!

— Ну, ну,— сказал Подвалыч.— Что-нибудь слышно про Брумов?

— Думаю, все хорошо. Они самые энергичные и подвижные из всей эмигрантской братии. Пробьются.

Вскоре Соломоев портрет висел слева от окна и как бы присутствовал при всем, что происходило в подвале. В одиночестве Соломония постоянно обращалась к нему, стараясь угадать, как бы Соломой оценил тот или иной ее поступок. Пусть это будет моя живая икона, решила Соломония. С нее Соломой будет мне отвечать.

Тогда еще все приходили. Неженатый Ганя упорно приучал себя к отсутствию семейных радостей. Фаин Персик, напротив, мечтал именно о женитьбе,

но исключительно на наргемской территории. Он уже был один раз неудачно женат на иностранке. А теперь снова вот-вот отбудет вслед за другой студенткой из Наргемии. Толстонольдик время от времени тщетно пыталась похудеть и, сбросив ценой больших усилий килограммов десять, после непродолжительного сопротивления набирала обратно одиннадцать. И главный работник Подвалыч начал хворать давлением, но ни за что не хотел добровольно лишать себя курева.

Расставаясь, Подвалыч всегда желал:

— Всех благ!

Так оно постепенно и сошло на нет, маленькое подвальное общество. Фотий Второй еще ходил в подвал и делал красивые фотографии, но снова лег в больницу, когда на его лающий кашель стали в испуге оглядываться на улице.

Теперь в подвале существовал неплохой запасник и удобный перевалочный пункт между выставками. Соломой смотрел на это все не слишком одобрительно со своего портрета. Он считал, что делается мало. Жизнь должна продолжаться не только в музее, но и здесь.

— Пойми! — умоляюще говорила Соломония, обращаясь к портрету. — Мне даже со всеми этими тяжелыми замками трудно управиться. Особенно зимой. После того, как сюда пытались влезть, мы поставили новую железную дверь. И теперь стало семь замков! А недавно сюда залетела глупая воробиха. Представляешь, что такое выгнать птицу из подвала! Ты знаешь это не хуже меня. Я тут отыскала какое-то печенье. Она съела печенье и попила воды. Потом я принесла ей овсянки и гречки, сменила воду. Мы с Хомом оставили свет в коридорчике, чтобы она отыскала пищу. Ты бы видел, как она открывала ротик, когда перелетала с одной лампочки на другую! Самик притащил из дому большой рыболовный сачок. Мы думали ее поймать. Но было уже поздно. Еда оказалась нетронутой. Птица исчезла. Она забилась куда-то и погибла...

— Ничего не погибла, — сказал НЛО, — она полетит с нами.

Соломония долго молчала, глядя на портрет. У нее сделалось совсем несчастное лицо.

— Скоро пойду к врачу, — сказала она задумчиво.

Соломой сказал с портрета:

— Не переживай. Все хорошо, все нормально. Если музей работает, значит все в порядке. Продолжай отливать керамику, которая в плохом состоянии. Тебе хватит этого занятия до конца жизни. Хом молодчина! И ты молодец! И Самик меня радует! Вы замечательное семейство! Я всеми вами очень доволен.

— Отливки стоят безумных денег! Не то что раньше, когда алкаши налево отливали.

— Но ведь и качество другое! Сколько сил я тратил на обработку! Советуйся с Ларком, он будет помогать.

— Он и так очень много помогает. Мы выпустили сборник твоих стихов с рисунками, МИФ опубликовали, кино почти привели в порядок...

— Я все это знаю. Я просто не нахожу слов, чтобы хвалить тебя еще больше.

— Как мне плохо без тебя! Как же мне плохо!

— Держись, старуха! Не плачь и не дрейфь!

— Ты меня любишь?

— Обожаю.

— Я тебя тоже.

У Соломонии немного улучшилось настроение. Соломой сказал ей именно то, что она хотела от него услышать.

Она прошлась по всему подвалу. Проверила, выключен ли чайник. Закрутила лудло «Столица», задвижку, предохраняющую канализацию от потоков. Снова отметила Подвалыча добрым словом. Он соорудил специальное устройство из железной палки с рукояткой, чтобы не корячиться на четвереньках у края ямы, где это лудло было упрятано. Она постепенно выключила свет во всех комнатах. Еще раз убедилась с сожалением, что птицы нигде нет, и с тяжелым вздохом приступила к запираению замков.

Наверху преобладал мутный свет между днем и ночью. На тротуаре возникло еще два некрасивых киоска, торгующих за нереальные деньги иностранными спиртными напитками. Соломония все продолжала и продолжала свой бесконечный диалог с Соломеем. Губы ее шевелились, слышались вскрикивания. «Однако хватит разговаривать самой с собой»,— приказала себе Соломония. Ей стоило большого труда замолчать.

Кончились, кончились подвальные посиделки!

Толстонольдик иногда по телефону делает вид, что рвется прийти поработать. Затем снова исчезает на долгие месяцы. И Подвалыч вдруг позвонил. Читает Соломеев МИФ.

— Ну он вас там и в хвост, и в гриву! Читайте с удовольствием!

— Приятно вас слышать, Подвалыч. А замки-то ваши устояли во время взлома! Грабители вынуждены были перепиливать прутки на железной калитке. Долго и мучительно трудились. Но замки устояли!

Подвалыч был доволен.

— Ну, ну! Значит, вниз прыгнули ворюги. А внизу что?

— А внизу у первой двери замок вышибли, а со второй не успели. Видать, их кто-то спугнул. Давайте встретимся в понедельник, я вам все покажу и расскажу. И увидите новую роскошную железную дверь. Ганя придет и Нольдик. А Фаин уехал.

— Давайте,— после небольшой паузы согласился Подвалыч.— Я тут хвораю, давление замучило.

— Бросайте курить!

— Вы никогда от меня с этим не отстанете?

— Никогда!

— Всех благ! — сказал Подвалыч. Ему надоело разговаривать о том, что курение вредит вашему здоровью.

Наконец милая шиза Слоник пошила первую, с головой и туловищем. Она пришла не только со своим обалделым от любви лицом, но и с грузом, перекинутым через плечо.

На дворе стояла зима, а от Слоника исходил одуряюще-запретный запах несвоевременной весны. Соломой улыбался и суетился. Слоник сказала гортанно, что чуть не упала на эскалаторе из-за своей ноши.

— Что ты говоришь, беденькая! — горячо посочувствовал Соломой. А сам пожирал глазами длинный бумажный мешок на ее теле.

— Мы же тебе сказали, чтобы ты такси взяла,— сказала Соломония.

— Ждать не хотелось,— сказала Слоник, влюбленно глядя не на Соломою, а куда-то поверх его головы.

Но Соломой ничего такого не видел. Он благоговейно снял драгоценный пакет с ее плеча и осторожно понес в комнату. Вся его фигура выражала нетерпение и радостное любопытство.

Он вытащил ее из мешка: длинную, белую, одновременно упругую и мягкую! Она оказалась выше его ростом. Блестящие волосы из шелковистой бечевы рассыпались по ее плечам. Он приподнял ее и прижал к себе. Она тут же уронила голову ему на грудь. Он пошел с ней в коридор к зеркалу. Она засверкала нестерпимой белоснежностью на фоне его черного тренировочного костюма. Все было на месте: острые грудочки, пальчики, лобок и плоский кружочек там, где лицо.

Соломой никак не мог на нее налюбоваться. Он слегка подбросил ее вверх, но тут же поймал и со счастливым смехом поцеловал в белый животик. Потом он положил ее на кровать, скрестил ножки, расставил ручки. Волосики на ее голове разлетелись в разные стороны. И снова взял ее на руки.

Соломония и Слоник переглядывались и хихикали, наблюдая за его играми.

Соломой немного притомился. Он усадил свое создание в черное, лакированное, хотя и несколько облупленное кресло-качалку, подаренное одним

ухавшим из страны иностранным корреспондентом. Затем принес из другой комнаты подушку в красной клетчатой наволочке. Теперь он устроил ее полулежа. Она сидела, широко раскинув ноги, разбросав руки на подлокотники и откинув голову на спинку кресла.

— Это будет моя блудная дочь,— сказал Соломой. Он сел рядом с ней на табуретку и застыл, положив обе руки себе на колени.

Но через минуту он изменил позу. Он наклонил голову в бок так же, как она, и залихватски отставил в сторону одну ногу.

Ганя Шумер позднее именно так все и заснял. Соломой старательно ему позировал.

Через некоторое время Слоник принесла еще двух близняшек одну за другой. Соломой сказал, чтобы Соломония взяла одну из них на руки. Сам он встал рядом со второй. У обеих девушек, у каждой, запрокинулась головка с целомудренной косичкой.

В квартире стало тесно. Тряпочные голые девушки занимали много места. Блудная дочь восседала в кресле, вытянув длинные ноги. Скоро эти ноги стали грязными из-за того, что хозяева и гости часто на них наступали. Обоих близнят Соломой усадил на диван и никому, кроме себя, не позволял сидеть с ними рядом, а тем более до них дотрагиваться. С их появлением Соломой несколько отвлёкся от своей любви к Слонику. Теперь он изо всех сил побуждал ее на пошив деда, про которого написал в стихотворении: «Мы сделаем вместо висящего деда мой автопортрет».

Соломой понимал, что, если он не уделит Слонику особого повышенного внимания, она не будет испытывать удовлетворения от работы. Она быстро соскучится и перестанет вовсе. И он старался: строил глазки, кокетничал, обхаживал. Но очень внимательно следил, чтобы она не забывала о главном. Он нарисовал на клетчатой чертежной бумаге длинного, донельзя худого бородатого голого дедушку. Слоник его вырезала, свернула в трубочку и убрала к себе в сумку. После того, как она вернула выкройку, Соломой сразу же протянул под потолком две бельевых веревки на расстоянии примерно тридцати сантиметров одну от другой. Бумажный старик с длинным penisом свисал распластанный под потолком на обеих веревках и пристально разглядывал трех своих возлюбленных дочерей. Он ждал, пока Слоник воплотит его в том же простынно-ватном материале, что и девиц.

Соломой по телефону постоянно торопил Слоника. Модуляции его голоса делались все теплее и настойчивее. Слоник обещала, хотя чувствовала некоторый с его стороны подвох.

— Вот помру,— поделился Соломой с Соломонией,— и не увижу своей последней мягкой скульптуры.

— Ну уж ты держись,— сказала Соломония,— без тебя ей неинтересно будет работать.

— Думаю, она все-таки сделает и без меня.

— Может быть,— согласилась Соломония, чтобы его не огорчать. Про себя она точно знала, что без Соломоя Слоник вообще здесь не появится.

Соломой попросил, чтобы Хом привез из деревни маленькую, крашенную голубым садовую скамейку.

Композиция была почти закончена: блудная дочь непристойно развалилась в кресле, невинные близняшки сидели на скамейке, переплетаясь ручками-ножками и нежно склонив друг к другу головки. Бесплотный дед висел под потолком. Соломой полулежал на своей койке в углу и с довольным успокоенным лицом взирал на всю эту картину, иногда рисуя свои бесчисленные рисунки пером на тему «Мужчина и женщина». Или же писал стихи: «Я старик, обезумевший от любви к своим дочерям, готов на все ради кровосмесительной страсти».

Потом Соломой умер.

Девушки стремительно покрывались пылью. Им все больше отдавливали ноги. Дед под потолком корчился и топорщился.

Соломония несколько раз с трудом вылавливала Слоника по телефону. И однажды ей даже показалось, что она убедила ее закончить начатое дело. Слоник очень правдиво пообещала.

— Я ведь понимаю,— сказала Соломония,— кроме всего прочего, сейчас это и стоит во много раз дороже, я готова...

— Понимаете, дело ведь не в деньгах,— хрипло проговорила Слоник в телефонную трубку.

Соломония хорошо понимала, что дело не в деньгах. Одно дело — с гением общаться, другое — с обыкновенной вдовой гения. После того как Слоник окончательно пропала, Соломония сняла деда с веревки, скрутила в трубочку и убрала на антресоль. Всех трех девушек по одной сложила в пластиковые одежные мешки и повесила в стенной шкаф рядом с рваненькой Соломеевой дубленкой и не менее древней рыжей лисьей шапкой. А заляпанные гипсом штаны, ботинки и куртки, в которых Соломой снимался в своем кино, оставила в подвале.

Вспомнила Соломония, как Гелиза Айм высказала верную иностранную мысль на туковском языке:

— Плохо, когда у президента есть харизма!

Это очень правильно, подумала Соломония. Бессмысленно любить высшее должностное лицо. Любить надо свою семью и своих друзей, а главный чиновник пускай делает свое дело. Надо только, выбирая, насколько возможно, проследить, чтобы он был не вор, не псих и не очень большой дурак. Но ведь Скиф у нас в Туке первый, умиленно подумала Соломония, и мы сами его избрали. Во всяком случае, с чересчур хитрым и лицемерным Пятнышком я его не сравню... Я потому и обижаюсь на Скифа, что люблю. Пока еще люблю и ничего не могу с этим поделать. И он обязан поддерживать свою легенду среди миллионов своих избирателей: открытый, храбрый, простодушный, красивый, ну и т. д.

— Не нужно обольщаться, Соломония,— сказал Хом.— Сначала ты Пятнышко хвалила, потом Скифа полюбила!

— Ты тоже сейчас к Пятнышку хорошо относишься.

— Сейчас лучше. А раньше он был для меня обычным начальством. Теперь Скиф начальство. Я и думаю, что начальство еще придумает: будет у них снова райисполком или префектура останется? Удастся ли в связи с этим сохранить музей и подвал? Меня только это волнует.

— Все-таки все они чем-то очень противные,— сказала Толстонольдик.

— Ну откуда же они все родом, посудите сами! — сказал Подвалыч.— Все оттуда же, из коммуны! Ну что еще можно от них ждать?

— Сейчас еще это их очередное всетуковское собрание! Каждый день будут эти монстры заседать! — сказал Ганя Шумер.

— Несчастное сверхгосударство! — воскликнула Соломония.— Я скоро прекращу все это смотреть и слушать. Невозможно телевизор включить!

— Надо было в свое время уезжать,— констатировал Подвалыч.

— Ну вот еще, Подвалыч! — не согласилась Соломония.— Нельзя же всем нам сидеть у западных на шее и прихлебывать. И все равно быть вторым сортом. Мы все-таки здесь кое-что делаем, не только болтаем.

— Я еще больше убедился, когда туда съездил, что жить надо здесь,— сказал Хом.

— И делать свое дело,— подытожила Чернушечка.

— Сейчас, конечно, уже поздно уезжать,— сказал Подвалыч,— все надо делать вовремя.

Кажется, в этот понедельник собрались все вместе в последний раз.

— Давайте встречаться,— заклинала Соломония,— давайте общаться, давайте не выпадать из окон, как сюрреалистические старухи!

— Давайте, давайте,— быстро согласилась Толстонольдик.

Ганя и Подвалыч промолчали. Чернушечка шарила по пустому столу голодным взглядом. Они с Хомом приехали из музея поздно: уличные пирожки с

рисом были уже съедены. Тут все курящие разом закурили, а Толстонольдик и Соломония одновременно закашляли.

Потом Подвалыч сказал, что в следующий понедельник будет заниматься гаражом. Ганя предупредил, что поедет в издательство за зарплатой. Толстонольдик собралась в командировку. А Хом с Чернушечкой, пользуясь выходным в музее, поедут в деревню, чтобы закрыть наружные отдушины. Пришла пора для наступления трескучих морозов, которых не было уже много лет, но в этом году ожидалось.

Соломой уже давно не пел. А тут вдруг запел. Пение-бормотание было отличительным признаком его внутреннего спокойствия. Он сидел на диване и рисовал. Вокруг расположилась вся его ватно-простынная компания: дед покойно висел под потолком, девушки тихо сидели на своих местах. Соломой рисовал обнаженных людей в любовных порывах, но при этом напевал почему-то «Интернационал». В его голове перемешалось много музыкальных обрывков из прошлого, когда тоталитарная симфония господствовала повсеместно и абсолютно. И он никак не мог полностью избавиться от этого наваждения. Соломония из кухни чутко прислушивалась к этому обнадеживающему завыванию. Ей показалось, что Бог снова дал им отсрочку...

Когда она вошла в комнату, то удивилась, насколько хорошо Соломой выглядел. Но вдруг у него сделалось такое лицо, как будто он прислушивается к чему-то внутри себя.

— Боюсь, что сегодня ночью меня прихватит,— сказал он.

И прихватило...

Господи! Пора произнести монолог о том, как все хорошо! Все хорошо! Все очень хорошо! Прекрасно! Изумительно! Великолепно! Ноги ходят! Глаза видят! В квартире тепло! Еды хватает! Канализация работает! Обувка, одежда есть! Птицы за окном летают! Стиральная машина, хоть и подтекает, но стирает! В метро сбой, но все-таки поезда ходят! Горячую воду отключают не больше, чем раньше! Все так хорошо, так хорошо! Да, да, да! Убивают не массово! А массово там, в зарубежье, в ближнем и дальнем! Музей работает! Памятник стоит! Хом пообещал подумать, чтобы бросить курить! Самик учится, старается! Ломаная керамика постепенно отливается в бронзу. Кошка Последняя жива, четыре раза в году беременна! У писателя-фашиста Бручника жену ограбили на улице среди бела дня, но он доволен, потому что любит уголовников! Все хорошо! Нацменьшинство тукреи как уезжали в Тукраиль, так и уезжают, никто не держит! Придурки и дармоеды в телевизоре, народные избранники наконец притомились и прекратили свой непристойный спектакль; избрали дяденьку Морда и угомонились до следующего стриптиза! Как хорошо! До чего же хорошо! НЛО уже три дня не посещает...

— Ну это вы напрасно,— сказал НЛО,— я всегда с вами.

— Все равно все хорошо! — упрямо прошептала Соломония.

В каменном относительно новом двухэтажном строении, пристроенном к огромному жилому дому, сидели шесть женщин и один отставной полковник — начальник.

Все семеро находились на государственной службе добровольного содействия армии, авиации и флоту. Для такой деятельности семеро служащих использовали по одной комнате на первом и втором этажах, а также половину нижнего узкого зала. В зале имелось то, что непременно должно было быть в таком учреждении: стол с красной скатертью, белый гипсовый бюст вождя и три ряда стульев передом к бюсту.

Но дальше все оказалось нелепо и странно для казенного места. Нештукатуренные кирпичные стены, многочисленные излишества в виде многоступенчатых бетонных лестниц и даже три непонятные внутренние стенные арки, отделяющие узкий зал от коридора. По стенам висели портреты героев войны и труда, а также красочные плакаты с изображениями парашютов, мотоциклов,



всевозможных пулеметов, револьверов, автоматов и прочего оружия с указаниями, надписями, правилами и полезными советами, как со всем этим смертоносным добром обращаться.

Узкий зал походил на деревянный чижик для детской дворовой игры — коротенький брусок, заточенный, как карандаш, с обеих сторон. Но с острого конца справа на остальное пространство можно было попасть только по трем длинным и пологим ступенькам.

Вся команда появилась здесь из-за Ногая. Хотя Слоник совсем уже растворилась в столичном пространстве, театр все же незримо присутствовал в пост-соломоевой действительности. Ногай говорил, что он Соломеев ученик и обязан продолжать его дело в театральной форме. Все не очень вникали, зная особенности характера Ногая. Но пришлось вникнуть, потому что позвонила Плоскостоп, ответственная работница из скульптурной секции. Она жила в том же кооперативном доме художников, что и Соломон, прямо над ними, и любила где-то ранним утречком, от пяти до восьми, походить как раз над тем местом, где стояла Соломеева кровать, на которой он мучительно и прерывисто спал. Когда она над ним ходила, Соломой мгновенно пробуждался и начинал с неестественным интересом изучать решительную походку Плоскостопа во всех нюансах и подробностях. Его восприимчивое сердце согласно стучало в такт ее шагам. Однажды Соломой даже предложил купить ей в подарок ковер. Но она отказалась. Она сказала, что такие красивые полы, как у нее, жалко закрывать.

Плоскостоп позвонила по заданию Стюка. Она потребовала у Соломонии освободить мастерскую от скарба покойника, поскольку другие скульпторы стоят в очереди на помещения, которых, как всегда, не хватает.

Все это Соломой говорил, предупреждал... И Соломония, проворачивая такой ход событий в своей седой голове, думала, что ко всему готова. Однако нет! Она беседовала с Плоскостопом истерически, почти рыдая, в то же время агрессивно и бессвязно выкрикивала:

— Я ничего не собираюсь вам освободить! Мой муж был инвалидом войны! Куда я дену тысячи его скульптур? Тяжести невероятные! Вы почему не учитываете новое мышление, как вам велит ваше руководство?

— Мы все учитываем! Какое такое мышление?

— А такое, что хватит издеваться над художниками при жизни и после смерти!

— Мы относимся с пониманием, мы даем вам три сотни на ликвидацию...

— Вы что, совсем без понятия? Могу дать вам тысячу, чтобы вы мне больше не звонили!

— На что вы собираетесь жить?

— На трудовые сбережения! А вы небось думали на ваши три сотни!

— Мы создадим комиссию по наследству.

— Давайте создавайте! У вас чуть что — сразу комиссия!

Борьба шла и шла, то остро, то вяло, а Ногай продолжал уговаривать Соломонию изо всех сил:

— Мы это содействие армии, авиации и флоту из здания попрем! — Он с хрустом сжимал кулак, как бы сдавив содействием слабую шейку. — На первом этаже будет зрительный зал, на втором комнаты для артистов и душевые. А в средней комнатке сделаем Соломеев музей!

Соломония отнеслась к замечательной идее недоверчиво.

— Но кто же тебе все это даст? Почему ты уверен, что так легко будет выделить содействие армии, авиации и флоту?

— Понимаешь, район отдаленный, рабочий. Там новые власти. Энтузиасты. У них прогрессивное мышление по Пятньшку. Стараются. А которые сидят в этом здании, ничего не делают, только деньги получают. Весь дом, кроме комнат, где они сидят, загажен. Даже строительный мусор не убран с восьмидесятого года.

— А почему эта пристройка такая странная? С архитектурными излишествами? Арки, лестницы, углы — для чего все это предназначалось?

— Не знаю. По-моему, сначала хотели сделать ресторан, потом театральные кассы. Ну а потом, как всегда у нас, решили содействовать армии.

Соломония никак не могла поверить. Весь ее жизненный опыт проживания в сверхдержаве указывал на другое: Ногаю дай Бог сохранить собственную подвальную нору, а содействие армии, авиации и флоту всегда будет процветать в этом государстве.

Ногай продолжал горячо ее убеждать:

— Эти — с новым мышлением комсомольцы и коммунисты — говорят, чтобы я взял здание и делал здесь культурный центр. Вот мы и сделаем: у меня театр, у вас музей. Работать будем вместе. Хом станет директором театра, я буду главным режиссером. Твои ребята — Ганя, Фаин — будут сотрудниками, Толстонольдик — художником!

— А кто же платить будет? Государство? А может, Ушкин будет нам платить? — пошутила Соломония.

Ногай не понял шутки.

— Нет, у государства на это денег нет, — сказал он. — Они надеются на нашу самокупаемость. Откроем счет в банке. Будем давать спектакли. Гастроли...

— Это сколько же надо спектаклей дать? Ты сейчас делаешь только второй. Ты за два года сделал один спектакль на пятьдесят минут. Ты любишь репетировать годами, а чтобы зарабатывать...

— Ну и что? — Ногай начинал сердиться. — Сейчас мы будем играть на площадке Театра имени Ушкина! А здесь у нас будет база, центр искусств! Тут есть такая Арта. Сейчас она завотделом культуры, и все у нас будет отлично. Она ко мне идеально относится.

Соломония продолжала сомневаться:

— Кто же сюда поедет? Далеко от центра. Окрестность беспредельно убога. Одно благо — метро близко. В помещении дико холодно. Здание, конечно, интересное. Но следы от протечек! Ясно, что дом течет, как решето. Необходим ремонт. Очень дорогостоящий! А кто же будет его делать?

— Мы переходим на хозрасчет и начинаем зарабатывать, — убеждал Ногай. — У нас будет устав, печать, счет в банке.

— Ладно, устав, а деньги откуда? — заладила Соломония.

— Достанем!

Соломония все-таки никак не могла понять. Ногай вел существование в буквальном смысле нищенское. Они с Соломоном всегда давали ему какие-то деньги, чтобы Ногай не умер с голоду. Считалось, что он одалживает и когда-нибудь отдаст. Отдать Ногай ничего не мог. У него никогда ничего не было. После многочисленных женитьб, фиктивных и настоящих, он сохранил только одну-единственную ценность — столичную прописку. Но жил совсем не там, где был прописан, а в своем подвальчике, где репетировал. Этот подвал дали ему на время бесплатно для культурной работы с населением. Вокруг сновали молодые приезжие артисты. Все были бездомны, никто из них не имел прописки, жили где придется, голодали. Обращался с ними Ногай ужасно. И еще жаловался, что они его уничтожают.

Одна актриса была глухонемая.

Артисты, однако, делали колоссальные успехи. Но чем лучше они работали, тем свирепее становился Ногай. От злости у него прямо на сцене случались приступы холецистита. Его уже два раза увозили в больницу, но он немного оклемывался и всегда сбежал из больницы перед самой операцией.

У Соломонии не было никаких иллюзий по поводу Ногай. Ничем, кроме яркого и бестолкового таланта, он не обладал. В голове у него вместо ума помещалась только не воплощаемая в жизнь фантазия. Но Хом и Ногай... В этом сочетании... А если попробовать... Хом прозябает в своей конторе, редактируя идеотические официальные тексты. Совершенно доходит от скуки, убегаает с работы. Из-за этого неприятности... Правда, он, мягко говоря, прохладно относится к Ногаю... Театр его не интересуется. Когда Ногай репетировал в школе,

где смолоду работала Соломония, Ногай, впервые увидев Хома, сразу же ей сказал:

— Я бы с таким мальчиком не дружил!

Хом никогда не произносил подобных слов, но и в школьный театр к Ногаю не пошел.

Но сейчас, через много лет, когда Соломония изложила Хому Ногаев план, он спросил:

— Ты уверена, что он порядочный человек?

— Уверена...— неуверенно сказала Соломония.— Вообще-то к нему неприменимы подобные рамки, он человек неординарный...

Главное сейчас было не это, надо было Соломоево искусство спасти.

Хом согласился. Уж очень ему обрыдло отсиживание в научно-общественном учреждении.

Гая, Фаин и Толстонольдик тоже постоянно ругали свою службу. Все хотели уходить, но уходить было некуда. Ногай темпераментно уговаривал всех создавать культурный центр с театром и музеем. Соломонию, правда, смущала щедрость Ногай в виде одной небольшой комнатки, которую он выделял на втором этаже под Соломоев музей. Но, учитывая возможность проигрыша в битве за подвал, и это убежище для небольшой части скульптур, хотя бы временное, могло пригодиться. Опять же была мечта на какой-то срок сохранить свою команду. Но все-таки страшновато становилось вот так вот взять и с ходу лишиться гарантированного на постылой службе куска хлеба. Поэтому договорились, что первое время все будут участвовать, не уходя с работы.

— Пока зарплаты нет, они никак не могут уйти со службы,— сказала Соломония Ногаю.— Ты же не можешь им платить!

Ногай, конечно, хотел бы полной и всеобщей отдачи новому делу, но согласился.

Один Хом рискнул и уволился. Он решился на это после знакомства со своей будущей начальницей Артой. Коммунистка-идеалистка Арта, соблазненная новым мышлением, обнадежила Хома больше, чем сумрачный Ногай, начавший недавно курить трубку. От этого в его беспросветно-угольных глазах появилось подобие усталой мудрости.

В Соломоевом подвале стали в большом количестве появляться новые люди. Все много говорили, пили дешевые, застойных времен, чай, кофе и ели кофейные булочки. Ногай солидно попыхивал трубкой.

Ногаевы люди раздражали и пугали Соломонию. Ей казалось, что эти непосвященные существа не имеют права здесь находиться со своими непонятными словами и равнодушными взглядами. Это был священный Соломоев мир, который они нарушали своим грубым и чуждым присутствием. Ногай иногда увесисто изрекал:

— Необходимо разработать Устав!

Присутствующие вторили:

— Да, да, и надо назначить завпоста!

— Не упустить бы площадку в Театре имени Ушкина!

— Главное — это Устав!— твердил Ногай. Он обратился к одному из своих актеров:— Ты будешь вести протокол заседания!

Соломония вздрагивала от этих слов. Она вспоминала, что в свое время Соломою исключили из КПВТ, кроме прочих причин, еще и за нарушение Устава, хотя Соломой так никогда и не узнал точную формулировку, по которой его оттуда изгнали.

Роль администратора получалась у Ногай непрофессионально. Испепеляющий взгляд и курение трубки ничего не добавляли. А вот клоуна он играл талантливо!

Подвалыч, работающий в своем закутке во время одного из заседаний, сказал, когда все разошлись:

— Не люблю я этот выпендрей!

— Вы о чем, Подвалыч?

— А вот этот режиссер с трубкой. Я бы с ним не связывался.

К счастью, через некоторое время заседающие для удобства перебрались в Ногаев подвал, и Соломония повеселела. Собrania с Уставом и Протоколом на другой территории были вполне выносимы.

В это время Хом перевозил из каменного строения учреждение, содействующее армии, авиации и флоту. Малоподвижный тяжелый начальник был уверен, что от идеи переезда в новое хорошее место, что ему было обещано и с чем он в принципе довольно легко согласился, до воплощения в жизнь пройдут годы. Но вежливый Хом, стремительно появившийся с грузовиком и двумя грузчиками, настолько его изумил, что он машинально взмахнул рукой, и все шесть женщин-подчиненных встали как по команде. Они мгновенно вытащили из шкафов пухлые папки и строем зашагали вниз по каменной лестнице вслед за полковником. Грузчики осторожно спускали белый лысый бюст.

Соломония подъехала в разгар переезда. Хом собирался за два раза перевезти весь персонал на собственной машине.

Она шепнула ему просительно:

— А можно подставку из-под вождя оставить? У нас туго с подставками.

— Попробую, — пообещал Хом и тихим голосом стал о чем-то переговариваться с полковником.

Полковник пребывал в задумчивости. Он не возражал оставить подставку, если в новом месте будет другая, чтобы бюст не валялся на полу.

— Если там ничего не найдется, отдадим вашу, — пообещал Хом. — Привезу лично!

Освобожденное от учреждения содействием помещение равно поразило как своим великолепием, так и запустением. Здание обильно потекло после первого же сильного дождика. Узкий зал изобиловал проплешинами из выбитого паркета. На одном этаже туалет работал плохо, на втором вообще не работал. И повсюду царил противоестественная грязь. Крыша и балконы были завалены разнообразной мерзостью: деревянной, металлической, стеклянной, а также гнилостными отходами, выкидываемыми гражданами с верхних этажей жилого дома, при котором находилась пристройка. Свет то горел, то вырубался в самое неподходящее время. Из трубчатых лампочек дневного освещения едва осталась треть. И ветер встать гулял по всему каменному строению, перегоняя с места на место бумаги с устаревшими приказами и указами. Учреждение по добровольному содействию армии, авиации и флоту много лет работало в условиях внутреннего военного положения. В это время снаружи существовала вполне мирная и даже застойная жизнь. И ничего — выдержали! Значит, не зря платили им зарплату. И статуя у них была, и плакаты, и зрительный зал из трех рядов. А также вымпелы и знамена. Работники с большими трудностями готовили себе еду на часто выключающейся электроплитке и приносили из дома чай в термосах.

Ногай попросил Хома перевезти театральное имущество из своего подвальчика в новое здание. Арта предупредила Хома о том, что надо быть экономным. Он уже второй раз просит грузовик! Но дала. И вот уже половина узкого зала была занята театральным реквизитом. В маленьком Ногаевом подвальчике оказалось большое количество всякого добра, от огромного барабана до порожних картонных коробок и пустых заграничных банок из-под пива. Все было нужно!

Наступило жаркое лето. Ногай решил съездить отдохнуть за город на дачу к другу. Совсем не старый еще его друг, хозяин дачи, умирал от рака. Он доживал на даче свою жизнь.

Когда Ногай приехал, друг выглядел как совершенная тень самого себя. Он совсем ничего не ел, крайне мало пил, но улыбался. Он очень обрадовался приезду Ногая. У друга Ногая была собственная теория лечения от рака. Наверное, это была неплохая теория; — следуя ей, он все жил и жил. У Ногая тоже имелась масса различных идей, жизненных и театральных, но почти совсем не было еды, а без еды он никак не мог обойтись. Его очередная жена-актриса позвонила Соломонии и рассказала, что Ногай много думает, много пишет на-

учного материала по своей собственной новой театральной системе, но ему совсем нечего есть. И денег нет.

Хом привез на дачу рюкзак с продуктами. Ногай с достоинством поблагодарил, похвалил Хома как толкового директора и спросил, нельзя ли будет Соломoeвы скульптуры ввести в его будущий спектакль, хотя пока он еще не знает, какой это будет спектакль.

— Нет, — твердо ответил Хом.

Ему не хотелось огорчать Ногаю, но рисковать Соломoeвым искусством не хотелось еще больше.

— Ну ладно, там посмотрим, — сказал Ногай, тоже не желая нарушать отрицательными эмоциями взаимную гармонию и прекрасную дачную атмосферу. И друг его тоже сердечно улыбался, глядя запавшими до невозможной глубины глазами из черепообразного лица.

Ранней осенью Хом снова поехал на дачу. На этот раз чтобы перевезти Ногаю, его жену и друга-хозяина в город. Но друг, счастливо улыбаясь, поблагодарил и сказал, что собирается оставаться до холодов. Его подруга уходит в отпуск и скоро сюда прибудет.

— А подруга-то его знаешь кто? — сказал Хом.

— Откуда же мне знать? — сказала Соломония.

— Подруга у него — Слоник!

— Та самая? — удивилась Соломония.

— Та самая! — подтвердил Хом.

— Хорошо, — помолчав, сказала Соломония. — Хорошо, что она с ним дружит, скрашивает ему... Соломою она тоже скрашивала... Жаль, что мы так и не осилили «Висящего деда».

Они вдвоем все шли и шли куда-то. Как странники. Одни странствия происходили вокруг городской квартиры: дорога в подвал — дорога из подвала. Другие совершались за городом, неподалеку от деревенской избы.

Они любили посещать ближнее сельское кладбище и читать надгробные посвящения на каменных плитах.

На кладбище люди норовили ухватить побольше земли под могилы для своих умерших. Висела проржавевшая табличка, указывающая, что каждому покойнику полагается два метра на полтора. Но некоторые родственники игнорировали такое правило и захватывали обширные квадратные метры. Многие могилки зарастали бурьяном. Видать, тот, кто занимал избыточное пространство, либо сам помер, либо уже не справлялся с присмотром. Люди окружали завоеванные территории железными решетками, и получалась маленькая дачка. Самая частая надпись на полированных плитах совпадала с первой строкой любимой населением песни: «Опустела без тебя земля...» Популярность и трогательность массовой культуры застойного времени были очевидными. Народ любил ясное чувствительное слово.

И ужасала кладбищенская статистика — большинство покойников были мужчины от сорока до пятидесяти...

Новая музыка продолжала звучать в новой жизни. Соломония жаждала послушать и посмотреть всю Соломой-мистерию, а не только показанные в музее короткие отрывки в концертном исполнении. Эти фрагменты, сыгранные ансамблем ударных инструментов под руководством Пекаря, сильно ее потрясли. Она с нетерпением ждала, пока композитор Башкат закончит работу.

И наконец наступил этот декабрьский день.

Тукрейский камерный музыкальный театр начинался не с вешалки, а с бардака. Первый этаж украшался чудом сохранившимися из героического прошлого старорежимными стенами с портретами тукрейских героев. Но пол не мылся и не заматался целую вечность. И страшно было подойти к туалету! Революционное пренебрежение к достоинству человека оскорбляло и портило настроение. Ни одна лампочка не освещала черную лестницу, где позволялось курить зрителям. В углу для окурков валялась едва различимая во тьме короб-

ка из-под обуви. Вспыхивающие огоньки сигарет озаряли на мгновение криминальные физиономии. Но когда зрители возвращались в свет фойе, их лица преображались в интеллигентные и даже утонченные. Только один страшный человек в черном берете на белых волосах гулял в черных очках и в черной майке с надписью на груди белыми буквами: «...уй войне!»

Такая наступила свобода слова! Люди делали вид, что их не шокирует этот агрессивный пацифистский призыв.

Композитор Башкат, восточного вида красавец, объяснил Соломонии, что режиссер Фук слишком долго находился за границей, поэтому все приличные площадки были заняты или же стоили так дорого, что даже богатому Фуку оказались не по карману. Вместо нормальной сцены пришлось соглашаться на эти жалкие подмостки в устаревшем кинотеатре. И хотя нищета помещения была во все глаза, в вестибюле стояли самодельные прилавки, уставленные гигантскими вазами и увесистыми побрякушками по валютным ценам. Удивленные такими большими ценами и малой художественностью предметов посетители долго и с любопытством разглядывали изделия.

Башкат нервно расхаживал перед входом в зрительный зал. Его жена, певица Башката, за полиэтиленовой занавеской надевала огромное золотое платье поверх другого — черного шелкового со сверкающими украшениями на груди.

Заглянув за занавеску, где находились магнитофоны и тянулись во все стороны длинные провода, Соломония спросила:

— Башката, почему ты одно платье надеваешь на другое?

— Так удобнее переодеваться, — сказала Башката, — и здесь очень холодно. Я не советую вам снимать куртку.

— Как в войну, — сказала Соломония, — концерт в прифронтовом городе!

Зашел Башкат и сказал неожиданно:

— Он мне все время снится!

— Соломой? — догадалась Соломония.

— Ну да! Как будто он мне что-то говорит, говорит, убеждает меня...

— Ему бы очень понравилась твоя музыка! — растрогалась Соломония. — Я в этом абсолютно уверена! Он хотел именно такую музыку для своего кино.

Прогон состоялся под Новый год. Пригласили только знакомых, но людей все равно было много. Художник спектакля Ажур заканчивал развешивать в фойе фотографии Соломоевых скульптур, наклеенные на паспарту из плотной бежевой бумаги. И зал, и фойе были задрапированы полиэтиленовой пленкой. От этого второй этаж не казался таким грязным и унылым.

Нарядная публика все прибывала. Фук обхаживал приглашенных иностранцев.

В кишкообразном зрительном зале, символизирующем знаменитый Соломоев подвал, кресла стояли наискось. Несколько рядов стульев занимали правую часть помоста. На левой стене сквозь прозрачную пленку просвечивали длинные лестницы. Самая большая лестница, расположенная в глубине сцены, уходила под потолок и заканчивалась подвесными лесами, похожими на капитанский мостик. К перилам этого помоста был прикреплен огромный гонг. Там, где у зрителей отобрали часть зала, возвышалась деревянная платформа с ведущими на нее несколькими ступеньками. На платформе из громадной картонной коробки торчала обвязанная бинтами живая человеческая голова.

По всей сцене в определенном порядке были расставлены инструменты и располагались металлические ящики с надписью «Pecar-ensemble». На противоположной стороне с балкона свисало два измятых плоских жестяных листа. В последнем ряду партера, во тьме за драпировкой, там, где недавно переодевалась Башката, притаился ее замученный супруг. Он сосредоточенно думал о том, что на репетиции Башката не допела три ноты, а Пекарь переколотил лишнее в колокола! Соломония мысленно видела его недовольные пылающие глаза и слышала бешеный стук его сердца.

Когда наконец зрители расселись и утомнились, посреди зала распахнулась боковая дверь, выходящая во внутренний дворик. Оттуда пахло жуткой

уличной стужей. Появилась группа музыкантов во главе со своим руководителем Пекарем в светлом плаще. Четыре музыканта тащили на поднятых руках черный похожий на гроб сундук. Все были одеты в обычную одежду. Один выделялся белыми штанами. У Пекаря блеснули очки. Свободные от сундука люди держали в руках разнообразные инструменты: дудки, трубки, барабаны и колокольчики. Они, озираясь, медленно приблизились к сцене, освещенной одной тусклой лампочкой.

Зрители услышали звук методично капающей воды, постепенно превратившийся в несносное навязчивое бульканье.

Музыканты робко разбрелись по сцене. Один из них поднес ко рту трубу и заиграл. Под бодрящую мелодию вспыхнул яркий свет. Сцена мгновенно превратилась в веселый балаган. Музыканты свистели, дудели, пищали, били в литавры и по-бандитски перекликались. Пекарь, сбросив плащ, вдохновенно солировал то на одном барабане, то на нескольких.

Сверху посыпались белые бумажные листочки. Музыканты их подобрали и стали читать нестройными голосами. Возможно, они получили от Соломоы зашифрованные послания с того света.

Зрители подняли головы и увидели подвешенный под потолком изогнутый дряхлый стул. Рядом со стулом свисала сковородка с намертво укрепленной на ней бутафорской яичницей.

Вдруг раздалось старческое бормотание. Это оказалось пением. Соломой с магнитофона пел песенку, которой научили его родители. Они сочинили ее, когда Соломой был сосунком и часто болел. В песенке родители называли сына смешным прозвищем — Муся-Димуся.

Все смотрели на Пекаря. Он в своем элегантном смокинге намочил в ржавом железном ведре одну за другой две младенческих пеленки, отжал их, шумно разбрызгав воду на пол, развесил сушиться на каком-то музыкальном инструменте. Эти действия Пекаря совершались под Соломоев бубнеж. Только Соломония одна в этом зале знала наизусть весь корявый стишок от начала до конца: «Жила-была Димуся, малюсенька серуся. Папа и мама ее очень любили. Димуся не ела, совсем заболела. Димуся, надо кушать, здоровым будешь».

Один музыкант надел себе на руку кусок водосточной трубы. Этой металлической рукой он стукнул по голове товарища с неподражаемым звуком. Другой швырнул такой же укороченный, согнутый в дугу, цинковый обрезок трубы под ноги публики в первых рядах. Все это завораживающе и упорядоченно громыхало. Башкат не позволял антихудожественному хаосу разрушить созданную им современную гармонию.

После надтреснутого Соломоева мычания зазвучала тоненькая нежная мелодия. Пекарь сексуально зашептал в микрофон, а музыканты подхватили: «Ио, Ио, Ио, Ио, Леда, Леда, Леда, Леда, Даная, Даная, Даная, Даная... Вас отвергаю! Вам изменяю! Громовержцу в гарем отправляю! Всех вас заменит Венера в Подвале! Создам Богиню своими руками!» Пекарь играл на всех находящихся рядом инструментах и говорил все громче и громче, почти кричал: «Заточу возлюбленную в Подземелье! Будет покоиться на старом диване гипсовое белое тело... Ножки гипсовые раздвинуты! А между ними в место вожделенное вороночка розовая вставлена, призывающая излиться...»

Пока музыка захлебывалась от неистовства и страсти, невидимый за большим белым ватманом художник Ажур начал поливать из клизмы обратную сторону бумаги, и публика увидела на чистом листе растекающиеся по белоснежному фону черные круги и разводы.

В этот момент вдарили молотком по громадному барабану на капитанском мостике! Проектор осветил на верху лестницы стоящую спиной золотую женскую фигуру. Вся сцена загорелась от ослепительного парчового платья в сплошных рюшах. Певица Башката повернулась и показала зрителям свой загадочный суровый профиль. Она запела, как языческая Богиня, сначала предельно высоко, затем низко и, наконец, почти басом. Она медленно начала спускаться вниз по лестнице.

Забытая в картонной коробке обвешанная человеческая голова, обретя руки, ноги и туловище, одетая в белые больничные штаны и рубаху, вылезла из своего укрытия и начала через всю сцену пробираться к большой лестнице.

Золотая царица Башката шла к возвышению, где ее уже поджидал Пекарь весь в черном и с черной бабочкой на шее.

В другом конце сцены человек в белых штанах, стоя спиной на нижних ступенях уходящей в потолок лестницы, неожиданно резко развернулся, раскрыл рот и, вытаращив глаза, дико закричал. Публика вздрогнула. Многократно закричало лягушачье кваканье. Человек снова закричал, и опять закричало...

На сцену вышел пьяный инвалид. Он с ненавистью стучал деревянной ногой. Его истрепанная гармошка извергала хриплые проклятия.

Двое подняли на руках контрабас, на этот раз без сундука, и торжественным похоронным шагом понесли его из зала.

На деревянном возвышении Пекарь и Башката затеяли любовную игру. Они перебирали звучащие, как кристаллики, украшения. Медные ступочки в руках Пекаря издавали хитрые зазывные мелодии. Он что-то хрустально пересыпал из одной склянки в другую. Стекланные бусики божественно позвякивали. Он вращал змееобразную музыкальную пружину, многоцветно сверкающую под разнообразным освещением. Башката с готовностью откликнулась на его призывы то гортанной мелодией, перемежающейся небесными переливами, то легкомысленным щебетанием и тяжкими вздохами. Оба начали переплетаться руками. Черная рука Пекаря и золотая Башкаты сцеплялись, расцеплялись и запутывались одна в другой. Все это Башката сопровождала похотливыми повизгиваниями. Наконец в невыносимую голосовую высоту взвился совместный мужской и женский вопль. Послышались усталое ворчание старой собаки и удовлетворенные женские всхлипывания.

Четыре музыканта вывели на колесиках высоченное обвешанное гирляндами цветов строение. Сооружение было похоже на старинный парусный корабль; оно состояло из длинных струн и раскачивающихся металлических плоскостей. Музыканты водили смычками по длинным струнам и ударяли по вибрирующим железным парусам. Конструкция попеременно освещалась красным, синим, зеленым и фиолетовым светом. Башката, успевшая сбросить с себя золотое платье и остаться в черном с блестками, исполняла танец женщины-робота. Пекарь стоял на капитанском мостике под потолком и, блестя очками, дирижировал всем этим буйством. Башката, продолжая в танце распевать похожие на псалмы древние мелодии, спустилась со своего возвышения к музыкантам. Они с одобрительными возгласами начали снимать с конструкции гирлянды цветов и украшать ими ее, поющего женского идола. Затем вместе с ней они стали с грохотом и гиканьем исполнять шаманскую пляску.

Вдруг стало тихо. Человек с забинтованной головой спускался с лестницы и жалобно дул в дудочку. Стенания его становились все более горестными, пока не сделались нестерпимыми. Раненый взобрался на платформу, издал свой последний длинный стон, улегся на пол, свернувшись калачиком, и затих.

На этом Соломой-мистерия закончилась.

Публика не сразу поняла, что это конец. Но когда разобралась, с удовольствием заплодировала. Великолепный Пекарь, сияющая муза Башката, отличные музыканты скромно кланялись. Довольный Фук сам не вышел, но вытолкнул на поклон почерневшего от изнеможения Башката. У него было обычное несчастное лицо недомогающего гения. Он, естественно, был чем-то недоволен, как ему и подобало. Но Соломония была в полном восторге. Сбылась давняя мечта Соломоя о музыкальном произведении по его творчеству. Соломой многое умел в искусстве, только музыку не умел сочинять. И оттого особенно ее боготворил. Недаром он при жизни все подкатывался к композитору Титке. Он даже хотел заказать Титке реквием по себе, но Титке сказал, что он уже написал один реквием по своей матери и больше в ближайшее время реквиемов сочинять не будет.

Башкат из-за собственного пристрастия к Соломоевым творениям создал эту музыку. Эта мистерия, считала Соломония, вполне сойдет за тот самый же-



ланный и необходимый Соломою реквием пополам с бедламом и буффонадой, которого ему так не хватало при жизни!

Мистерия через талант и душевную близость с вот этим худым желтовато-смуглым человеком впишет в сотворенный художником МИФ о самом себе последнюю звуковую страницу. Иначе зачем бы они — один на этом свете, другой на том — регулярно беседовали по ночам и никак не могли наговориться!

Башкат был такой нервный, такой хрупкий тукрейчик! А познакомились с ним, когда Соломой уже умер, но режиссер Дурнай...

Они только что вернулись с очередной кладбищенской прогулки и вспоминали, как на одной могиле родственники укрепили настоящий водолазный шлем, а в нем фотографию с веселым усатым лицом покойного водолаза. Отношение народа к смерти как к продолжению жизни всегда восхищало Соломою, и он грустил по поводу своего неверия.

Пришедшая в гости Последняя отвлекла обоих от интересных мыслей. Соломой прилег отдохнуть, и Последняя мгновенно очутилась у него под боком. Кошка была молода, засыпала легко, во сне дергалась.

Соломония стояла в кухне, раздумывая об ужине. На середину кухни степенно вышла большая гладкая мышь. Она начала туда-сюда поворачивать головой. Возможно, мышь была чересчур умная и оттого такая смелая. Она чувствовала, что Соломония не кошка и не представляет для нее никакой опасности.

Соломония подошла к открытой в комнату двери. Мышь не испугалась шагов женщины, наоборот, она начала деловито исследовать пол в поисках пищи.

— Тут мышь сидит! — с изумлением сказала Соломония.

— А вот, пожалуйста, вам кошка! — обрадовался Соломой. — Скажи ей, чтоб поймала.

Соломония подошла к кровати и взяла горячую спящую кошку на руки. Последняя приоткрыла мутные от сна глазки. Увидев Соломонию, она неистово замурлыкала и стала тыкаться твердой головой ей в подбородок.

— погоди, — сказала Соломония, — надо мышку поймать.

С кошкой на руках она вышла в кухню. Мышь спокойно сновала по полу, пока не остановилась около миски, где Последняя оставила себе на потом немного тюри.

Соломония прямо-таки ахнула от возмущения. Она осторожно опустила Последнюю на пол.

— Смотри! Смотри, что делается! — шептала она возбужденно.

Последняя, продолжая громко мурлыкать, начала умащиваться на полу, чтобы спать дальше.

— Кисанька, ну как же так? — сказала Соломония, продолжая ее тормозить. — Посмотри, что творится!

Последняя продолжала мурлыкать.

Вдруг она замерла. Она увидела! Глаза ее широко открылись. Исчезли куда-то сентиментальность и расслабленность. Соломония тут же встала на четвереньки, закрыв для мыши путь к отступлению.

Последняя с коротким криком ринулась на мышь, задев по пути длинным хвостом свою собственную миску. Миска загремела, мышь запищала, пытаясь улизнуть в комнату к Соломою. Но Последняя совершила изящное сальто и словила ее прямо на пороге, где Соломония, размахивая руками и вращая глазами, оказывала Последней моральную поддержку. Мышь уже навсегда затихла в зубах у Последней, а та все продолжала с закрытым ртом издавать глухое зверское рычание.

Соломония даже испугалась — такое беспощадное лицо было у Последней с добычей во рту.

— Bravo! Bravo! — закричал Соломой. — Молодцы, охотники! И ты, Соломония, тоже молодец! Ты хороший учитель! Вам надо разделить эту мышь по-братски!

— Ладно тебе!— скромно сказала Соломония.— Надо Самiku написать о том, что у нас произошло.

Восьмилетний Самик с матерью и с бабушкой находился в Азии, где в специальной клинике пытались разогнуть его скрюченную руку. Соломой и Соломония ежедневно писали ему письма, чтобы ему там в Азии было повеселее. Соломония адаптировала средневековые рыцарские легенды, а Соломой рисовал картинки цветными карандашами и фломастерами.

— Прервем страшные рассказы о подвигах рыцарей и напишем, как Соломония и Последняя успешно охотились на собственной кухне!— сказал Соломой.

— Давай,— согласилась Соломония.— Я напишу, а ты все это нарисуешь.

Первым зрителем в музее Соломоя стала Кына Акынова. Эта пожилая женщина как будто сошла со страниц туковской героической реальности из недавнего прошлого. Ее наградили медалью за спасение во время войны колхозных коров. Коровы упали в реку с рухнувшего моста, а четырнадцатилетняя Кына вытаскивала их из ледяной воды. Об этом была заметка в древней желтого цвета газете рядом с фотографией курносой бойкой девочки.

Сын Кыны работал официантом в ресторане. У него случались частые нелады с супругой, и он от того запивал. В такие моменты добрая женщина и хороший добросовестный работник Кына с горя обижалась на ни в чем не повинных посетителей музея и разговаривала с ними нехорошо.

— Товарищи! Ети вашу мать!— говорила Кына с лицом недобрым и одновременно грустным.— Идите, вам говорят, наверх, на второй этаж! Там продолжение осмотра!

Хом ласково попросил Кыну не пугать зрителей. Он сочувствовал ей, уважал за преданность музею, но неформальная лексика в учреждении культуры...

Кына была аккуратный зритель, хотя и очень своеобразный. Зависела от настроения и домашних обстоятельств...

Сначала Кына сочинила стихи о своей собственной разбитой жизни. Потом она написала бесконечную поэму о Соломoe, и жизнь стала необыкновенно интересной. Бабка Соломония, читая Кыну, регулярно плакала.

«Работала на вахте работа кляузная была  
 Другую работу предложили я тут же согласна была  
 Я пошла уволилась в музей работать пришла  
 Мне все рассказали за чем смотреть должна  
 Народ шел потоком что в зале негде встать  
 Товарищи ведите тише успеете его увидеть  
 После осмотра выставки в книге старался каждый записать  
 Такие были записи без слез нельзя читать  
 В одной книге прочитала там школьник писал  
 У меня сердце заволновалось так трогательно он написал  
 Шли классами школьники шел детский сад  
 В музее встречали старались рассказать  
 Раны его мучили боль в душе была  
 Что было им задумано доделывал до конца  
 Какой он был контуженный какой он был больной  
 Какие он скульптуры делал в свой маленький выходной  
 Война началась на войну он пошел  
 Был знаменитый пулеметчик и раненый пришел  
 Он у нас умер два года назад  
 Его работу скульптуру не хотят народу показать  
 Народ за правду бьется будет биться до конца  
 Чтoб к выставке его тропинка пролегла  
 Много иностранных людей приходили  
 Но почему те другие его не полюбили  
 Случайно из Второго Тука на выставку люди пришли

Благодарили за выставку ото всей своей души  
 Товарищи сегодня выставка последний день  
 Подошли и спрашивают кто выставку закрыть посмел  
 Последний день выставки работали допоздна  
 Народу было много попросить было нельзя  
 Мы выставку откроем народ толпой пойдет  
 И каждый посетитель себе билет возьмет»

Выставку закрыли в тот день, когда Пятньшко изгнал Скифа из главных столичных партийных начальников, и казалось, что тому конец. Но при чем же тут было искусство Соломоя на окраине Водного Грязя? А при том, что в тогдашнем Туке все было при чем.

Кына мало училась в своей жизни и не знала, что обозначает слово «чиновник». Она попросила объяснить. Поняв и невзлюбив это слово, она стала широко использовать его в своем творчестве:

«Чиновники не ценят человеческий труд  
 Поэтому старались цепочку замкнуть  
 В газете культуре статейка там была  
 Писали про его какая выставка была  
 Есть у нас мастерская там скульптуры его стоят  
 У народа большое желание чтоб все это увидеть  
 После такой публикации узнала вся страна  
 Что выставка его чиновниками прикрыта была  
 Чтой-то тут неясно как можно понять  
 Прибыль государству чиновники никак не хотят давать  
 Их насажали там зарплата их там недурна  
 Чтоб вопрос решить нужный ответ получишь месяца через два  
 Когда мы открылись ехали со всех сторон  
 Художнику отдавали земной поклон  
 Кто вывеску читает и записи в книге ведут  
 А многие стоят с билетами и очередь свою ждут  
 Публики очень много стараюсь им подсказать  
 Товарищи приподнимитесь еще на второй этаж  
 Что же за чиновники в своих креслах сидят  
 Народ требует открыть выставку они на это сквозь пальцы  
 глядят  
 Народ у чиновников не требует чтоб пивной бар открыть  
 А народ требует чтоб скульптуру поглядеть  
 А где сидят чиновники там непробиваемая стена  
 Чтоб доказать им правду с какого зйти конца

*Соч. Кыны Акыновой».*

НЛО вновь начал посещать Соломонию. Он жужжал что-то бессмысленное около ее уха. Но Соломония избрала иную тактику защиты — она улыбалась и молчала. А он уговаривал:

— Уважаемая Соломония! Вы должны дать показания, как это сделали лучшие представители животного мира из деревни Туково. Вы, конечно, догадываетесь, что я говорю о госпоже Последней и о господине Тачке.

— Это еще кто такой?— Соломония тут же расстроилась, что не смогла удержать себя от любопытства и вступила в контакт с неземной цивилизацией, в которую усиленно пыталась не верить.

— Ну как же!— с удовольствиемотреагировал НЛО.— А поросеночка невинного приговорили к публичной смертной казни в галерее современного искусства! Курьезное было зрелище.

— Но его бы все равно зарезали и съели,— тихо сказала Соломония.

— Все знаете, а спрашиваете, кто такой. Верно рассуждаете,— согласился НЛО.— Не хотите ли парной свининки?

— Не хочу,— сказала Соломония.— И вы напрасно пытаетесь меня в чем-то обвинить.

— Не могу же я обвинить в убийстве скромного деревенского труженика Тукия Тукича Тукова, который производил казнь!

Втянул он меня, собака, в эту чертовщину, горестно подумала Соломония. Она больше не улыбалась, голова болела, угрюмая маска искажала ее лицо.

— Ну как, будем давать показания?

— Не будем, не будем, не будем!— забормотала Соломония и заткнула уши.

НЛО залиvisto засмеялся.

— Обязательно будем, вне всяких сомнений!

Соломония включила свет. Громко сказала в пустоту:

— Сейчас я буду расслабляться и умиляться! И поможет мне в этом дорогая Кыночка! Она первая начала в художественной форме вести летопись создания Музея Соломоя.

Читая старательно написанные синими чернилами строчки, Соломония постепенно начала обретать долгожданный покой. Взор ее туманили сладкие облегчающие слезы.

«Вот теперь можно  
 Написать про выставочный зал  
 Потолок покрасили  
 А после дождя с крыши кап-кап  
 Мастерская теперь закрыта  
 Тишина в мастерской стоит  
 Раньше в мастерскую заходишь  
 Там он молоточком стучит  
 Заболел он очень сильно  
 Он не мог инфаркт перенести  
 Последние слова успел промолвить  
 Чтоб скульптурки хранить и беречь  
 По телефону записываются на экскурсию  
 Чтоб супруга экскурсию провела  
 Только она подробности знает  
 Какая судьба у него была  
 В зале народу очень много  
 Народ стал к нам иттить  
 Нам теперь некогда  
 Глоток чаю попить  
 Теперь время у меня нету  
 Чтоб книгу отзыва почитать  
 Прихожу на работу очень рано  
 Чтоб выручку дневную подчитать  
 Мне война не дала учиться  
 Мне хочется стихи писать  
 Я бы описывала его судьбу  
 Чтобы народу было легче понять  
 Затоптать чиновникам не пришлось  
 Тут народ пошел вперед  
 За границей он в почете  
 В туковской стране все наоборот  
 Есть в нашем районе отдел культуры  
 Там заведующая Арта есть  
 Она вместе с народом добивалась  
 Чтоб выставку его провести  
 Вот какое интересное помещение  
 Игде скульптура его стоит  
 Такие лесенки крутые повороты

По которым народ спишит  
 Он делал тяжелую скульптуру  
 Над каждой надо голову поломать  
 Не то што чиновники сидят за столами  
 Легче всего бумашку подписать  
 На открытие его  
 Приезжали издалека  
 Выступали все по микрофону  
 Говорили теплые слова  
 Много вопросов задавали  
 Отвечала супруга его  
 Сколько живых цветов положили  
 Около портрета мертвого его  
 Не могла я на старость все запомнить  
 Нужно бы ручку бумагу взять  
 И тогда бы я смогла бы про него больше написать  
 Мне во сне стихи сняца  
 Мысли больше не дают спать  
 Что на открытие про его говорили  
 Нужно потихоньку все вспоминать  
 Выступать желающих было много  
 В зале сёмка во всю шла  
 Тишина в зале стояла  
 Как плакала женщина одна  
 На работу шла очень рано  
 Вижу публика у двери стоит  
 Мы на улице стоять озябли  
 Постарайтесь пораньше открыть  
 Заходите мои дорогие  
 Будьте посетителями первыми у нас  
 Подождите сейчас кассу открою  
 И билеты продавать буду для вас  
 Подошли ко мне двое  
 Мы приехали издалека  
 Каталог купить не пришлось  
 Оставим денег вышлите туда  
 Мы останемся вам благодарны  
 И вспоминать будем вас всегда  
 (гор. Тукоярск)  
 Он глубоко зарыт в могилке  
 Ему ни надо теперь ничего  
 Зато сын очень доволен  
 Какой папа был у него»

Хом и Чернушечка одуряюще курили, скаля уже серые, а не белые зубки, как в начале пасторали. Жизнь свое дело делала!

— Значит так,— сказала Соломония,— сегодня слушала заграничное радио. Они сказали, что только пять процентов курящих мужчин доживают до семидесяти лет.

— Какие ужасы ты нам рассказываешь! — сказал Хом.

— Что там до семидесяти, тебе, дай Бог, до сорока дожить!

— Ну спасибо тебе,— сказал Хом.

— Это не мне спасибо, а статистике,— сказала Соломония.

Пастораль на грязной воде набирала силу. Жизнь стремительно убегала из каждого персонажа. Но чем хуже для людей, тем лучше для природы. Если самая ее кровожадная часть, двуногие, самоистребятся, кругом будет много свежей разнообразной травы, сколько угодно трав! Красиво-то как!

— Ну, Хом, ты, конечно, не пойдешь на референдум,— сказала Соломония.

— Нет,— подтвердил Хом,— я в этих играх не участвую.

— А я участвую,— сказала Соломония,— но вот какое дело... Ты знаешь, что я еду в Наргемию. Ларк уже заказал мне билет. Меня здесь не будет...

Соломония выдержала маленькую паузу:

— Ты не мог бы сходить проголосовать за Скифа вместо меня?

Хом не совсем понял.

— Понимаешь, какое дело... Ты человек аполитичный...

— Я не аполитичный, но мне не нравятся все власти.

— Ну вот,— сказала Соломония — поэтому я тебя и прошу. Ты сходи проголосуй за Скифа, но это будет, как бы я проголосовала. Чтобы не пропал мой голос! Ты сделаешь мне одолжение, окажешь мне услугу как близкому человеку.

Хом молчал, не зная, что сказать.

В разговор вступила окутанная дымом Чернушечка, землестолица прокуренная женщина, но все равно очень эффектная.

— Зачем вам все это надо? Езжайте спокойно в Наргемию — и все!

— Но пропадет мой голос!

— А вот мне абсолютно на все эти выборы наплевать,— сказала Чернушечка.

— Ну, сходи проголосуй за меня!

— Да вы что! Мне же для этого надо переться в Тулкошево по месту прописки! Я на такой подвиг не способна. Возьмите открепительный талон!

— Во-первых, я уезжаю тринадцатого, никаких открепительных еще не будет. Во-вторых, я там, в Наргемии, должна буду тащиться в ихнюю столицу, это сколько денег стоит! К тому же наши посольства работают отвратительно. И без языка в чужой стране...

— Не езжай в Наргемию,— сказал Хом,— если для тебя это так важно.

— А ты не можешь за меня...

— Нет, Соломония, это будет профанация.

— Но ведь тебе же все равно!

— Нет, мне не все равно!

— Но ты же сам говорил, что ты за Скифа.

— Я за Скифа, потому что эти в телевизоре еще хуже, но голосовать я не пойду.

— Ну что за глупости такие! — сказала Чернушечка.— Езжайте спокойно — и все!

И снова все замолчали.

— Круто вы курите, господа,— сказала Соломония,— по радио говорили, что для тех, кто не курит, но рядом сидит, это тоже вредно. Уж не хотите ли вы меня уморить?

— Послушай, Соломония,— сказал Хом,— если для тебя эта твоя гражданская позиция и так далее много значит, не надо ехать. Надо идти и отдавать свой голос, который ты так дорого ценишь.

— Вот я так и сделаю!

— Вот так и сделай!

— Да вы что! — сказала Чернушечка.— Вы на вернисаж не попадете из-за этой политики!

— Ну раз Хом не хочет...

— Не хочу! — подтвердил Хом.— Но если бы для меня это было бы так важно, я бы не поехал!

— Пойми, по высшему счету ты, конечно, прав, я просто думала, тебе все равно... Конечно, в этом есть некоторый цинизм. Но я очень ценю свой голос...

— Есть цинизм,— сказал Хом.— А если ты так ценишь свой голос, значит, надо идти голосовать, а не за границу ехать.

— Глупости все это! — сказала Чернушечка.— Ну что это за чушь такая!

— Я уже решила, Хом, я остаюсь... Я тут уже заговаривала с Башкатом, думала, может быть, он тоже аполитичный и не пойдет. Он ко мне хорошо относится, он мне Соломой-мистерию посвятил... Я думала, он проголосует вместо меня, но голос будет его, но как бы мой...

— Понятно, понятно,— сказал Хом.

— Но он говорит, что обязательно пойдет голосовать, и Башката пойдет. Он говорит, что это очень важно.

— Вот идите и голосуйте, раз вам это так важно.

— Хом, ты чувствуешь свое моральное превосходство! Ты лучше поменьше кури. Вот Самик как жалеет, что ему нет восемнадцати лет. Была по ТВ передача «Общественное мнение», он час дозванивался! И дозвонился. Сказал: «Я за президента!»

Соломония потянулась рукой включить радио.

— Прошу тебя, не включай,— взмолился Хом,— я скоро оглохну от всего этого шума.

— А когда я прошу, чтобы ты не курил...

— Я и так в машине не курю! А все эти твои хитрые уловки по поводу голосования...

— Ладно, Хом, тебе сказано, что я никуда не еду!

— Ну вот,— удовлетворенно произнес Хом.

Ночью Соломония в течение двух часов непрерывно пыталась дозвониться Ларку. Наконец, совсем отчаявшись, она решила завтра заказать разговор за десятикратную сумму. И... в последнюю минуту дозвонилась:

— Ларк, милый мой, прости меня ради Бога, я никак не могу ехать тринадцатого! Ты не мог бы заказать билет на двадцать шестое?

— А что случилось? — обеспокоенно сказал Ларк.

— Я расскажу, когда увидимся. Мне не хочется говорить об этом по телефону. Но вообще-то все нормально, все живы...

Соломонии почему-то было стыдно рассказывать Ларку об истинной причине.

— Я перебронирую на двадцать шестое,— сказал Ларк.— Но это был специальный особо дешевый билет. Придется платить около ста наргемчиков еще!

— Понятно. Это неустойка. Я заплачу.

— А почему ты не едешь? — В голосе Ларка звучало жгучее любопытство.

— Я расскажу, Ларк, при встрече.

Ларк сжалился над Соломонией и перестал ее пытаться. Он сказал, что Брум съездил во время отпуска в Тукрайль и недавно вернулся. У Гелизы собираются напечатать в одном туковском литературном журнале два рассказа, которые недавно отверг столичный журнал «Стяг». «Памятник погибшим от бомб» откроют, когда Соломония будет в Наргемии.

— Значит тебя не будет на открытии выставки,— сказал Ларк.

— Ничего, и без меня откроют,— сказала Соломония.

— Раньше тоже без тебя открывали. Без Соломоя и без тебя,— усмехнулся Ларк.

— Спасибо тебе, целую вас всех! — сказала Соломония.— Скоро увидимся!

За городом было тихо, но страшно. Никогда раньше Соломония не боялась оставаться одна на даче. А теперь ее все пугало: любой шорох за окном казался бандитской перебежкой.

И совсем замучили ночные посещения НЛО.

— Что вы предпочитаете,— спросил НЛО,— чтобы прежние негодяи исчезли любым путем или чтобы многие из них продолжали править, как и сейчас, несмотря на демократическую революцию?

— Что значит «любым путем»? — спросила Соломония.

— Ну что же тут непонятного, все учили в школе, если враг не...

— Пусть они правят! — немедленно сказала Соломония. — Пусть продолжают править большие негодяи!

— Но если они окончательно победят, будет, как и раньше, они противников своих уничтожат, а таких, как вы...

— Меня обязательно уничтожат! Я их противник!

— Значит, вы против справедливого возмездия?

— Да, я против. В Великом Туке справедливое возмездие — это всегда революционное насилие. Я против! У меня буржуазное сознание, я боюсь резких перемен. Я жажду перемен и одновременно ужасно боюсь их. Я в страхе оттого, что будет еще хуже. Но я за Скифа... Хотя внешне он сильно поплохел за последнее время. Наверное, хворает, а президентам нельзя хворать. Вот писателям можно...

Соломония рывком села на кровати. Кто-то маленький легко прыгал у нее в ногах по верх одеяла.

— Это ты, Последняя? — спросила Соломония.

— Да, — сказал НЛО, — это я, Последняя! — И засмеялся.

Соломония нажала кнопку настольной лампы.

— Только половина четвертого! Скорее бы уже утро!

Разноцветный волчок уютно вращался, подскакивая на белом пододеяльнике.

— А где кошка? — спросила у него Соломония безо всякого удивления.

— Она сидит около двери и ждет, когда вы наконец выпустите её из дома.

Соломония услышала сердитое ворчание. Последняя стукнула тощим хвостом по полу и посмотрела на нее укоризненно.

— Что же вы ей не открыли? — с упреком сказала Соломония.

— Это не входит в наши функции. Мы выполняем свою задачу.

Кошка злобно заверещала.

— Иду, иду! — проворчала Соломония, становясь босыми ногами в большие Соломеевы тапочки. — Не входит в функции... Не настолько вы всемогущи, тоже кое-чего не умеете... Дверь открыть — это не дурацкие вопросы задавать!

Дверь со скрипом распахнулась. Последняя пулей улетела в темноту двора.

Соломония стояла в пижаме и тапочках около кровати. Она попросила глухо:

— Прикройте, пожалуйста... Холодно.

Дверь мягко закрылась.

— Это чтобы вы убедились в наших возможностях, но больше мы таких глупых просьб выполнять не будем.

Соломеев магнитофон стоял на стуле рядом с кроватью. До недавней революции отечественное радио выносимо было слушать, когда вместо бесконечной тоталитарной симфонии передавали великую неидеологическую музыку прошлых столетий. Соломой много музыки записал в УКВ на подаренный ему Ларком магнитофончик. Нажав на кнопку, Соломония услышала остаток слов: «...для скрипки с оркестром. Ми мажор».

— Вот увидишь, — сказала Соломония, — он придет не один.

— Посмотрим, — сказал Соломой, оторвавшись от своей излюбленной в последнее время работы — рисования пером и тушью. — Это я ему нужен, а не он мне. Очевидно, начальство с него требует, раз он вынужден посещать меня на дому да еще в воскресенье.

Восьмого января тысяча девятьсот семьдесят шестого года в квартире у Соломоя раздался звонок.

И ничего особенного не появилось. Всего лишь за плешивым Стюком следовал еще более плешивый Цеп.

— Здравствуйте, здравствуйте! — оживленно говорил Стюк. — Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что лучше!



— Да нет,— сказал Соломой,— не лучше. У меня же недавно опять инфаркт был.

— Да, да,— посочувствовал Стюк рассеянно.

Цеп не выражал ни участия, ни сочувствия.

Соломой поинтересовался:

— Вы, наверное, ко мне по делу пришли?

— Да, конечно!— Стюк мгновенно посерьезнел.— Вы, главное, не бойтесь!

— А мы и не боимся,— с обидой сказала Соломония.— Нам бояться нечего. Чай будете пить?

— Нет, что вы! Нам скоро уходить.

— Ну тогда садитесь,— сказала Соломония.

Оба были по форме одеты — пиджаки, галстуки. Неопрятность в облике: нечищенные ботинки, сальные волосы, выпяченные животы — указывала на некоторые вольности, которые могли себе позволить чиновники именно по художественному ведомству, а не какому-нибудь другому.

Оба без пальто, значит, прибыли с шофером.

— Еле-еле до вас доехали,— сказал Стюк,— очень много снега.

Соломония подтвердила:

— Сегодня первый день снегопада.

Цеп, прямая плещивая душа, даже и не пытался быть любезным.

— Понимаете,— проникновенно сказал Стюк, заглядывая Соломою в глаза,— я уже шесть лет руковожу Союзом художников. И мне очень хочется, чтобы все художники были как одна семья. И все, что мы делаем, было бы для блага каждого.

— Понимаю,— сказал Соломой с пониманием.

Соломония отметила у Стюка певучие интонации, такие же, как у Пятнышка. Явно, что-то снова у начальства изменилось. Снова вернулись к вежливости. То ли непривычно было хамить в домашней обстановке. Небось на квартире у художника Бакака, а не в своей конторе, Стюк тоже не припоминал бы ему Адольфера. Атмосфера диктует поведение.

Стюк помолчал. И все помолчали.

— Вот, например,— заговорил наконец Стюк, обращаясь к Соломою,— я совершенно не встречаю вас в Союзе художников, ни на выставках, ни на собраниях.

Оба, и Стюк и Цеп, усиленно старались не смотреть на стены с картинами и полки со скульптурами. Там свободно витал вольный дух созидания. Это раздражало и притягивало одновременно. На диване сидел тот, кто все это сотворил,— худой бородатый человек очень положительного, но чрезвычайно болезненного вида.

— О чем вы говорите?— сказал Соломой.— Какие собрания? Я даже в мастерскую не всегда хожу из-за своего самочувствия, а вы говорите про собрания. Разве вы не знаете, что я инвалид войны?

— Знаем. Мы стараемся для ветеранов. Но вы совсем не участвуете в наших выставках...

Соломой и Соломония дружно рассмеялись.

— В каких же это выставках я должен участвовать? Из-за одной работы бороться с худсоветом глупо в моем возрасте. А на персональные я подавал заявки и к сорокалетию, и к пятидесятилетию, и к шестидесятилетию...

— Ну и что?— прервал Стюк.

— А ничего.

— Разберитесь!— сказал Стюк Цепу.

Цеп даже не шелохнулся.

— Однако за границей у вас много что происходит.— Голос Стюка усилил проникновенность.— До нас доходит. А вот вы никогда не ставите нас в известность.

Это прозвучало со значением и мягким упреком.

— До меня тоже доходит. Я ведь целых пятнадцать лет дарю свои рисунки и скульптуры. Недавно опять в Наргемии мой памятник поставили.— Соломой произнес это с гордостью.— Я поймал об этом радиопередачу по Наргемской волне, но потом ее заглушили.

— Там, наверное, больше платят,— сказал Стюк.

— Вот там как раз ничего не платят,— сказал Соломой,— а здесь я неплохо зарабатывал надгробиями. Но сейчас уже нет сил.

— А у нас в Союзе художников вышел ваш буклет,— сказал Стюк.— Я уже видел сигнал. Вы думаете, легко было пробить буклеты для ветеранов! Мы все должны стараться...

— Я знаю. Я очень жду этого буклетика,— сказал Соломой,— особенно перед смертью. Крошечный проспектик на родине дороже любой заграничной монографии. Тем более первый!

— Мы все-таки хотели бы, чтобы вы иногда принимали участие в общественной жизни нашего союза,— посоветовал Стюк.

— По мере сил,— сказал Соломой.— Кстати, недавно я участвовал в какой-то благотворительной выставке. Попросили ветеранов войны бесплатно дать свои произведения для продажи. Я дал одну бронзочку. Сын отвез, и ее уже купили.

Стюк изумился и посмотрел на Цепу.

— Было,— не поднимая глаз, подтвердил Цеп.— На Токрийском бульваре.

— Ее оценили в двадцать тукчиков, а мне одна отливка стоила двести,— сказал Соломой.

Стюк ничего не сказал. Потом он не удержался и стал рассматривать стоящие за стеклом книжного шкафа Соломиевы заграничные монографии. Книжки выглядели роскошно. Одна — в ярко-красной коленкоровой обложке, другая — в блестящей черной, третья — с Соломиевым портретом. На каждой огромными буквами было написано Соломиево имя.

Стюк почти протянул руку, чтобы взять книгу, но вовремя вспомнил, что он при исполнении, и руку отдернул.

Перед уходом Стюк сделался еще добрее: опять заглядывал Соломою в глаза, дружески пожимал ему руку и долго желал крепкого здоровья.

Когда они ушли, Соломой спросил:

— Ну как тебе?

— Ну как?— сказала Соломония.— Вроде бы и не убивают. Разговаривают вежливо, а все равно отвратительно.

— Отвратительно,— согласился Соломой.

— Теперь будем ждать какой-нибудь гадости. Какой-нибудь мерзкой статейки. Но все-таки уже не так страшно. Очень стали они гуманными. А для чего каннибалам гуманность? Даже ослабшим?

— Как же скучно с ними бороться!— воскликнул Соломой.

— Нам надо гордиться — нигде в мире не придается такого значения художникам, как у нас. Написал стишок — гражданский поступок, нарисовал картинку — акция! Восприимчивая публика возбуждается и пошептывает, начальство сразу реагирует, принимает меры. При свободе такого не бывает.

— А я вот мечтаю, если бы Бог дал здоровья, написать роман под названием «Ежик» и посвятить его Ларку Айму.

— А все-таки я молодец!— воскликнула Соломония.— Лихо я сама выкупила твою скульптуру за двадцатник! Не зря в очереди постояла. И мы на ихнем идиотском благотворительном балагане потеряли всего двадцать тукчиков.

Любимый Соломиев друг-академик написал большую статью про скульптуры, которых мы не видим. Пока вдальблывалось новое мышление, главный редактор «Культурной газеты» никак не мог к нему привыкнуть. И не хотел избавляться от надежной привычки тянуть и выжидать. Однако Пятнышко приказал соблюдать ускорение в культуре. Это было время, когда туковцы еще бо-

ялись послушаться генсека. Статья пробивалась в печать недолго, всего полгода. Не было тогда всеобщей свободы слова. И слово ценилось.

Когда статья все-таки появилась, люди несколько изумились неслыханной смелости автора. Академик написал о том, что не у всех в Великом Туке взгляды на искусство совпадают с отечественным Министерством культуры. Не обязательно после смерти художника считать его работу ненужным хламом и немедленно отбирать у вдовы подвал, где хранятся произведения покойного. Заодно академик сообщил, что считает Соломю выдающимся художником и пора своим зрителям, а не только иностранным, самим на все посмотреть. Пора увидеть хотя бы модели его памятников, установленных на чужой земле...

Был большой шум. Соломонию показали по ТВ прямо в подвале. И многие удивились. Из-за телевидения Соломонию некоторые узнавали на улице, когда она ходила на рынок. Но скучная борьба за подвал все равно продолжалась, хотя Плоскостоп малость поутихла.

А Ногай...

Соломония не ожидала, что отношения с Ногаем будут деградировать столь стремительно. Дошло до того, что Хом сказал:

— Если он тут появится, я дам ему по башке молотком!

— Прошу тебя, не психуй!— взмолилась Соломония.

У Хома еще не было Чернушечки, и некому было его успокаивать. Друг Ногаю к осени умер. Его теория бессмертия на практике не подтвердилась. Но Ногай утверждал, что все равно теория очень хорошая и тот, кто дальше будет ее разрабатывать, обязательно добьется потрясающего результата. Если, конечно, не пожалеет для этого собственной жизни.

Слоник была с умирающим другом Ногаем до самого конца. Уже второй влюбленный в нее мужчина умер. Теперь она осталась одна, и Соломония мечтала, что как-нибудь Слоник позвонит, как обещала, и скажет: вот я готова «Висящего деда» доделывать. Но не позвонила она. Соломония отнеслась к этому с пониманием. Одно дело — с Соломеем работать, другое...

— Он сказал, что сейчас не собирается ставить никаких спектаклей, а будет работать в Театре им. Ушкина!

— А что он будет там делать?

— Я не знаю. Он сказал, чтобы я, как директор, оформил его артистов на работу.

— А кто платить будет?

— Ушкин!— вскричал Хом.— Ушкин будет платить! Как я могу взять на работу актеров, когда их режиссер будет работать в другом месте?

— А как же наше здание, театр, музей?

— Все это оказалось липой!

— Но почему же липой?

— Потому, что он хочет устраиваться в Театр им. Ушкина! Он говорит, что наше здание не годится. Поскольку его надо перестраивать специально под театр, значит, сейчас мы должны искать новую площадку в центре.

Соломония обалдела качала головой.

— Ну как же так? Он меня так уговаривал... Не может этого быть. Я ему все-таки позвоню.

Хом долго убеждал Соломонию, что звонить бесполезно.

Соломония позвонила.

— Я не могу там репетировать,— сказал Ногай.— Слишком далеко ехать. А холодно как! Одна артистка уже заболела. И что вообще в этом сарае хорошего? Надо искать новое нормальное помещение в центре.

— Хом не будет искать новое помещение.

— Не будет? Пускай уходит из директоров!

— А другие? Ганя Шумер, Толстонольдик, Фаин Персик! Они тебе поверили! Ганя и Толстонольдик уволились со службы два дня назад.

— Ну знаешь! В конце концов они взрослые люди, это их проблемы!

Соломония замолчала, растерявшись. Она совершенно не знала, что на это ответить.

— Скажи Хому, чтобы он отдал нам печать для расчетного счета в банке. В этом здании будет наша база, мы там будем числиться. Через расчетный счет будем проворачивать наши финансы. Кстати, хотел тебя спросить, ты дашь мне Соломоевы скульптуры из «Гроб-Арта» для спектакля? Ты же не такая, как Хом...

— Погоди ты со скульптурами! Значит, ты не собираешься в этом доме ничего делать, а только фиктивно? А как же наш музей?

— А что музей? Пожалуйста, берите себе комнатку наверху и делайте малой кровью.

— Но здание дают под твой театр, а не под наш музей!

— Правильно,— самодовольно сказал Ногай,— под мой театр! Будем делать ремонт, ну а потом...

— Но ведь в наших условиях ремонт — это на долгие годы!

— А куда спешить?

— Район этого не потерпит, им работа нужна, а не ремонт на ближайшую пятилетку! Мы уже обещали им выставку Соломою на День города.

— Ну и делайте! Только маленькую, малой кровью! А вы там развернулись...

Весь вечер на квартире у Соломонии звонил телефон. Соломония смотрела на Толстонольдика, флегматично беседующую с Ногаем. Его яростный напор неизбежно откатывался от ее равнодушных реплик: «Ее нет. Откуда я знаю? Я вот тут сижу, скульптуру крашу. Откуда я знаю, где Хом? Я за ним не слежу. Откуда я знаю, когда она будет? Она мне не докладывает».

Соломония молча ухмылялась. Лицо ее было каменным от злости.

— Знаешь, что эта сволочь придумала, он собирается заводить на меня уголовное дело!— вопил Хом.

— Да ты что?

— Из-за печати!

— Может быть, отдать ему эту вшивую печать — и пошел он...

— Никогда! Как ты не понимаешь, он будет числиться у нас в здании! Он будет висеть на нас! Мы будем от него зависеть!

— Но ты же его знаешь, он никогда у нас не появится.

— Я не отдам ему печать! Пусть он заводит на меня уголовное дело!

Хом смотрел на Соломонию испепеляющим взглядом. Она с тяжелым вздохом сняла телефонную трубку.

— Привет,— мрачно сказала Соломония.

Ногай долго кричал, что Хом подонок, и пусть он лучше по-хорошему отдает печать, иначе он...

— Заведешь уголовное дело?— прервала его Соломония.

Ногай осекся и замолчал.

— Вот что я тебе скажу. Ты собираешься на моего сына заводить уголовное дело, поэтому я не хочу тебя больше видеть. Не звони мне и не приходи ко мне!

— Послушай,— сказал Ногай,— конечно, ты будешь слушать его, а не меня...

— А ты будешь со своим жульем...

Ногай бросил трубку.

В сумасшедших глазах Хома появилось глубокое удовлетворение.

— Думаешь, это легко?— с горечью сказала Соломония.— Двадцать лет жизни псу под хвост! Он огромный стихийный талант! Он ученик Соломою! Конечно, иногда он потрясает своим идиотизмом. Но сейчас я дорожу каждым близким человеком, с которым связаны годы...

— Это я тебе близкий! А он подлец! Ты лучше мной дорожи!

— Я тобой дорожу, я горжусь тобой! Но иногда ты тоже бываешь ужасен! Ты пугаешь меня своей нетерпимостью!

— Если я не буду таким, я никогда не сделаю этот музей! Пойми наконец, он преследует свои цели. Ему наплевать на батино искусство! Он наобещал своим подмоганцам зарплату, хотя нет никаких спектаклей и денег тоже нет. Наобещал помещения в нашем здании, а сам сбежал после первой же репетиции. Я на своем горбу таскал его реквизит, а теперь должен везти все это барахло обратно. Они прислали мне протокол их заседания, где меня выгоняют из директоров. Ты бы его почитала!

Соломония согласилась уныло:

— Ногай любит протоколы.

Ногай и его новый директор сидели напротив Хома в кабинете у Арты. У всех, кроме Арты, были искаженные до уродливости лица.

Непроницаемая физиономия Арты указывала на привычность и рутинность конфликтных ситуаций на районном уровне.

— Он хранит печать у себя на квартире!— крикнул Ногай.— Он не имеет права лишать нас возможности работать!

— А где вы собираетесь работать?— спросила Арта негромким, но стальным, начальственным голосом.

Вопрос остался без ответа.

Арта внимательно поглядела на Ногаю.

— До нас дошли слухи, что вы устраиваетесь в центральный театр и...

— Ну и что!— прервал ее Ногай.— Что здесь такого особенного? Многие режиссеры работают в разных местах!

— Но вы же вообще не собираетесь работать в районе!

— Кто вам это сказал?

— Я сказал!— сказал Хом.

— Сволочь!— сказал Ногай.

— Подонок!— сказал Хом.

— Прекратите!— сказала Арта.

Хом сильно страдал оттого, что нельзя было курить.

— Отдавай печать!— взревел Ногай. Угольные его глаза извергали желто-красное пламя.— Печать давай, паскуда!

— Ты свинья!— высоким голосом произнес бледный Хом.

Помощник Ногаю наклонился к Хому и многообещающе прошептал ему в ухо:

— Отдай, сука, по-хорошему, мы тебе сделаем...

— Прекратите эту уголовщину немедленно!— сказала Арта и встала.— Я сейчас позвоню в РУВД!

На секунду стало тихо.

Арта вынула из ящика стола печать и положила ее на стол.

— Вчера печать была сдана в Отдел культуры, как это и положено по закону. Можете ее взять, но вам...— Арта выразительно посмотрела на Ногаю.— Я не советую вам появляться в нашем районе!

Выставка открылась в День города. По залам бродила взволнованная, возбужденная толпа. Многие плакали от ненависти. Зрители хотели немедленно покарать начальство, которое скрывало от них то, что могли видеть нетуковские граждане за границей. Разглядывая модели установленных в Наргемии памятников, люди хотели немедленно устроить митинг и пойти разгромить какое-нибудь партийное учреждение.

— Пусть они живут, Бог с ними!— говорила Соломония, пытаясь умиротворить публику.— Если вы любите искусство, вы, конечно, слышали о том, что рукописи не горят. У каждого художника своя судьба...

— Давить надо этих сволочей!— кричала публика в ответ.

— Нет, не надо! Все мы устали от бесконечного насилия!— твердо отвечала Соломония.— Вы лучше посмотрите на эту живопись. Это двери от стальных

шкафов в коридоре нашей квартиры. То, что вы видите: безумство цвета, обнаженные красивые люди, цветы, трава, диковинные птицы и кошки,— все вместе называется «Райская жизнь в коридоре». Художнику было куда спасаться. Он создал себе рай на дому. Творческий человек может быть свободным и счастливым повсюду, даже в коридоре своего жилища!

На лицах многих зрителей вместо навязчивой жажды разрушения появлялись мечтательные улыбки, взор их смягчился. И почти каждый требовал: «Надо делать музей!»

Некоторые подвыпившие посетители-пролетарии тоже одобряли искусство Соломою. И, глядя на металлический шедевр «Праздник», где три поющих персонажа, один с гармошкой посередине, сильно напоминали громахующий по улице танк, добродушно смеялись.

— Наш праздник!— уверенно говорили они.— Наш, туковский!

Довольный Хом расхаживал по залам.

— Хоть бы этот гад не приходил!— поделился он с Соломонией.

— Да ты что! После того, что было у Арты, он никогда не придет.

— Чует мое сердце, припрется!

Неожиданно лицо Хома изменилось до неузнаваемости. Он пробормотал сквозь зубы:

— Давно не виделись. Вон он!

— Где?— спросила Соломония.

— Я не хочу с ним встречаться,— сказал Хом,— не могу на него смотреть! Хом немедленно удалился.

Наконец Соломония его увидела. Ногай спускался со второго этажа. У него был необыкновенно растерянный вид. И он напоминал того красивенького черноволосого и черноглазого мальчика, каким он был, когда впервые появился в подвале у Соломою. Тогда он восхищенно остановился на пороге и сказал, что никуда больше отсюда не уйдет.

И Соломой сразу же захотел сделать из него скульптора и верного своего помощника.

Но ничего из этого не вышло!

Было время, когда Ногай обожал Соломою. И если Соломой ругал его за необузданность и глупость, он отбрехивался дрожащим голосом: «Когда-нибудь вы поймете, что я любил вас... Любил как отца, как старшего друга...»

Соломой тоже любил Ногаю, но его всегда поражало у этого человека несоответствие между огромным талантом и малым количеством разума.

— Тебе надо понять,— говорил Соломой,— что именно у тебя самого получается лучше всего, и заниматься только этим. Ну скажи, зачем ты всех получаешь? Публика пришла на спектакль, а ты читаешь лекцию по физиологии! Ты же ничего в этом не смыслишь! Когда есть твой театр, твоё зрелище, оно интересно и убедительно. И не столь очевидно, извини ради Бога, твоё невежество! А ты произносишь всякие ученые слова: «бионика», «сублимация биоритма», «астральный фактор»,— втягиваешь в это зрителя. И сам же сердиться, когда начинают тебе возражать!

Ногай многого не мог окончить. Он не закончил военное училище, не закончил Высшие режиссерские курсы и не закончил фильма, который снимал на кладбище, когда работал там бригадиром могильщиков. Но Ногай самоотверженно просто так, для удовольствия, вкалывал в школе у Соломонии, где руководил детским театром. На эти спектакли сбегалось полгорода. Учительница Соломония была у Ногаю драматургом. И никто в нищей туковской школе не платил молодому режиссеру ни тукчика! Никого не волновало, что Ногай ходит в рваных ботинках. Ногай снял весь подпольный Соломою фильм от начала до конца. Во время работы он не раз выдерживал темпераментную Соломою критику, хотя изредка и сам впадал в транс, а Соломония и главная актриса, будущая Самикова мама, глядя на это взаимное словесное уничтожение, замирали от ужаса...

— Поздравляю тебя,— сказал Ногай и поцеловал Соломонию.— Соломой не дождался...

Его восхищенное и несколько смущенное лицо растрогало Соломонию до слез:

— Я думала, ты не придешь.

— Ну что ты, я не мог...

— Экспозиция не очень хорошая. Мы так спешили. Каждый день с утра и до одиннадцати ночи. Еле-еле успели.

— Очень все здорово! Очень! А я...— Ногай сделал многозначительную паузу.— Я уезжаю!

— Ну, ты давно собираешься,— не поверила Соломония.

— Да нет же! Я всерьез уезжаю.

— Куда?

— В Данаку.

Еще вчера вполне довольная Арта, видя реакцию публики и великое страдание Хома, сказала ему, что по желанию многочисленных трудящихся выставка будет работать постоянно. Она, Арта, получает беспереывные письма и звонки от самых разных людей, включая высокопоставленных, о необходимости создания музея Соломою. И, учитывая, что помещение приведено в порядок огромными трудами Хома и его команды, можно будет подумать сначала о постоянной экспозиции, а там... Тем более что на Тукоянской улице скоро будет готово новое роскошное здание, предназначенное по плану для районного выставочного зала. А здесь зданьце хоть и неплохое, но маленькое, как раз на одного художника...

У Хома от радости начинало учащенно биться сердце.

Но сегодня у Арты было совсем другое настроение. Позвонили из ЦК КПВТ. Передали, что начальник идеологического отдела Заяц приказал немедленно закрыть выставку.

— Почему? Почему?— спрашивал потрясенный Хом.— Ведь все было хорошо!

— Ты что, не видишь, что происходит?— сказала Арта.— Ты разве не знаешь, что Скифа сняли?

— Ну а мы тут при чем? При чем здесь батины скульптуры? Мы вообще не вмешиваемся в политику!

— Да-а,— протянула Арта,— непонятно, где ты все эти годы жил и воспитывался.

— Мы не будем закрываться!— решительно сказал Хом.

— Не дури, Хом!— жестко сказала Арта, рядовой дисциплинированный член.— Приказываю тебе выставку закрыть! Завтра сюда приедут люди из райкома, они привезут и развешат плакаты на тему «Здравствуй, ветер перемен!».

Увидев, как у Хома от горя потускнели глаза за очками и задрожали губы, Арта смягчилась.

— Сейчас сделаем так, а дальше посмотрим. Надо уметь ждать.

— Ни за что!— прошептал Хом.

— Не забывайте, пожалуйста,— твердо произнесла Арта, впервые обращаясь к Хому на «вы»,— вас еще не утвердили директором, и районный выставочный зал — это не ваша частная семейная лавочка!

Целый томительный год Хом и Соломония собирали бумажки. Кроме туковцев, бумажки писали иностранцы. И все писали на высочайшее имя. Супер-высочайшее имя было у Пятнышка. Хом тоже написал ему свое письмо. А Соломония сильно разочаровалась в Пятнышке. Особенно после его неумных слов о том, что его дедушка строил социализм и поэтому все остальные тоже обязаны его строить. Соломония написала не ему, а председателю культурного фонда, резиденция которого находилась во Втором Туке. Она целую неделю писала свое длинное послание симпатичному старику, пытающемуся отстаивать культурные ценности в великотуковском масштабе. Во время писания она проливали слезы и сопли, утирала лицо рукавом, бегала по квартире и сама для

себя произносила громкие речи. Но, когда донельзя грязное и мокрое письмо было закончено, она умылась, аккуратно перепечатала текст на машинке и вложила его в чистую папку вместе с зарубежными каталогами Соломоевых выставок. Затем она отвезла все это на вокзал прямо к поезду, чтобы с одной знакомой артисткой передать по адресу.

В это время зритель Кына Акын начала сочинять свою первую поэму...

В однодневном гареме присутствовали три женщины. Две совсем молодые и одна постарше. Три сразу среди Божьей благодати и одного мужчины. Кроме людей, в саду резвились всевозможные живые существа. По дорожке прыгала трясогузочка. Толстый поползень с пищей во рту полз вверх по сосне и старательно запихивал под кору свое добро. Подальше от воров. На одной яблоне разноцветные, среднего размера дятлы-супруги с большим терпением и смиреннием кормили огромного и капризного короткокрылого сына. Он шумел, злился, не желал закрывать бездонную пасть и грозился уасть с ветки.

Женщины бродили около султана и обожали его.

Здесь султан, бородатый человек в защитного цвета трусах и белой майке, полулежал в кресле-шезлонге среди высоких трав, яблоневых деревьев, несмолкаемого птичьего гомона и шиповника, цветущего малиновыми розами. Никогда больше в своей жизни, ни раньше, ни позже, не испытывал он такого жгучего, такого острого удовольствия!

Хотя все женщины были одетые!

Одеты легко по летнему времени. Он, конечно бы, предпочел, чтобы они ходили голые. Но и так было хорошо!

Поодаль в колясочке ворковал младенец в белом чепчике. Он беспрерывно повторял, как попугай: «Па-па, па-па, па-па».

Сегодня с утра его смуглая мать, одна из трех женщин, стирала в корыте, установленном на двух ветхих табуретках около младенческой коляски, и повторяла эти два слога. Стирая, она поглядывала, как младенец своей согнутой двупалой ручкой пытался взять игрушку. У него это не получалось. Его личико искажалось, синие глазищи наполнялись слезами, но через секунду он с кряхтением производил то же самое действие здоровой левой рукой. Овладев игрушкой, он сначала внимательно ее рассматривал, затем бросал из коляски вниз. Пока игрушка долетала до земли, младенец напряженно следил за ее падением. Мать терпеливо поднимала игрушку и, монотонно бубня: «Па-па, па-па, па-па», — клала ее обратно в коляску. Младенец уже ждал. Он даже начал плакать от нетерпения. Затем все немедленно повторялось: младенец пытался схватить игрушку правой рукой. После неудачи он, пыхтя и кряхтя от усилия, захватывал ее левой. И мгновенно кидал вниз. Его голова в чепчике тут же наклонялась над бортом коляски. В одно из таких мгновений он вдруг произнес необыкновенно четко: «Па-па!» Его мать обомлела от радости и, оставив корыто, побежала к бородатому султану.

— Он сказал! — прокричала она, захлебываясь. — Сказал свое первое слово! Он сказал: «Папа!»

Мужчина заулыбался. Стоящая в дверях женщина постарше, она же хозяйка, тоже заулыбалась. А третья, самая молодая, не улыбалась, потому что ее в этот момент еще не было. Она появилась позднее.

Ребенок громко заревел, требуя, чтобы мать подняла игрушку. Она помчалась к нему обратно. В наступившей тишине требовательный рев сменился ангельским щебетанием: «Па-па, па-па, па-па».

И так целый день.

Третья, юная, длинная и длинноволосая, прибыла к полудню. Она шла в яркой цветастой юбке, покачиваясь на бесконечно длинных ногах. За ней следовала примерно такого же вида и такой же походкой кошка из дворян. Кошку звали Серая-Предпоследняя. Здесь водилось много кошек-дворян. Они жили во дворах и были сыты.

А бездомные уходили в леса на разбой.



— Какая прелесть!— сказала длинная про младенца и тут же добавила:— Как жаль!

— Папа!— сказал младенец, пошевелив двумя пальчиками на правой ручке.

Матери младенца не понравилось, что она сказала «как жаль». Хозяйке тоже не понравилось. Султану очень нравились все четыре женщины, включая кошку.

Серая-Предпоследняя, встав на задние лапы, заглянула в коляску к младенцу. Тот с интересом на нее смотрел. Она понюхала его губы, затем полизала немного не обсохшее на них молоко.

— Папа! — удивленно сказал ей младенец, сначала заплакав, затем засмеявшись.

— Эй, ты что делаешь? — прикрикнул султан на кошку.— Иди ко мне!

Серая-Предпоследняя пошла не к нему, а в дом. Она встала около холодильника и нагло, по-плебейски, заголосила, как будто вовсе и не дворянка.

— Не шумите, ваше благородие, еды пока нет! — крикнула хозяйка из сада.— «Завтрак туриста» завезут после обеда!

Султан наслаждался, глядя, как все три женщины, а также четвертая, Серая-Предпоследняя, передвигаются, наклоняются, переговариваются. Он чувствовал, что две женщины, одна из которых его жена, а другая — мать его ребенка, не любят третью, в данный момент для него самую милую. Но пока еще эта неприязнь не носит опасного развития. Иногда при взгляде на младенца и на два его пальчика султана пронзала мгновенная, почти нестерпимая боль, и он даже издавал короткий стон. Однако он тут же брал себя в руки, предельно расслаблялся и подавлял свое горе, не позволяя ему разрастись до непоправимых бедственных размеров.

Теперь я знаю, что такое пастораль, думал султан. Вот оно, счастье земное воочию. Господь подарил мне этот сад и это женское начало в таком большом количестве. Я должен радоваться и благодарить судьбу за эту его милость. Хотя и велика плата за счастье, но и бесплатно ничего не бывает. Сегодня я целый день буду любоваться и наслаждаться, а завтра опять начну готовиться к смерти.

— Как зовут ребеночка? — спросила юная длинная.

— Мы называем его Махонькой,— сказал султан.

— Это Махоня! — сказала мать.

— Махонька-картошка,— сказала хозяйка.— А другое у него прозвище — Тюшка-Митюшка.— И она пропела, наклонившись над младенцем: — Тюшка-Митюшка, голова-два ушка!

— Как мило! — улыбнулась юная длинная.

«Кретинка!» — подумала про себя мать.

Она, конечно, очень хорошенькая, но до ужаса пошлая, и это раздражает, подумала хозяйка. Наверное, для гарема такие самые подходящие. Чем меньше мозгов у обитательниц, тем лучше для гарема!

Потом султан и длинная играли в бадминтон. Игра напоминала замедленное кино. У султана было еще много молодых черных волос, но слабое здоровье уже не позволяло ему играть в полную силу. Легкий волан медленно перелетал от него к ней и обратно. У обоих на лицах застыли глуповато-хитрые полуулыбочки. Султан был сильно кривоват покалеченным на войне лицом, но все равно красив. Он походил на лукавого, слегка утомленного сатира. Завитки его волос напоминали маленькие рожки.

Поодаль хозяйка и мать младенца играли в карты, сидя на освобожденных от корыта двух табуретках. Карточным столиком им служила табуреточка поменьше. Игра в «дурака» казалась необыкновенно увлекательной.

Прямо на траве пыхивал благородного темно-золотого цвета исправный самовар, найденный султаном на местной помойке, а затем любовно отмытый и очищенный хозяйкой. Рядом стояло старое мятое ведро с заготовленными щепочками. Из-за хорошего топлива самодельная труба не отравляла среду

ядовитым дымом. В раю часто отключали электричество, и самовар был необходим для жизни, а не только для модного пижонства.

Игра в карты двигалась к своему концу.

— Валет бубей! — сказала хозяйка.

— Ой какая радость! Прямо в масть! Туз! — воскликнула смуглая мать младенца.

— Валет козырной.

— А у меня дама козырная!

— Туз козырной! — Хозяйка торжествующе хлопнула карту на стол.

Этого мамаша не ожидала. Она протянула упавшим голосом:

— А у меня король козырной.

— А у меня туз! Вот если бы мы играли на деньги, я бы выиграла у тебя целое состояние. Ты уже девятый раз проигрываешь.

— А когда эта уедет? — спросила смуглая неприязненно.

— Уедет, уедет...

После игры в карты хозяйка сходила в сельпо и вернулась оттуда с добычей. Она принесла буханку хлеба неопределенного цвета и рыбные консервы для дворянки.

Обедали в саду. Из темной хаты выносили в сумасшедшей яркости сад еду и посуду. Младенец, накормленный молоком из бутылочки, притомился от долгой работы и заснул. Объевшаяся Серая-Предпоследняя уходила медленно, помахивая хвостом и всячески демонстрируя чужим лицом, что она здесь ни с кем не знакома.

В сумерках султан провожал длинную до калитки. Он делал это с сожалением.

Подошли обе женщины. Мать держала младенца на руках. Он только что проснулся, недомогал, хныкал, тер левым кулачком набухшие будущими зубами десны. Когда забывал о них, он улыбался на секунду и успевал шустро проговорить: «Па-па». Потом опять хныкал. От воспаленных десен у младенца поднялась температура. От него несло жаром, как от маленькой печечки.

Все смотрели на пыльную дорогу, по которой непривычной в здешних местах походкой манекенщицы шла юная длинная среди возвращающихся в город дачников.

Султан, улыбаясь своим недавним воспоминаниям и пользуясь остатками светлого времени, продолжил работу над деревянной загогулочкой из цикла «Мой гарем». Он не выдержал испытания отдыхом, хотя еще с утра твердо решил, что сегодняшний день целиком будет отдыхать.

Обе женщины попеременно таскали плачущего младенца на руках, качали его, слегка подбрасывали вверх и, как могли, песенками и прибаутками заговаривали ему рвущиеся наружу зубки.

Соломония никогда его не видела. Только слышала. Она ему завидовала. Она восхищалась его здоровьем.

Вот уже длительное время, возвращаясь в темноте из подвала или из музея и втянув голову в плечи от сырости и холода, перед тем как нажать кнопки кода на двери своего дома, она мельком смотрела налево и убеждалась, что все на месте. Она нарочно не торопилась открывать дверь, потому что внимательно прислушивалась. Из-за чахлах кустиков, растущих за низеньким деревянным заборчиком, отделявшим тротуар от узкого дворового газона, раздавались мирные звуки. Кто-то ровно и безмятежно храпел. От спящего исходила легкая вонь, смягченная холодным воздухом и оттого вполне выносимая.

Снаружи кусты прикрывались большими кусками распрямленных картонных коробок. То старание, с каким человек каждый вечер сооружал себе бумажный ночлежный дом, вызывало уважение. С утра куски картона исчезали, но вечером неизменно появлялись снова. С неба лил скучный и безжалостный осенний дождь. Злобный ледяной ветер вышибал душу. Топчась на пороге своего безликого многоэтажного и многоквартирного жилища, Соломония внимательно слушала чужой уютный храп, стыла в теплой одежде и рвалась поско-

рее к себе в постель, чтобы затем, терзаясь бессонницей и опустошительными дискуссиями с НЛЮ, до слез завидовать вонючему бомжу из-за его физической выносливости и отсутствия комплекса неполноценности.

А вот кинодокументалист Дурнай тоже стал почти бомжем, но от этого умер.

Фильм о Соломее был готов, но его все никак не удавалось показать зрителям. Наконец сценаристка Колеса договорилась о просмотре в Доме кино. Все знали об этом за месяц заранее и готовились. И вдруг в день премьеры Дурнай вместе с фильмом исчез!

После некоторых размышлений и вычислений Хом и Башкат отыскали его в одной привокзальной гостинице. Отсюда Дурнай, когда вязал лыко, звонил изредка своим знакомым.

Хому помогло удостоверение районного исполкома. Он был не Бог весть какое начальство, но как директор муниципального музея входил в местную номенклатуру и потому имел документ.

Дверь в комнату Дурная была заперта. Никто не отзывался и не откликался на стуки и крики. Удостоверение помогло. Администрация прислала двоих на помощь: поддатого слесаря с инструментом и внутреннего омовца. Маленьким домкратиком товарищ слесарь вскрыл комнату мгновенно и профессионально. Омовец вошел первым. Он приблизился к неподвижному Дурнаеву телу и поднял у него на одном глазу веко. Убедившись, что постоялец сильно пьян, но вполне жив, он кивнул слесарю, и оба удалились, не произнеся ни единого слова.

Хом и Башкат с трудом помещались в крошечной смрадной комнатенке. Они стояли над казенной кроватью больничного вида с серо-желтым постельным бельем. В кровати лежал абсолютно голый человек, залитый собственной мочой и блевотиной. Если бы не гадостное в данный момент состояние, это был бы вполне приятный длиннородый дяденька с очень доброжелательным лицом и трогательной лысиной среди лохматых остатков волос. Он открыл глаза и умильно взирал на обоих раздосадованных мужчин.

Башкат сильно переживал. Он страдальчески воскликнул:

— Как тебе не стыдно, Дурнайчик?! О чем ты думаешь? О каком кино речь? Никакого кино не надо! Тебя нужно поставить на сцену, и все! Вот это будет кино! Все будут потрясены!

— Дурнай, твою мать! Ну скажи, пожалуйста, где кино? — вопрошал Хом, который в принципе матерился крайне редко. — Ты же знаешь, что сегодня просмотр!

Дурнай приоткрыл рот, но тут же его закрыл.

— У меня растворимый кофе с собой, — сказал Хом Башкату, — давай его отпаивать.

Кофе развели горячей хлорной водой из-под крана. Дурнай послушно пил и мычал что-то потустороннее. Вся конура была завалена водочными бутылками, и страшно было на них наступить.

— Говори, где кино! — потребовал Хом.

После кофе Дурнай почти вышел из обморока и даже сел.

— Дурнайчик! — умоляюще попросил Башкат. — Где фильм? У кого он? Соломония очень нервничает!

— Фильм там, — мечтательно проговорил Дурнай.

— Где?

— У нее.

— У кого?

— У нее. У Соломонии. К ней и обращайтесь.

— Ты что, издеваешься над нами? — сказал Хом.

— Сейчас я вам все скажу, — пробормотал Дурнай и зажмурился.

Хом и Башкат мгновенно замолкли. Дурнай театрально развел тоненькими ручками и произнес торжественно:

— Раз! Два! Три!

— Ну какой же ты засранец, Дурнай! — рассердился Хом.

— Бесплезно с ним разговаривать,— сказал донельзя расстроенный Башкат.

Дурнай помрачнел от этих слов, но через секунду радостная гримаса озарила его физиономию:

— Хом, Башкат! Я вам все скажу. Там, на вокзале, очень крутые ребята, но меня они уважают...

И впал в прострацию.

Дурнай запил после того, как его бросила жена в городе Сторове, откуда они с Башкатом прибыли в столицу. До этого она целых десять лет держала его в руках, и он не пил ни капли. Именно это и насторожило Соломонию, когда она увидела, как он не пьет. Так тщательно не пить могут только хронические алкоголики! Они сидят за столом среди всеобщего застолья, и у них при этом особый напряженный и заинтересованный взгляд. Соломония испугалась немного, но как женщина, не то чтобы чересчур глупая, но доверчивая и беспечная, отвела от себя неприятные мысли. За это она в скором времени поплатилась.

Напористая, энергичная сценаристка Колеся искала режиссера. Ей хотелось обязательно великого. Все великие были заняты. Или Колеся им не подходила. А пока она искала, режиссер Дурнай из города Сторова с местной студии документальных фильмов бомбардировал ее письмами о том, что он прочел ее сценарий, считает его великолепным и жаждет сделать по нему кино.

Колеся в период безуспешных поисков великого режиссера рассказала Соломонии о страстном желании Дурная из Сторова.

— Так пусть и сделает! — сказала Соломония.— Раз у человека есть огромное желание, он будет работать с удовольствием. Он будет стараться, а мы ему поможем. Но только хотелось бы поглядеть на то, что он уже сделал.

— Это можно,— согласилась Колеся.— Вся съемочная группа сейчас в столице. В воскресенье у них просмотр в Доме кино.

Это был фильм о давно умершем туковском писателе Климентии. В своих романах он писал, как создавалась и укреплялась всеобщая туковская мусорная жизнь. Он писал так, что всех обитателей великого грязного государства было жалко. И не только человеческих жертв вместе с палачами. Жалко было также полезно-вредных насекомых, растения, животных. И вообще всю землю целиком — и солнце, и воду, и воздух. И космос тоже было жалко. За эту неразборчивую жалость ко всему на свете и злостную классовую безыдейность начальники считали Климентия недостойным и презренным юродивым. Они не уничтожили его только по недосмотру и лени. Но предали забвению. Они сознательно забыли о нем, зная по опыту, что он сам по себе от собственного прозябания растворится в ничто. Они правильно рассчитали. Климентий незаметно помер в нищете и убожестве. Он умер за два года до смерти главного тирана! Он не успел вкусить оттепели.

Сочинения Климентия постепенно выползали из небытия. Некоторые слишком чувствительные и нервные туковские читатели, поглощая ни на что не похожие строки, испытывали горечь и наслаждение одновременно. Соломония как раз была из таких трепетных потребителей этого грандиозного искусства. Она не просто любила, она боготворила романиста Климентия. Она часто рассматривала на фотографии его сверхобыкновенное лицо и любила его еще больше именно за эту обыкновенность. Она была уверена, что в предельной скромности его облика скрыта хитрая тайна. У некоторых людей на лице написано, что они сверхчеловеки и суперличности, но только не у Климентия. Наверное, он был пришелец из другого мира и его специально замаскировали под ординарного дурковатого туковца. Соломония не верила в его смерть. Она читала его огромные, запрещенные при жизни произведения об уникальном строительстве туковского рая и уже в начале чтения страдала, что придет момент, когда книга закончится, а вместе с ней и неповторимое счастье соприкос-

новения с чужим бесконечным даром. Безразмерное литературное переплетение вечной красоты и любви попеременно с рутинным зверством и повседневной кровавой мерзостью вселяло в Соломонию болезненный восторг до сердцебиения. У Клементия не было смерти. Смерть в его искусстве была жизнь, жизнь — смерть, а...

Дурнаево кино о Климентии оказалось вполне добротным и профессиональным. После знакомства с другими его фильмами стало ясно, что Дурнай умел делать хорошие, познавательные, но не потрясающие документальные фильмы. В фильме о Климентии грешно было требовать от Дурная выдавать продукцию, равную по силе и таланту герою этого кинопроизведения. Но кино было интересным и полезным хотя бы потому, что в нем показали живую вдову, незапоминающуюся старую женщину. И было интересно думать о том, как Климентий с ней жил. И говорилось, как умер его сын, посаженный в тюрьму за стихи... Еще в этом кино выступали коллеги-писатели. Они говорили, говорили, поучали... В книгах своих Климентий мало говорил, все больше показывал, а главное — никого ничему не учил.

Впервые в жизни Соломонии понравилась музыка. Это было удивительно, ибо она всегда терпеть не могла, просто ненавидела киномузыку во многих фильмах и почти зажимала уши, когда музыка начинала звучать. И даже замечательный композитор Титке часто выдавал в кино музыкальную халтуру.

Соломонии было особенно приятно, что ей понравилась музыка и можно было выразить непритворное восхищение композитору Башкату и музыканту Пекару с его ансамблем.

Поначалу, когда Дурнай начал снимать кино про Соломою, все было так хорошо. Ему негде было жить в столице, и сердобольная Соломония поселила его в мастерской. Именно тогда она обратила внимание на то, как старательно Дурнай не пьет спиртное. Она сразу же насторожилась. Но никаких мер она не приняла. А когда приняла, было уже поздно. Медная «Девушка с хулахупом» была покалечена.

Незадолго до окончания фильма у Соломонии дома собралась одна компания. Соломония, человек непьющий, всегда чувствовала себя тупо от посиделок с не очень близкими пьющими знакомыми. Присутствовал также старинный приятель, артист Веник, туковская кинозвезда, который по приглашению Дурная читал в кино Соломоевы стихотворения. Соломония с ужасом смотрела, как Дурнай развязал свой запой и отправляет стакан за стаканом в заросший бородой рот. При этом он выкрикивает цифры, а артист Веник его подначивает.

В самом разгаре всех этих мрачных мыслей Соломонии Дурнай встал и, всплеснув руками, громко крикнул:

— Сорок восемь!

Веник очень обрадовался и тут же ответил:

— Шестьдесят шесть!

— Семнадцать! — парировал Дурнай.

— Тридцать четыре! — ликовал Веник.

Собравшиеся веселились изо всех сил. Особенно знакомая Веника, какая-то иностранка. Ей для экзотики как раз не хватало пьяного туковского безобразия.

Соломония сидела и горевала. А главное — боялась. Дурнай поедет спать в подвал, и что же он там может натворить. Но эгоизм и лень ее настолько распостранялись, что ей ни в коем случае не хотелось, чтобы Дурнай ночевал у нее в доме. До ужаса не хотелось ей на него пьяного смотреть и с ним возиться!

Накричавшись чисел, Веник с Дурнаем, обнявшись, направились в другую комнату.

— Тридцать три! — благодарно шелестел Дурнай, кладя голову Венику на плечо.

— Двенадцать! — ласково шептал Веник ему в ухо.

Он свалил Дурная на диван и прикрыл его щуплое тельце выцветшим байковым одеялом, на котором Соломония гладила белье.

— Проспитесь, — сказал Веник, — и все будет хорошо.

— Нет, — обреченно покачала головой Соломония, — ничего хорошего не будет, потому что он алкаш! Надо Богу молиться, чтобы он закончил фильм!

— Ты так думаешь? — посочувствовал Веник. — Жаль! Я с ним работал, он вполне приятный мужик.

Как ни странно, но на этот раз Дурнай довольно быстренько проспался и пришел в себя. И было видно, как ему стыдно.

Соломонии показалось, что все обойдется. Она ведь видела его в таком состоянии впервые.

— Вы там, в мастерской, ничего не погромите? — спросила она.

— Ну что вы! — сказал Дурнай, не поднимая глаз. — Извините. — И добавил, помолчав: — Меня жена бросила.

— Понятно, — сказала Соломония.

Если бы не Башкат, кино никогда бы не закончили. Он следил за каждым шагом Дурная, поэтому тот пил в основном не до работы, а после нее. Худобедно кино докончили. И тут Дурнай разгулялся. Башкат ослабил контроль, а жена к нему, пьянице, не вернулась. Во время очередного гудения в подвале он уронил со станка скульптуру «Хулахуп» и поломал ее! А весь под заблевал!

Просмотр все-таки состоялся. Сценаристка Колеся сотворила чудо и фильм добыла. Копию привезли на самолете со студии из города Сторова к самому началу просмотра.

С утра Соломония вместе с Ганей Шумером и Толстонольдиком развешивали в фойе Дома кино фотографии Соломоновых скульптур, ксероксы его текстов и рисунков. Об этом очень просил Башкат. Он хотел развернуть настоящую выставку, но Соломония и Хом ни за что на это не согласились. В этом фойе имелся большой буфет. И совсем не хотелось, чтобы публика, поглощенная жеванием бутербродов и пирожных, рассеянно кидала праздные взгляды на шедевры. Если кому интересно, тот и до музея доедет. Благо от метро пять минут пешком!

Набил полный зал народу. Отвратительные толстые контролёрши отшивали от дверей не имеющих пригласительных билетов, в основном студентов. А Соломония, Хом с Чернушечкой, Колеся, артист Веник и подруга-актриса Дуня Стрекозова только и делали, что вступали в битву за каждого посетителя, утверждая, что тот прибыл по специальному приглашению.

Мгновенно раскупили все сборники Соломоновых стихов. Хом с Чернушечкой пожалели, что привезли из музея всего четыре пачки.

В первом отделении Башкат и ансамбль Пекаря исполнили фрагменты из «Соломой-мистерии». Публика прослушала музыку благосклонно, даже похлопала, хотя чувствовалось, что не все еще привыкли к таким звукам.

После антракта показали кино. Это было непфильмо кино, но самым лучшим в нем оказались фрагменты из Соломонова фильма, где он в своей рваной рабочей одежде бродил то по подвалу, то по деревенскому саду, то по кладбищу. Ногай все это художественно снял. И бесподобно звучала музыка Башката. Публика окончательно растрогалась. Ей кино понравилось. В конце вечера выступили друг-академик, Колеся, Башкат. Потом Дуня Стрекозова и Веник.

И вдруг появляется на сцене заросшая волосами фигурка, одетая в блестящий стального цвета костюм и ярчайший свекольно-полосатый галстук. Сам создатель кинофильма пожаловал собственной персоной! Публика знала, что режиссер Дурнай существует, это было в титрах написано. А тут и живьем его увидела. И слышала!

Соломония удивилась, что он все еще не пропил свой роскошный костюм.

Дурнай раскрывал рот и что-то произносил. Он делал вид, что трезвый. И, хотя стоял на ногах, почти не качаясь, все равно никто ничего не понял из его

мутного словоизвержения. Хорошо, что он выступал последним и никому не успел испортить настроение. Зрители потихонечку потянулись к выходу.

Соломония не удержалась и сказала Дурную с упреком:

— Эх ты! Что же ты свой собственный фильм потерял!

Она тут же пожалела об этом. У Дурная было невыразимо несчастное лицо.

Сама Соломония так и не набралась духу забрать у Дурная ключи. Но, когда это сделал Хом, все обрадовались. Даже Дурная обрадовался. Он сказал, что закодировался от запоев и теперь будет нормальным человеком. Иногда он звонил Соломонии и пытался разговаривать с ней трезвым голосом. Таким образом он почти убедил ее, что не пьет. Ее-то он убедил, но только не Башката!

— Это он умеет,— сказал Башкат.— Скоро вы сами увидите, он умеет притворяться!

— Он разговаривает вполне разумно,— сказала Соломония.

— Это с вами так. Он напрягается, и у него получается ненадолго кое-кого обмануть.

— А ты знаешь, что он снял квартиру на окраине?

— Знаю,— сказал Башкат.— Он там пьет по-страшному! Такой кошмар! К телефону не подходит. Он всем дал мой телефон, и теперь люди звонят беспрерывно. Он договорился с одной фирмой, что она покупает наш фильм. Ему дают полтора миллиона на новую работу! Он всем наобещал, а звонят мне!

— А как его родня?

— Ой! Что вы! Его жена выходит замуж за наргемца и собирается уезжать. А он хочет ехать за ней.

— Кому же он там нужен? — со вздохом сказала Соломония.

— Конечно, никому! Я ему говорил: «Не выдумывай, Дурнайчик!» — но это же бесполезно!

Фильм занял призовое место на фестивале неигрового кино.

На этом все было кончено. В прокат он не попал. По телевидению его не показали. Колеся делала другое кино и была полностью им поглощена. Хом иногда показывал видеокопию в музее. Постепенно все стали жить дальше и заниматься своими делами. Новый режиссер, совсем молодой парень, пришел с телевидения и сказал, что хочет снимать фильм про Соломою. Он прочел его МИФ в журнале «Стяг» и сразу же захотел сделать телефильм. Соломония не возражала, и все начали готовиться.

Интересно было наблюдать, как сильно изменилась жизнь в демократической Тукии. Раньше была цензура, не печатали, замалчивали, давили, травили и не пускали. А теперь элементарно денег не было. За деньги можно было делать все! Но денег катастрофически не хватало. Свободное существование стоило не только напряжения всех сил, но и огромных денег!

О том, как Дурная умер, рассказал его оператор из Сторова. Он и старший сын Дурная приехали забирать тело для похорон на родине.

В тот день Дурная начал пьянствовать у себя в квартире на окраине. Сначала пил с собутыльниками. Когда они его покинули, он продолжал в одиночестве. Непонятно, по какой надобности он выскочил на лестницу без пальто, без шапки, а главное, без ключа. Дверь захлопнулась! Дурная потыкался в собственную дверь. Потом смирился, уселся на лестницу и тихо сидел, съезжившись.

В таком виде его застала соседка по лестничной клетке. Несмотря на опьянение, он все-таки упросил соседку пустить его к ней в квартиру позвонить. Он долго крутил телефонный диск, но так никуда и не дозволился. Соседка знала его как злого алкоголика, поэтому рада была, что он наконец покинул ее квартиру. Он снова уселся на лестнице. Дело шло к ночи, становилось все холодней. Дурная все сидел на том же самом месте. Но с рассветом ранние обитатели дома его там не обнаружили.

По версии полиции, покинув дом, Дурнай долго шел по шоссе, пока не свалился в кювет, где и замерз до смерти. Его нашел один водитель грузовика. Записали, что смерть наступила от переохлаждения организма.

Потом Башкат рассказал, что врачаха «скорой помощи» считала, что Дурная убили,— она обнаружила у него ссадины на лице, ушибы на голове...

А потом все забыли про Дурная.

Как только все улеглось после невообразимо далекого первого путча, скульптор Сиз привез наконец из Второго Тука готовый памятник погибшим в Усульмании водногрязцам. Еще издали, пытаясь заглянуть в огромный грузовик, Соломония и Чернушечка увидели части памятника странного цвета.

— Ой! — разочарованно проговорила Чернушечка. — Почему он такой зеленый? Не похоже на бронзу.

Соломонии тоже не понравилась поверхность, но она уже была подготовлена. Влияние иностранного ваятеля Бура на отечественную скульптуру оказалось налицо.

Место для памятника находилось в многолюдном сквере, как раз на середине пути от метро к музею. Сейчас здесь зиял огромный, залитый дождевой водой котлован, ожидающий укладки базальтовых плит и гранитных блоков для надписей. В центре котлована выделялся готовый цементный фундамент под три четырехметровые бронзовые фигуры.

Сиз изо всех сил пытался убедить Соломонию:

— Как здорово у Бура! Я подумал, что надо оживить бронзу. Сделать ее немного повеселей, не такой официальной и мертвой!

Сгруженные на землю многотонные фигуры со склоненными головами и крестом в груди у каждой возвышались на земле тремя зелеными глыбами.

— Я тебя понимаю,— сказала Соломония,— ты хотел как лучше. Но то, что у заграничного Бура хорошо, у нас не получается. Ты хотел оживить, а, по моему, получилось более мертво. Стало похоже на крашеную фанеру! Исчез металл, его естественный благородный цвет. Я думаю, что не надо скорбные скульптуры делать повеселее.

— Но вы же помните, как у Бура красиво, как драгоценный камень! Как будто это и не бронза вовсе, а малахит!

— Я помню. На выставке Бура в большинстве были показаны интерьерные вещи. Все они полированные и пропитаны специальными составами. А у нас ничего подобного не получилось. Фигуры просто покрашены похабной зеленой краской! И выглядят не как бронзовая скульптура, а как папье-маше! Памятник сам по себе со временем будет потихонечку зеленеть от атмосферных изменений. Но это будет совсем другая зелень! А так нельзя оставлять. Прости меня, Сиз, но надо эту ядовитую краску отскребать!

Хом стоял рядом и возмущался по другому поводу:

— Ничего не сделали дорожники! Яма залита водой, плиты не уложены! Все сроки нарушены! А еще просят дополнительных денег! Скажу усульманцам, чтобы больше ни копейки им не платили!

— Надо, чтобы памятник был бронзовый, а не зеленый,— сказала Чернушечка.

Подходили любопытные и спрашивали:

— А что здесь такое будет?

— Памятник погибшим усульманцам!

— А зачем это?

— Как это зачем? — сурово сказала Соломония.— Детей наших послали на бойню в чужую страну! Теперь их товарищи ставят им памятник за свои деньги.

Судя по сдержанной реакции спрашивающего, непонятно было, удовлетворяет его такой ответ или нет.

Соломония продолжала говорить Сизу:

— Сиз, ты же профессионал! Ты же сам все видишь и понимаешь. Это Бур тебе голову задурил!



— Я так и знал,— со вздохом сказал Сиз.— Я знал, что вам не понравится.

— Но мне все нравится, кроме цвета! — возразила Соломония.— Все отлично. Отливки хорошие, а с поверхностью надо поработать, довести ее до ума...

Три года назад ветераны-усульманцы посетили музей Соломоя. Это были молодые ребята рабочего вида. Среди них оказалось двое хромых и один с обожженным лицом. Некоторые пришли со своими приземистыми ярко покрашенными девушками. Чувствовалось, что в музее ребята ходят нечасто. Чернушечка провела экскурсию. И хотя усульманцам было интересно на все посмотреть, никто не предполагал, что они захотят ставить памятник такого необычного и нетрадиционного вида. Соломой сделал модель двадцать лет назад, не по заказу, а потому, что, как обычно, идея его распирала и он мог от нее освободиться только после ее материального воплощения. Он назвал эти три стоящие человеческие фигуры, образующие открытый с передней стороны треугольник, «Памятник оставшимся без погребения». Несмотря на всю условность изображения, никто не сомневался, что фигуры женские. Между тремя стоящими строго вертикальными формами существовало внутреннее напряженное взаимодействие. Боль и скорбь были тихими, но очень сильными.

Скульптура нравилась многим людям, но до установки дело не доходило из-за нестандартной формы и грандиозности мероприятия. С искусством Соломоя всегда так было. Он все делал вроде бы только для себя, а выходило для людей, но с большим перерывом во времени. Даже памятники, установленные в Наргемии при помощи Ларка Айма и других наргемцев, появились как модели у Соломоя в подвале за десять лет и более до их осуществления в натуральную величину.

Музейные работники не ожидали, что усульманцам что-то понравится. И они удивились. Казалось, что этот музей и все, что в нем показывается, не совсем во вкусе воинов-усульманцев. И вообще их учили другому искусству, а такое полагалось ругать. Но один хромой парень неожиданно сказал, глядя на «Памятник оставшимся без погребения»: «Это нашим матерям».

Соломонии было очень приятно такое услышать. За многие десятилетия официального охаивания она сама почти уверовала, что простому туковцу недоступно не совпадающее с начальством мнение в области изящных искусств.

После экскурсии прошло стихийное совещание с усульманцами прямо в музее в кабинете у Хома. Люди немного оправились от увиденного и стали возвращаться к привычному образу мышления.

— Хорошо бы к такому памятнику еще прибавить мраморную каску!

— И обязательно нужно положить автомат!

— Да не нужна каска! На все памятники каски кладут. Зачем она? Надо бронезилет!

— И плащ-палатку!

И мешок с картошкой, про себя подумала Соломония. В граните!

После таких разговоров казалось, что никакого памятника поставить не удастся.

— Саперную лопатку тоже не мешало бы! — продолжали усульманцы.— А то везде на всех памятниках только каски, оружие, а лопатки нет!

Хом попытался мягко объяснить:

— Понимаете, этот памятник — уже законченное произведение искусства. Его можно или принимать, или нет. А добавлять что-то или убавлять невозможно. Можно добавить только надписи на отдельных камнях.

На лицах усульманцев появились сомнения. Расстались очень дружески, но без уверенности, что идея будет воплощена в жизнь.

Позднее Хом несколько раз побывал в ветеранском клубе на собраниях по поводу памятника. Там никак не могли прийти к согласию о том, ставить такой памятник или же лучше извять бронзового десантника с автоматом наперевес, в тельняшке и со звездой на берете. Хому наконец это надоело. И в тот момент, когда он почти решил, что ребята не знают сами, чего хотят, и поэтому можно к ним больше не ходить, его посетили два усульманца — Дашир и Антох.

— Мы решили,— сказал Дашир,— будем ставить этот и все!

— А то мы никогда не поставим,— сказал Антох,— всегда будет базар и обсуждение.

— Правильно,— согласился Хом,— пора уже выбрать и что-то делать, а то можно еще очень долго митинговать по этому поводу! Мы с Соломонией решили, что не возьмем с вас денег как гонорар. Если батя в Наргемии ставил бесплатно, то вам уж тем более...

— Спасибо,— с пониманием сказал Дашир.

— Мы примем тебя в наш ветеранский клуб! — пообещал Антох.

— Но я не был на войне. И в армии не служил!

— А мы тебя примем в почетные члены!

— Но и без гонорара памятник поставить — дорогое дело!

— Мы знаем. У нас деньги есть.

— Придется платить архитектору, скульптору за увеличение... А еще бронзовое литье, каменные работы: площадка, надписи, транспорт, установка...

— Мы готовы, Хом!

За этот год не раз казалось, что Хома, закончившего строительство площадки и организовавшего установку скульптур, придется похоронить под этим памятником и сделать об этом специальную надпись. Никто, кроме него, не мог бы совершить такой подвиг.

Сиз был единственным, кто нормально и в срок делал свое дело. Рабочий класс из дорожного стройуправления совершал иногда кое-какие действия навалом, нахрапом и штурмом.

Из-за всей этой канители Сиз проторчал в столице почти десять дней вместо двух суток, как это предполагалось вначале. Устанавливать скульптуры приходилось на маленьком пятачке фундамента среди непролазной грязи. Усильманец Антох был опечален тем, что памятник увидят все кому не лень раньше времени.

— Я-то думал, во время открытия торжественно сдернем покрывало — и все увидят...

— Все так и будет, Антох,— успокоила его Соломония.— Главное — установить бронзы. Потом над поверхностью поработать — вот эту зелень ободрать! И можно обшить досками, пока будут заканчивать площадку. А уже перед самым открытием завернуть парашютом. Не можем мы ждать, чтобы сначала сделали площадку, а потом устанавливать скульптуру! Конечно, по правилам надо делать именно так — сначала площадка, потом скульптуры. Но у нас это невозможно! Ты же видишь, как они работают! Сиз свое дело сделал, а они нет! Нельзя оставлять скульптуры все это время валяться в грязи.

Соломония тихо попросила Сиза:

— Я тебя умоляю, Сизифыч, не уезжай, пока не установим! Ты же видишь, какие тут малахольные исполнители. Если ты уедешь, они не поставят! А если и поставят, то вкривь и вкось!

Неожиданно Хом встал с камня, на котором сидел посреди грязной лужи, и сказал решительно, обращаясь к инженеру:

— Поехали! Постараемся поймать кран на улице!

— А платить кто будет? — заволновался инженер.

— Заплатим! — пообещал Антох.

Хом посадил инженера в свою машину, и они направились на поиски. Через полтора часа они вернулись. Кран с крупным названием «Туковец» на желтом борту медленно полз вслед за красной машиной Хома.

Работяги не спеша встали, сплевывая окурки. Хом, наоборот, немедленно закурил, как только вылез из своей машины.

Вкалывали очень резко, ибо настал час штурма. Несмотря на досаду, Соломония любовалась, глядя на Сиза. Работа благодаря его толковым распоряжениям и экономным, почти изящным телодвижениям при минимуме мускульных усилий напоминала современный балет. Хом в своих здоровых очках топ-

тался тут же, пытаясь помогать. Соломония только вскрикивала иногда в ужасе:

— Хом, уйди! Сейчас тебя пришибет!

Чернушечка тоже выкрикивала:

— Хом! Хом!

К счастью, никого не убило и не покалечило. Вертикали выставлялись все точнее, зеленые бронзы с каждой минутой становились прямее и стройнее. Флегматичный инженер оказался замечательным исполнителем.

Подошел злой мужчина.

— Это кому такой страшный памятник?

— Это нашим убитым,— сказал Антох.

— А кто вы такие?

— Усульманцы.

— Лучше бы вы усульманцам все давали, чем это вот ставить, деньги тратить!

— Ладно, дядя, мы сами решим, куда нам деньги девать!

Антох начал багроветь и смотреть на мужчину не по-доброму.

— Отойдите, пожалуйста,— сказал Хом,— человек на войне контуженный, не надо его раздражать.

— Я налогоплательщик...

— Это наши деньги! — срываясь на визг, гаркнул Антох, и губы его побелели.

— Уйдите от греха ради Бога! — сказала Соломония.

— Иди отсюда, налогоплательщик! — диким голосом заорал Антох. И казалось, что сейчас его хватит удар.

Мужчина наконец испугался и, озираясь, быстро пошел прочь.

Все сразу заговорили:

— Тихо, тихо, Антох, спокойно! Береги свое здоровье!

— Это только начало,— сказала Соломония,— мы еще много наслушаемся. Надо привыкать и закаляться!

Антох, сидя на чахлой траве, угрюмо молчал. Нежаркое солнышко грело его несчастную раненую голову.

Соломония вспомнила подобные приступы гнева у инвалида войны Соломоя.

— Надо побыстрее досками обшивать,— сказал Хом,— а то здесь начнут митинги устраивать.

Кто-то крикнул из толпы:

— Вон в центре памятники разрушают, а вы ставите!

— А мы ставим! — крикнула в ответ Соломония.— Нельзя все время только разрушать!

— Ну хоть бы красивое что поставили, а это...

— Вот закончим, и будет красиво!

И все-таки Соломонии показалось, что в поведении толпы не было однозначной и монолитной уверенности в том, что происходящее здесь совсем уж плохо и никуда не годится. Чувствовались двойственность и сомнение.

— А памятник не вот этого, которого музей тут вот у нас? — громко спросила, подойдя поближе, худая женщина из толпы.

— Этого,— сказала Соломония.

Толпа загудела, и Соломония отметила в этом гудении едва заметное одобрение.

*(Окончание следует.)*



Денис ВИНОГРАДОВ

---

## Сквозь вербную лестницу...

\* \* \*

Зубная боль: в потемках наций  
Добраться до крестов оваций  
От самых рыхлых берегов —  
В родную сень цветка Альков

Тоска и смерть в колосьях, струнах  
Гранит на дне бокалов юных

В переоценке кандалов  
В случайном гриппе бездорожья  
Я из задушенных узлов  
Сооружу земные вожжи

И пьян картечью мелких птах  
Взойду на новые ходули  
Чтоб у шлагбаума в кустах  
Не получить *земную* пулю

\* \* \*

Сквозь век полусухие арфы  
Кузнечик сумерек звенит —  
Топографической картой  
Ветвей исполненный зенит.

И в шуме золотистой жажды  
И в междуречье диких ив  
Я вечерю, словно дважды  
Ребенку брошенный призыв:

«Пора домой!» — какая сладость  
В смиренности огненном брести  
Единосушного тумана  
От сонма орошенных птиц —  
Белесых мыслей, что так рано  
Тебя настигли... Кликнет мама —  
В перетекающей горсти  
Поляны скрипнет дикий кладезь...

### Традиционалисты

В созерцании истин простых  
Серым отсветом той лихорадки  
Что, боясь, наводила мосты  
Как орудия сложной закладки

От вагонов цветных и глухих  
Однотонной длины и объема  
Вы не встретили мыслей таких  
Что легки, как рассветная дрема

Укрепляя колеблемый стих  
Словно бешеный *skate* под ногами  
Вы проехали царство глухих  
Но остались в немеющей раме

\* \* \*

Каминный орган затихает  
Вечерний комар не звенит  
Глаголы и воды спрягает  
Природы прозрачный пиит

И зерна, что сыплет отшельник  
В душистом и рваном тряпье  
Он перемолотит как мельник  
На порох в холодном стихе

И осень шальными власами  
Застынет на овних холмах  
Зардеет последнее пламя —  
Дубравой проходит монах

И стих, подо льдом проплывая,  
Дождется руки рыбака  
И — взрывом ловца ослепляя —  
Покажет речные трамваи  
Меж рыб, проплывающих зря

И вот — на безлиственном склоне  
Почти над пучиной греха —  
Растает в сереющем звоне  
Где, скрытная, бродит река

И, шупая новые очи,  
От лунки отступит рыбак  
В дубраве поэт захохочет  
Иль станет под снежный фонарь

А далее, словно опричник  
Прозрачных смертей и ланит  
Поэт — бестелесный язычник —  
Течением ниже стоит

Отшельник падет на колени  
Нашупав червленую нить  
И желуди в четки гонений  
Нанижет над ворохом тлений  
И сможет размер сочинить

\* \* \*

Господи, *какое* спасибо Тебе —  
Не выразить ни в словах, ни в батогах...  
Господи, слава Тебе!—  
Глаголет беличий страх

От юркого страха — к спокойной земле,  
К взрыхленной луне полосы  
Где гибнут часы на старинном стебле  
Читая Твои Часы

Господи, как же не испугаться  
Воска, что может сказаться  
Фанерной вощеной змеей?..

Сквозь вербную лестницу каплет гривенник  
Меж лиственниц, как осенний ботинок  
Печальный ждет пережной

Господи, Твой озноб, Твои банные стрелы  
Не имеют основ или пламени свеч пределы —  
То не наши стальные грибы...

Возвращаемся с чистой гульбы  
И они как скользящие Геллы  
Тонут в зелени молотьбы

### *Грех*

Не знаю, что еще сказать —  
Молчанья сгорбленная нить  
Секунду проволокой казнить  
На полсекунды замолчать

Какой восторг вперяет крест  
В тяжелой раме облаков!  
Над головой несет Гефест  
Свое окно, не зная снов

Хромает трепетный витраж  
Чужих прогулок, где земля —  
Какой-то сумрачный плюмаж  
И ветер в поисках нуля

Гуляет в северных домах  
Документальной красотой  
Но все, что снится не впотьмах  
Коснется мокрою спиной

И испугает навсегда...  
Я в Город больше не пойду  
Пускай секутся провода  
Звенят секунды в темноту

Пусть зашнурована листва  
Осенних городских полян:  
В том парке — холод торжества  
Я ж только нищему подам

Средь диких шпал заметен ключ  
И неподвижен, и живуч  
Мальков и водорослей ртуть  
Пошлет вагон на третий путь

Струится насыпи песок  
В кольце болот не одинок  
Но, чуждой проволоки дрожь,  
Он замолчит, а ты умрешь



## Ольга Александровна

РАССКАЗ

Она искала его долго и настойчиво. Не найти его было нельзя: из-за него распалась их семья, перенесла столько болезней и страданий, что забыть, по чьей вине все это случилось, было бы так же безнравственно, как безнравственно поступил с ними этот черный человек. Он должен был бы давно умереть от старости, и она была уверена, что он отправился в ад много лет назад, но недавно узнала, что он все еще жив-здоров. Ему сейчас должно быть около восьмидесяти, но и ей уже шел седьмой десяток.

Что она сделает, когда найдет его? В ее поисках, в желании увидеть его уже есть почти болезненная одержимость. Ну, найдет, ну, встретится, ну, посмотрит в его подлые глаза, ну, скажет, что он негодяй, подлец, мерзавец. Найдутся ли у нее иные, более резкие слова? Если и найдутся, то натура ее не позволит их произнести, язык ее не привык к «черному» слову, ибо страшнее слова «черт» она не знала ничего с раннего детства и потому за всю долгую жизнь в скитаниях и лишениях никогда не произносила их. Хорошо, она найдет его, увидит, скажет ему все бранные слова, какие знает, выскажет всю свою боль, а дальше что? Что она сможет еще сделать? Неужели это и будет ее мстью, той страшной мстью, которую она мечтала обрушить на него? Тем беспощадным мечом, который сразит его? Если бы у нее было оружие, она убила бы его, она выстрелила бы ему сначала в ноги, чтобы он не смог бежать, потом в каждую руку, потом долго держала бы пистолет перед его глазами, чтобы он хорошо видел ее и ясно вспомнил, как уничтожил ее молодость, ее семью. Но оружия у нее не было, да если бы и было, она не смогла бы ничего сделать из того, что делала, когда мстила ему в своих мыслях.

Ей и ее мужу было по двадцать лет, когда их разлучили и отправили на долгие годы в дальние лагеря. Их родителей, его и ее отца и мать, тоже раскидали по свету, пятилетнего брата Вовочку определили в детский дом, где дали другую фамилию, а сменив фамилию, он словно сменил и душу, и умер уже не Вовочка, а другой какой-то мальчик, отчужденный от своей родовой судьбы и исконного имени. Умерли и родители, разделенные расстояниями, в неведомых могилах лежат их исстрадавшиеся тела. Остались жить только она и он, когда-то молодые влюбленные юноша и девушка, которых разлучили наутро после свадьбы.

Ольга Александровна осталась одинокой, бесплодной на земле. Она дожила свой век в деревне у дальней родственницы, троюродной тетки, которая из жалости приютила ее, хотя и была непреклонна в своей уверенности, что не может быть не виноват человек, отгулявший по дальним землям столько лет. Так, старея, и жила Ольга Александровна в шестидесяти километрах от родной Москвы, найдя себе работу в местной школе учительницей начальных классов, нося фамилию исчезнувшего мужа Одоленского. Она не то чтобы забывала его, но с годами уже вспоминала без прежней сердечной тоски, хотя все еще порою физически ощущала на губах его первый поцелуй.

Ольга Александровна давно перестала его искать и ждать, смирившись с мыслью, что, возможно, его уже нет на белом свете.

Тетушка была бездетная, одинокая, как и Ольга Александровна, муж ее погиб в Отечественной войне. В сарае у них жили корова Артистка, кабанчик, называвшийся почему-то Одни-слезы, восемь кур и старый, потерявший один глаз в собачьих боях лохматый усталый пес Мишка.

Артистку доили по очереди. Один день Ольга Александровна, другой — тетка Настасья, однако корова отдавала предпочтение тетке, у нее руки были ловчее и слова, которые она приговаривала, звучали ласковее, хотя Ольга Александровна говорила то же самое и вроде бы тем же тоном. Кабанчик Одни-слезы часто болел или притворялся, что болеет, потому что во время недомогания, когда он расслабленно лежал в своем загоне, ему готовили специальную еду, повкуснее, пообильнее, и никакая хворь не мешала ему тут же вскочить на ноги и быстро управиться с тем, что ему принесли.

Артистка давала много молока, была корова породистая, сознательная: хватало сделать творог, сметану и самим побаловаться молочком. Парным. Ольга Александровна любила парное молоко, она верила, что от него прибавляется здоровье, становится больше сил и энергии. Еще недавно творог и сметану продавали дачникам, но последние два года дачников в деревне почему-то почти не стало, и приходилось ездить приторговывать в Москву.

Обычно занималась этим Ольга Александровна. С сумкой на колесиках она на рассвете отправлялась в путь и часа через три была уже в городе. Устраивалась она торговать на узкой улице у метро «Кузнецкий мост». Здесь было тесно, многолюдно, но торговля шла бойчее, чем где-нибудь в другом месте, да и публика тут была, ей казалось, побогаче. Правда, долго пробовали творог, жевали, будто конфету, но, если покупали, не торговались. Когда Ольга Александровна не имела опыта в такой торговле, она пыталась назначить цену подешевле, чем у других, для того, чтобы поскорее освободиться и пораньше отправиться домой, но покупатели, справив цену, попробовав творог или сметану, отходили, ничего не купив. Наконец опытные соседки, промышлявшие рядом своим товаром, разъяснили ей, что так делать не надо, что так скорее все равно не будет, покупатели люди недоверчивые, многие думают, что если дешевле, чем у других, то хуже. Но и подороже быстро не продашь, надо, как у всех, одна цена. И правда, так Ольга Александровна управлялась часам к десяти и уже к обеду возвращалась домой. Иногда привозила она с собой немного зеленого лука, укроп, петрушку; укроп она сама любила и обычно стояла и жевала, смеясь сама над собой, что со стороны, наверно, похожа на вечно жующую Артистку.

В один из дней торговля почему-то шла медленней, чем обычно. Ольга Александровна сидела на ящике, кем-то тут брошенном, по обыкновению жевала укроп и читала газету, придерживая постоянно спадающие очки. Подошел мужчина, сказал смешливым голосом:

— Приятного аппетита.

Она ответила:

— Спасибо.

Он спросил, сколько стоит пучок укропа, не отрываясь от газеты, она ответила, он ушел, но скоро вернулся, приценился, видимо, у других торговки и посчитал, что у Ольги Александровны свежее и лучше, у нее, правда, пучки были побольше и погуще.

— Откуда укроп? — спросил он. — С Украины?

— Почему? — Она удивилась, подняв на него глаза. — Из Подмоскovie.

Он взял пучок, отдал деньги, пошел, прихрамывая, опираясь на палку. Что-то необычное было в его облике, показавшемся ей даже чем-то знакомым. Он отошел немного, но остановился и медленно, странно как-то — всем туловищем — напряженно обернулся и посмотрел на нее. Она еще не узнала его, еще не поняла, кто он, но ей неловко стало от его пристального взгляда и часто забило сердце, она будто испугалась чего-то или застыдилась и опустила голову, уткнувшись в газету. Но краем глаза увидела, что он снова идет к ней.

Подошел, постоял, спросил:

— Творог тоже продаете?

— Да, — ответила она, не поднимая головы, — попробуйте.

Он попробовал, сказал:



— Вкусно. Но мне не по карману.

Ей было неловко, тревожно, она чувствовала, что он ничего не купит и задает свои вопросы уже просто так. Что ему надо? И для того, чтобы он ушел поскорее, она сказала:

— Могу дешевле продать.

Он стоял, молчал. Долго стоял. Она подняла глаза и поразились смятению на его лице. «Господи, нет, нет!» — готова была она закричать, потому что этот человек до боли напоминал ей чем-то ее полузабытого Алешу.

— Оля,— сказал он,— это ты?

Перед нею стоял узкоплечий, пожилой мужчина в старом черном костюме, в кепке, закрывавшей его лоб, левая щека была освещена солнцем, а на правой лежала тень от стены дома, словно лицо находилось в двух пространствах — в темноте и в ярком свете. И та щека, которая была на свету, пересеченная застарелым глубоким шрамом, дергалась мелким тиком. Он смотрел на Ольгу Александровну черными живыми глазами, которые только и узнала она в этом совсем незнакомом человеке. Это были Алешины глаза, не постаревшие, глубокие, притягивающие к себе странной глубиной. Он же видел усохшую, стареющую женщину в обтягивающей хрупкое тело серой кофте поверх платья, в трипичных туфлях и в выцветшем берете, довольно нелепом на ней, из-под которого выбивались пряди серых, уже совсем седых волос.

— Господи! — прошептала она и отвернулась, чтобы он не смотрел больше в ее лицо, изборожденное морщинами, давно потерявшее былую красоту. В юности лицо ее было прелестно, и, зная это, она умела постоянно сохранять кокетливое, игривое выражение, уверенная, что ее юному жениху нравилась переменчивость ее лица, она была каждое мгновение будто совсем другая и в то же время одна и та же. Она отвернулась, чтобы он не увидел морщин у ее глаз, рот с поблекшими, потерявшими упругость губами. Но он со скорбью видел все это.

— Неужели это правда? — сказал он.— Это ты?

Она стояла, опустив глаза, перебирая зачем-то свой товар, разложенный на ящике. Руки дрожали, и оттого, что он видит ее руки, видит их задубелость, их старость, она испытывала не волнение, а душевное смятение, словно скованное все ее чувства. Наконец, преодолев себя, она подняла глаза и снова взглянула в его неузнаваемое лицо.

— Пожалуйста, пойдем посидим в сквере,— сказал он печально, почти умоляюще.

Она молча собрала весь свой товар и пошла за ним, волоча сумку на колесиках. Он хотел помочь ей, но ей стало неловко от этого его движения.

— Нет, не надо, я сама,— торопливо сказала она, но он все же перехватил сумку и покатиł ее.

А Ольга Александровна, словно потеряв опору, шла рядом как в тумане, не понимая, куда идет, и до конца не осознавая, что же произошло. Колесики сумки скрипели, и оттого, что они скрипели, Ольга Александровна испытывала неловкость, досаду, стыд. Да, стыд. Она словно смотрела на себя со стороны, и ей было неловко, стыдно от скрипа сумки, от своих стоптанных туфель, кофты, заштопанной на локтях, толстых старушечьих чулок — всего своего облика деревенской бабки.

Он шел, прихрамывая, опираясь на палку: когда-то не уберется срубленного дерева, и, падая, оно придавило ему ногу. Дышал он тяжело, со свистом.

В сквере возле памятника героям Плевны они сели на уединенную скамейку. Он отдышался, откашлялся, сказал:

— Извини, пожалуйста, замучила меня астма.

— Вы очень больны,— сказала она.

— Ну, не очень, терпимо.

— Вам бы травки попить.

Он устало посмотрел ей в глаза, помолчал, спросил печально:

— Почему «вы», Оля?

Она и сама не знала, почему говорит ему «вы», но сказать «ты» этому человеку не могла. Она сидела напряженная, отстраненная от него. Должна ведь радоваться этой встрече и радовалась, наверное, однако как-то странно радова-

лась, не зная, что делать, что говорить, ощущая так и не оставлявшую ее неловкость. Это был чужой, иной человек, какой-то пришелец из ниоткуда, из прошлого, которое было, а может, и не было, а если и было, то и не с нею и не с ним, а с другими людьми, которые знали другие чувства, иное сердцебиение, знали душевную легкость и верили в исполнение всех надежд в будущей прекрасной и обязательно счастливой жизни. Только глаза его были прежние, они излучали тот же свет, ту же печальную усмешку. Правда, тогда не было в них нынешней боли. Они были яркими, озорными тогда, его глаза. Она называла его: «Мой Алеша с черненькими глазками». Хотела сейчас сказать это же: «Здравствуй, мой Алеша с черненькими глазками», — но не сказала, потому что глазки были хотя и те же, но принадлежали, увы, другому человеку, знакомому незнакомцу, когда-то будто бы родному, а сейчас и не чужому, но и не близкому.

Он погладил ее руку, лежащую на колене, осторожно погладил, словно боясь, что она отнимет ее, и это прикосновение напомнило ей другое, первое робкое прикосновение к ее руке юного Алеши в подъезде их дома. Она тогда убежала, дрожа от головокружения, от непонятного чувства, бросившего ее в жар, и не могла заснуть, ощущая его руку на своей.

Сейчас она съезжилась вся, чувствуя не его ласку, а свою шершавую, загрубевшую руку, стыдясь ее жесткости. Он привлек ее к себе, прикоснулся губами к ее губам, но она быстро отстранилась, ничего не испытав, со скорбью поняв, как стали дряблы ее губы.

Не было радости в их встрече. Были неловкость, скованность, отстраненность, словно бы искусственность и даже ненужность этого позднего свидания. На душе у нее было так, будто произошло с ней несчастье.

С трудом, так и не сумев перейти на «ты», она не спросила, а скорее утвердительно сказала:

— У вас дети есть.

— Нет, Оленька, — ответил он. — Я одинок. Нет у меня никого да и не было, по существу. Впрочем, была жена не жена, подруга, не более, но и ее нет давно. Я долго тебя искал, долго... Мог ли забыть тебя?

«И я не забыла», — хотела сказать она, но не смогла. Как можно такое сказать сразу человеку, который не был ее Алешей, хотя вроде бы и был им?

Он говорил ей, что живет в дальнем городишке, куда был сослан когда-то, у него там пустая комната в холодном бараке, работал в библиотеке то ли сторожем, то ли библиотекарем, но теперь библиотека закрылась, денег нет ее содержать, да и народ перестал ходить, а он на пенсии, получает гроши. Вот такая получилась у него веселая-превеселая жизнь. А в Москву он приехал за документами на Лубянку, говорят, что таким, как они, может быть пенсия увеличена. Через час у него поезд, и надо зачем-то ехать в свою Тмутаракань. Но как он уедет? Как? Он же нашел ее!

Все время она молчала, но сейчас, вдруг поняв, что в эту минуту может снова и теперь уж навсегда расстаться с ним, торопливо проговорила:

— Алексей... — И, о Господи, от волнения забыла его отчество, но пересилила свою неловкость и сказала: — Алеша, приезжайте ко мне в деревню.

Он неожиданно сдавленным голосом, в котором слышались и отчаяние и слезы, воскликнул:

— Любовь ты моя... жена моя...

И прижался губами к ее руке. Она не пошевелилась, она ощущала тепло его губ, слезы беззвучно ползли из ее закрытых глаз. Господи, как она была несчастна и чувствовала, что он тоже так же несчастен сейчас.

— Нет, нет, — сказал он, подняв лицо, — не надо плакать, дорогая... Я приеду, приеду, жди, пожалуйста...

Ему пора было уходить.

— До свиданья, — сказал он.

— Прощайте...

— Нет! — воскликнул он. — До скорого свиданья.

Он ушел, хромая, покашливая, обернулся два раза, она кивнула ему, пытаясь улыбнуться сквозь слезы. А потом долго сидела, еще до конца не осознавая,

что произошло, не веря в то, что сон, который она видела всю жизнь, наконец-то сбывается... Сбылся, но все же это был почти сон, она сейчас проснется, встанет и пойдет дальше той же одинокой дорогой, какой шла все свои долгие годы.

Чувствуя слабость в ногах, во всем теле, она пошла, с трудом волоча сумку, мимо памятника героям Плевны, вышла на Маросейку, здесь на углу продала остатки творога и уже налегке зашла в церковь, куда почти всегда приходила, когда уезжала из Москвы домой. Служба кончилась, в полутьме молилось несколько человек, старушка прислужница тушила догорающие свечи, батюшка вышел из алтаря и опять ушел. Ольга Александровна купила свечу, поставила у иконы Божьей матери в благодарность за неожиданную встречу с Алешей. Увидит она его еще раз или нет — не это сейчас важно, важно, что она увидела его и узнала, что он хранил любовь к ней, как и она к нему.

Умиротворенная, она вышла из церкви и с покоем в душе, в ладу со своими чувствами отправилась на вокзал, поехала домой.

Она рассказала тетке о случившемся чуде и стала ждать Алексея Алексеевича, веря и не веря, что он приедет к ней.

Хотела ли она, чтобы он приехал? Она не знала с уверенностью этого, и хотела, и боялась, ждала и не ждала, потому что привыкла жить одна, в одиночестве, лишь в мыслях встречаясь с ним, с тем прежним Алешей.

Он долго не приезжал, и она перестала ждать, может быть, даже не с сожалением, а с облегчением: пусть жизнь течет, как и текла, по старому руслу.

Однако Алексей Алексеевич все же приехал.

Он шел с рюкзаком на спине по утренней деревенской улице, освещаемой первым солнцем. Собаки лениво лаяли из-за заборов, одинокая коза, пасущаяся на пустыре, подняла голову, взглянула на него, проблеяла свое «мэ-э» и опять продолжала щипать свежую еще росную траву. Воздух был насыщен запахом этой травы, нежным отцветающим цветом шиповника и жужжанием бархатных пчел. Алексей Алексеевич постоял, огляделся, свернул в узкий проулок, отыскал нужный дом, который похвалялся большой табличкой на стене, что он, дом, является домом хорошего содержания, и присел на скамеечку возле забора, окруженную густыми зарослями акации.

Он дышал тяжело, кашлял, затягиваясь сигаретой, вытянув больную ногу, вытирал ладонью вспотевший лоб, шнурок на ботинке развязался, он нагнулся, завязал его крепким узлом, поглядел, как к его руке подпрыгнул юный лягушонок, совсем младенец, погасил докуренную до половины сигарету, спрятал окурок в железную коробочку и положил ее в карман пиджака. Котенок выпрыгнул откуда-то, потерял о его ногу и исчез. Со двора женщина выгнала корову, сказала по-деревенскому обычаю «Здрасьте!» незнакомому человеку, оставила корову на пустыре, вернулась в дом.

Прошло много времени, когда из дома наконец вышла та, которую он терпеливо ждал. Она открыла калитку, Алексей Алексеевич глухо сказал «Здрасьте!», она рассеянно ответила и равнодушно прошла мимо. Он засмеялся, она остановилась, медленно, очень медленно, очень осторожно, почти испуганно, повернула голову и прошептала, хотя ей показалось, что крикнула:

— Приехал, Алеша?

— Приехал, Оля.

Она села рядом. От него пахло табаком, хотя она не помнила, чтобы так пахло от него тогда в сквере у памятника героям Плевны, или тогда она вообще ничего не чувствовала, ничего не ощущала от страха и волнения. Но сейчас этот запах поразил ее: дышит так тяжело, со свистом и курит, зачем это?

— Здесь хорошо,— сказал он.

— Да, тихо,— отозвалась она слабым голосом, смотря на его дергающуюся щеку со шрамом.— Зачем вы курите? — сказала, но поправились: — Тебе нельзя курить.

— Нельзя,— согласился он.

— Зачем же?

— Ах, Оленька,— тихо сказал он,— не знаю, курю и курю, бросить не могу.

— Ну, ладно, кури,— проговорила она, будто он убедил ее своим ответом.

Вышел со двора одноглазый Мишка, постоял, настороженно смотря на незнакомого человека, обнюхал, ушел.

— Ты надолго приехал? — спросила Ольга Александровна.

— Я с концами.— Он усмехнулся.— Впрочем, пока не выгонишь.

— Куда же я тебя выгону? — с обидой ответила она.— Пойдем в дом.

Тетка приняла его хорошо, спокойно, как старого знакомого, накормила, предложила отдохнуть с дороги, и он, поколебавшись, согласился, лег на диван.

Ольга Александровна посидела возле него, а когда он стал задремывать, оставила его, сказав, что ей надо в школу.

Однако ей не надо было в школу — каникулы, но она хотела побыть одна и ушла тропинкой к лесу, через поле высокой ржи. Грело солнце, коршун парил в синем небе, шуршала речка в овраге, пахло сырой травой. Она села над оврагом, слушая звон, говор, шелест окружающего мира.

Все вокруг было прекрасно, благостно, было вечно, бессмертно, и радостно, и печально, и хорошо, покойно на душе. И когда этот вечный покой вошел в нее, когда просветлело у нее на сердце, она заплакала. Отчего ей так тяжело, так горько? Ведь свершилось чудо, воскрес ее юный муж, воскрес единственный человек, которого она любила всю жизнь, с которым мечтала прожить многие годы, иметь детей, внуков, узнать счастье, одарить нежностью. Во всех своих скитаниях она оберегала именно эти чувства, всегда переполнявшие ее,— любовь, нежность, которые надо отдать кому-то, нет, не кому-то вообще, а только Алеше, Алешеньке с черненькими глазками, и его детям. Но время шло, и эти чувства сохли в ней, потому что некому было их подарить. Она перестала быть женщиной, все истлело, все выгорело, ничего не осталось от высоких чувств. День ото дня она тянула жизненную лямку, но только сейчас с особой остротой поняла, как пусты и безрадостны были ее дни. Свою жизнь, которая обещала быть яркой, светлой, она прожила зря, впустую. Чья-то злая воля обрушила все ее надежды и мечты в самый счастливый момент. За что? Почему она вынесла столько страданий, почему ее оторвали от любимого, так и не дав узнать, что такое истинная любовь и что такое самоотверженность супружества и материнства?

Она плакала, уткнувшись лицом в траву. Слез не было, это плакало ее тело, душа плакала. Но в какой-то момент она вдруг перестала себя жалеть, вспомнила, как сидел на скамеечке Алексей Алексеевич и смотрел на нее черными со знакомой усмешкой глазами, его шрам на дергающей щеке, прикосновение его руки, его губы и подумала, что все это должно было случиться, не могло не случиться, ибо они судьбой предназначены друг другу, потому что божественное провидение сильнее злой людской воли, жестоко разлучившей их на пороге счастья. Все-таки вернулся к ней не незнакомый человек, не пришелец из неизвестного пространства, а тот, кто был предназначен ей с ранней юности. Вернулся Алеша с черненькими глазками, бывший мальчик, чью фамилию она носит с тех пор, пришел Алексей Алексеевич Одоленский. Поздно? Нет, в жизни ничего не поздно.

Солнце стояло уже высоко, пахло светлым небом и свежей землей, капутница летела, ворона каркала на сосне, муравей полз по руке, кукушка кричала в лесу, луч солнца играл с крестом далекой церкви. Ольга Александровна спустилась в овраг, омыла лицо холодной живой водой и пошла обратно в деревню.

Алеша, Алексей Алексеевич, спал на теткинном диване, свернувшись калачиком, подтянув ноги к груди, он похрапывал тихо и ровно.

— Не разбуди его,— сказала тетка,— очень, бедняга, устал.

Но Ольга Александровна не послушалась, встала перед диваном на колени, вглядываясь в незнакомое лицо своего обретенного мужа. Он ощутил ее взгляд, открыл глаза, она сказала:

— Спасибо тебе, Алеша, что ты приехал.

Он помолчал, улыбнулся и прошептал:

— Ты совсем не изменилась, Оленька.

— Не надо,— сквозь слезы проговорила она,— это жестоко...

— Нет, Оленька,— проговорил он,— годы ушли, а мы такие же... Вот и родинка моя любимая у тебя на шее. Мы такие же... Или ты не узнаешь меня?

— Алешенька, Алешенька,— торопливо сказала она,— и ты такой же.

Она сказала так, хотя, конечно, перед нею лежал все же другой, незнакомый человек, да и она для него была совсем не той, какую он словно бы видел или хотел видеть. Она стыдливо смотрела в его постаревшее, усталое от времени лицо и будто в зеркало смотрелась, потому что в глазах его видела свое отражение — усталое лицо поблекшей женщины.

Они стали жить вместе. Вместе, но рядом. Ольга Александровна в своей комнатухе в доме с окном в сад. У окна на молодой яблоньке зрело, наливалось яблоко, при малейшем ветре яблонька качалась и яблоко стучало в стекло, напоминая о себе, что оно живет, набирается силы. Алексей Алексеевич устроился рядом с сараем в теплой пристройке к дому, которую прежде снимали дачники. Выходило так, что он, живя в отдалении, на расстоянии от Ольги Александровны, был тоже вроде дачника, не членом семьи, а квартирантом.

Он старался вписаться в их жизнь, находил себе работу в огороде, вскапывал целину, чистил сарай, выгребая навоз из-под Артистки и кабанчика Одни-слезы. Артистка была равнодушна к нему, а кабанчик каким-то образом ухитрился приучить Алексея Алексеевича чесать ему жирное брюхо.

В доме появился мужик — подправил забор, залатал дыры на крыше. Все в его руках спорилось, делалось ладно, хорошо, быстро, чувствовалось, что он приучен к любой работе и не умеет сидеть без дела. Все ему будто бы удавалось легко, даже когда в лес ходил — за ним всегда увязывался одноглазый Мишка,— то приносил полную корзину грибов, что никогда не удавалось Ольге Александровне, хотя она знала здешние грибные места.

Впрочем, сил у него было не так много, порою кашель подолгу душил его. Днем во время приступа он уходил куда-нибудь, а ночью Ольге Александровне хорошо было слышно, как давится он, стараясь заглушить этот лающий звук, сотрясающий все его тело. Ольга Александровна пыталась лечить его настоями трав, но оттого, что он курил, и много курил, ее забота едва ли приносила пользу.

Они нелегко привыкали друг к другу. Все же это были уже разные люди со своими характерами, привычками. Им очень хотелось понять друг друга, обрести прежнюю любовь, но прошлое не возвращалось и не могло вернуться.

Он никогда не рассказывал о своих скитаниях да и Ольгу Александровну не расспрашивал ни о чем. Милый, родной, чужой человек, он так стремился вписаться в ее жизнь душой и сердцем, а она желала этого, наверно, еще больше, чем он, и все же что-то мешало им воскресить хотя бы отзвуки прежних забытых чувств. Так прожили они, привыкая, узнавая заново друг друга, около двух месяцев.

Однажды, когда тетка уехала в Москву с товаром, а если она уезжала, то обычно уезжала на два дня, потому что оставалась ночевать у какой-то своей знакомой подруги, и Ольга Александровна уже легла спать, но никак не могла заснуть, может быть, оттого, что светила полная луна и свет этот тревожно отдавался в душе, даже будто звон стоял в ушах, в ее комнату пришел Алексей Алексеевич, чего никогда прежде не делал.

У него было странное, виноватое лицо и в то же время в лунном сиянии красивое, одухотворенное, глаза блестели. Он молча присел к ней на кровать, молча нагнулся, поцеловал в губы. Ее в жар бросило, она напряглась вся, но робко ответила ему, и тогда он стал торопливо, нежно целовать ее щеки, глаза, шею, откинул одеяло и поцеловал грудь.

Так в полусне, в полубреду, стыдясь и не ощущая стыда, она, законная жена, наконец-то через десятки лет снова узнала его близость. То, что свершилось в день их свадьбы, повторилось лишь на закате их жизни. Но это была их и последняя брачная ночь.

Случилось как-то, что Алексей Алексеевич, вычищая сарай, не заметил, как Одни-слезы выскочил из своего загона. Победно визжа, он носился по двору, истоптал огород, увидел щель в калитке, протаранил ее и помчался по деревенской улице. Ольга Александровна, Алексей Алексеевич, Мишка, соседская ребятня гнались за ним, но кабанчик увертывался от всех, орал диким голосом. Обежав полдеревни, всполошив на своем пути всех собак и кур, он вдруг оста-

новился, постоял, глядя на бегущего к нему Алексея Алексеевича, и лег на дорогу брюхом кверху. Алексей Алексеевич никак не мог отдышаться, сам готов был рухнуть в дорожную пыль, надсадно кашлял, пытаясь улыбаться подбежавшей Ольге Александровне, которая с ужасом смотрела на его искаженное болью лицо.

Все как будто обошлось. Алексей Алексеевич отдышался, отлежался, попил травки, выкурил под укоризненным взглядом Ольги Александровны сигарету, опять закашлялся, но уже не столь натужно, и вернулся очищать сарай.

Этот день после происшествия с кабанчиком Одни-слезы был добрым, умиротворенным. Вечером в сумерках они сидели на крыльце, держась за руки, слушали деревенскую тишину, сонное тьяканье собак, квохтанье кур в сарае, смотрели на чистое, усыпанное звездами небо, на мигающий огонек летящего в высокой глубине самолета, на сорвавшуюся вдруг белую звезду, растворившуюся в бесконечном пространстве, и каждый загадал заветное желание и поверил, что желание это обязательно исполнится. Пришел Мишка, лег у их ног, уткнувшись носом в колено Алексею Алексеевичу. От его дыхания было тепло, приятно.

Мир был прекрасен, и жизнь была прекрасна.

Утром, шурша листьями, опавшими с садовых деревьев, подбирая в подол с земли яблоки, Ольга Александровна пошла звать Алексея Алексеевича завтракать.

Он лежал на кровати, и, увидев его, она остановилась на пороге, прислонясь к косяку двери, из подола сыпались яблоки, жестко стучаясь об пол, раскатываясь в разные стороны.

Алексей Алексеевич лежал, подложив одну руку под голову, а другую держа поверх одеяла.

Он был мертв.

Он будто спал крепко, и лицо его было спокойным, молодым. Смерть словно разгладила все морщины, даже шрам на щеке почти исчез. На лице и во всем теле была тишина и был покой: он видел какой-то ясный, хороший сон, закрыв черные свои глаза легкими веками.

Перед нею лежал не тот человек, который встретил ее в Москве на базарчике возле метро, не тот незнакомый пришелец из прошлого. Перед нею лежал с просветленным лицом юный Алеша, ее молодой муж, смерть совершила чудо, она таинственным образом преобразила его, вернула ему прежние черты. Он ушел из этого мира таким же, каким ушел от нее в тот роковой день ее замужества. На его лице не было отстраненности смерти, это в самом деле было лицо того живого Алеши, которое она помнила и любила все долгие годы.

Она похоронила его на деревенском кладбище возле старых стен разрушенной церкви Воскресения Словущего на Холме. Отсюда, от могилы, было видно беспредельное пространство земли и неба, видны тихая река, древние ветлы, опустившие ветви в воду, слышен плеск рыбы, стук дятла, рокот далекого трактора, аромат туристского костра.

Она каждое утро приходила сюда и сидела, умиротворенная окружающей тишиной, украшая цветами могилу мужа, вдова не вдова, так и не успевшая узнать мужа и привыкнуть к нему.

Ольга Александровна чувствовала, что за то время, которое он прожил рядом, она постарела еще больше, ощутив в своей печали с особой остротой, как исковеркана ее жизнь. Запоздалая встреча с Алешей нужна ли была? Не принесла ли она им обоим новые страдания в мучительных попытках вернуть то, что ушло безвозвратно?

Вся их жизнь была безжалостно изломана, исковеркана, брошена в бездну тягчайших испытаний по вине одного черного человека, имя которого она знала. Это их квартирный сосед погубил росчерком пера всю семью от малых до старых. Почему у нее никогда не возникала мысль отомстить ему, наказать его? Странно, но действительно такого желания у нее не было никогда, но теперь, когда она обрела и тут же потеряла Алешу, она поняла, что не сможет дальше спокойно жить, если не найдет убийцу ее семьи, ее любви, ее материнства, ее неродившихся детей и внуков. Имя его она знала, и у свежей могилы, у

стен церкви, порушенной так же, как порушена ее жизнь, она прокляла его и поклялась, что найдет его, чего бы ей это ни стоило.

Дом, где они жили прежде, исчез, на его месте вырос небоскреб с иностранными фирмами на каждом этаже. Но осталась совсем недалеко жилищная контора, где после долгого неудовольствия ей все же разыскали домовую книгу, и она узнала, куда переселился этот человек. Но и по новому адресу она его не нашла. Она искала его много дней, настойчиво, терпеливо. И, наконец, выяснила, что ныне живет он под Москвой, на станции Удельная, на улице Горячева в многоэтажных домах какого-то большого завода.

Она была полна решимости и отваги, когда ехала в набитой людьми электричке, когда шла по улице Горячева и подошла к дому, где жил этот человек. Но, поднявшись на третий этаж и остановившись возле квартиры под номером двадцать, под номером, как бы обозначившим именно те годы, когда ей и Алексе было именно столько лет, ставшие годами их вечной разлуки, она потеряла вдруг всякую решимость. Зачем пришла сюда, что сделает, что скажет, не убьет же она его, хотя в мыслях убивала уже тысячу раз?

Она постучала.

— Открыто,— ответил старческий глухой голос.

Ольга Александровна помедлила, не решаясь толкнуть дверь.

— Входите, открыто,— повторил старик.

У нее зашло сердце от страха, голова закружилась, она готова была вернуться и уйти. Но тут же, ощутив свою слабость, рассердившись на себя за малодушие, толкнула дверь и вошла в небольшую, тесную прихожую, не зная, что сделает, что скажет, но зная, что сделает и скажет все, что нужно сделать и сказать.

Из прихожей видны были узкая комната, стол, покрытый белой в розовых цветах клеенкой, диван, раскрытое окно, за которым стояла стена другого кирпичного дома, а у окна в кресле сидел старик в голубой аккуратной пижаме.

— Что за гости пожаловали ко мне? — спросил он, обернув к Ольге Александровне худое лицо с впалыми щеками. Он странно смотрел на нее, впрочем, не на нее, а куда-то в сторону неподвижным холодным взглядом.— Заходите, заходите,— сказал он, по-прежнему смотря не на нее, а в неопределенное пространство.

Она прошла в комнату и поняла, что он слеп.

— Кто-то незнакомый,— сказал он.— Я всех знакомых слышу по походке и по запаху. Я теперь, как собака, все запахи чую. Садитесь на диван. Откуда пожаловали, зачем?

— Иван Дмитриевич Коротков — вы? — спросила она осевшим голосом.— Я из собеса.

— Ай,— сказал он,— зачем утруждаешься? Все у меня хорошо. Ваш работник ходит, помогает, жалоб нет. Иногда дочка навещает с внуком. Внушек у меня смышленный, глянь, на стенах его рисуночки, говорят, занимательно рисует. Вопросы задает, рассказы мои слушает про фронт, про завод, как самолеты делают, мне есть что рассказать, жизнь большую прожил, уважением пользовался, портрет на Доске почета всегда висел, в президиумы обязательно выбирали, народ любил мои выступления слушать, хорошо хлопали...

Она слушала его со смятанным чувством, это говорил худой, слабый старикан с седой головой и белой благостной бородой. На шее у него висел на простой суровой нитке дешевый крестик.

— Вы в Бога веруете? — спросила она.

— Верую, голубушка, а как же? Все идем к нему, все там скоро будем. От молитвы на душе легче.

— Грехи замаливаете? — сказала она.

— Какие такие грехи, голуба? Конечно, нет человека, чтобы за жизнь свою не согрешил. А мне, слава Богу, не в чем каяться...

— Конечно,— сказала Ольга Александровна,— кто из людей не грешен, но грех греху рознь...

Она перевела дыхание и, собрав все силы, глядя в слепые его глаза, спросила прерывающимся голосом:

— Вы помните Алешу Одоленского?

— Одоленского? — переспросил он.— Это какого же Одоленского? У меня память хорошая, а такого не упомяну... Хотя погоди, погоди, голуба, что-то припомню. Был у меня когда-то сосед с такой фамилией. Мальчишечка, веселый, уважительный. Давно. А что ты, радость моя, его вспомнила?

— Ищет он вас, Иван Дмитриевич.

— Помнит, значит? Уважительный, значит. Столько годков прошло, а все помнит старика. Это хорошо. Раньше молодежь была приветливая, не чета нынешним бандитам. Скажи, пусть навестит, мне радость будет. Это как же он искал меня? Через собес? Пусть навестит, а то я все больше один да один...

Она долго молчала, вглядываясь в его слепое лицо, но не увидела там ни испуга, ни растерянности, наоборот, и в самом деле будто радость отразилась во всем благостном, спокойном облике старика.

Он тоже молчал.

Наконец она сказала:

— Он умер недавно.

— Жалость какая! — воскликнул старик.— Уходят люди. Живем, живем, страдаем, а потом и помираем, не изведав радости. Меня вот не берет Господь, мыкаюсь душой, старый, слепой, больной, у меня, голуба, печень болеет, мне никто ничего, а от меня все хотят. Внучек придет: «Дай, дед, конфетку, дай, дед, апельсинчик»,— ну, и даю, от себя отрываю, от пенсии своей. А дочь ждет не дождется, как помру. Квартира им нужна, или, говорит, переселяйся в престарелый дом. Мало им квартиры в Москве, эту хотят отобрать, заработанную честным трудом. Нынче все люди враги друг другу, не то что раньше, все воруют, на чужое добро зарятся, за квартиру убить готовы...

Ольга Александровна хотела сказать, что именно за квартиру он и погубил всю ее семью, но увидела, как затряслись его губы, скривились, словно он заплачет сейчас, и ничего не сказала. А он заискивающе, просяще вдруг прошептал:

— Голубушка, милая, сделай одолжение. Возле дома, внизу, палатка, сигареты продают, сбегай, купи, мои злодеи не разрешают мне, а я страсть как соскучился, ну, сходи...

Она подождала, даст ли он ей денег, но он не дал. Поднялась, вышла на улицу, купила в коммерческой палатке сигареты — для нее большие деньги — и вернулась.

Принимая сигареты, он схватил ее руку, хотел поцеловать, но она торопливо и брезгливо отдернула ее. Он раскрыл пачку, нашарил на окне спички, зажег, закурил.

— Вот и радость, вот и утешение.

Он был жалок... Ей хотелось, чтобы он вызывал презрение, отвращение, гадливость, но не вызывал он ничего этого: слепой, беспомощный старик с белой благородной бородой.

Она встала с дивана и, не сказав больше ни слова, ушла.

С пустотой в душе, как в тумане, она шла к станции, дождалась поезда, села и, проехав несколько станций, поняла, что едет в другую сторону, не к Москве, а от Москвы. За вагонным окном накрапывал дождь, поезд остановился, она вышла на открытый перрон, залитый лужами. Укрыться было негде, зонта у нее не было, она стояла на пустой платформе, ждала обратного поезда. Ждала долго, вымокла, замерзла, ее трясло то ли от ветра, то ли от внутреннего холода. И когда подошла электричка и она вошла в переполненный, душный вагон, очевидно, у нее был такой вид, такое больное лицо, что парень в кожаной куртке, сидевший возле двери, уступил ей место, и она села.

Она сидела, закрыв глаза, ей хотелось плакать, она ощущала себя несчастной, как никогда, оскорбленной, униженной, обманутой, испытывая стыд от этой поездки.

Ее трясло в ознобе, она сидела, обняв себя руками, закрыв глаза, будто спала. Но не спала она, все время ей виделись тонкая, с выступающими ключицами шея старика и маленький крестик на суровой нитке...



Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ

## Время действия — всегда

НОВЕЛЛЫ

*За семь без малого лет, минувших от выхода первой книги Сигизмунда Кржижановского («Воспоминания о будущем. Избранное из неизданного». М., 1989), надобность более или менее обстоятельно представлять его читателям при каждой новой публикации, думается, отпала. Есть изданные более чем двухсоттысячным тиражом четыре книги, куда вошли повести, новеллы, статьи о литературе и театре, записные тетради. Плюс переводы в Германии и Франции (где печатается полное собрание его прозы). И посвященные творчеству этого писателя диссертации в германских, английских, американских университетах. О дальнейшей судьбе наследия Кржижановского вроде бы можно не беспокоиться.*

*Десяток лет назад, читая в письмах друзей Кржижановского, отправленных сразу после смерти писателя (1950) его жене Анне Бовшек, о том, что его сочинения в конце концов непременно будут изданы — и это станет истинным открытием в нашей не бедной именами литературе, — я, могу теперь признаться, не разделил их оптимизма, видя в той «письменной убежденности» единственно сколь-нибудь действенные утешения адресата. Тем паче уже знал, что их попытки опубликовать хотя бы немногие из тысяч оставленных Кржижановским машинописных страниц ничего не дали. Казалось, сама история литературы против него — нет в ней примера, чтобы писатель, так и не сумевший при жизни одолеть цензурно-издательские преграды, явился к читателю чуть ли не через полвека после смерти. Слишком многое — и невероятное! — должно было произойти — и совпасть во времени! — чтобы появились эти книги. Произошло — и совпало. И видится мне теперь фантазмагорией в духе Кржижановского.*

*Однако ныне в истории литературы Кржижановскому, на мой взгляд, ничуть не уютнее, чем было в литературе, ему современной. Потому что привычно-естественные усилия критики и литературоведения обозначить его место в ней, определить его принадлежность к тому или иному писательскому «ряду», мягко говоря, не особенно продуктивны. Разброс и противоречивость мнений таковы, словно речь не о писателе, чей путь давно завершен, но о том, кто продолжает много и напряженно работать — здесь и сейчас. И надо быть готовым к неожиданности встреч с новыми его вещами.*

*В сущности, так оно и есть. Опубликовано далеко не все. Незданное — не «лучше» и не «хуже» напечатанного. Оно — другое. И новое — в том смысле, что, являясь читателю, изменяет его представление о писателе, добавляет черты, прежде неведомые. Если стереть даты под публикуемыми новеллами, не останется указания, что между ними и нами — семьдесят лет. Потому что место действия — везде, время действия — всегда. Эпоха поверила Кржижановского убийственным для писателя испытанием неизданностью,*

*следовательно, неузнанностью. А он всего лишь принял меры, чтобы она не восторжествовала...*

*Двадцать девятого октября прошлого года не стало последнего из близко знавших Сигизмунда Кржижановского людей — Натальи Семпер, написавшей замечательные воспоминания о нем. Думается, ни в малейшем противоречии с волей писателя было бы посвятить эту публикацию ее памяти.*

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

### КОГДА РАК СВИСТНЕТ

Между двух стран озеро без имени, над зыбями ивы, под зыбями рыбы без голоса, на зыбях звезды без времени, вокруг озера нивы колос-к-колосу; дале, от озера без имени — зеленый пар, на пару коровы без вымени, волос-к-волосу, сто-ста-сот пар. Направо идти — придешь к авосям; налево — к небосям.

Искони — кони у небосей не расседланы; искони они, небоси, без опаси, войной на авосей шли. Авоси живут — беды не ждут: стоят авосевы города не горожены, авоськины дети не рожены. Придут — и пустят все с дымами, угонят коров без вымени, возьмут в полон, кто не рожен; долго потом озеро без имени кроваво стоит, ниже никнут ивы, косами не кошены, а уж копытами вымолочены нивы, и плачут малые авосята не-рожденные, еще пуще авосевы жены, и того пуще старые авосихи:

— Когда небосевой неправде конец?

Отвечают авоси:

— Когда рак свистнет.

И еще:

— Когда рыба запоет.

Из озера без имени выплывала река: плыла река без устали до самого моря. А у самого дна («одна голова не бедна») в песке и тине, вместе с женой актинией, жил старый рак-отшельник. И когда первую кровь из озера без имени — речным пльвом — в море синее занесло и береговые пены залило, повел рак длинным усом и:

— Не пора ль мне, Актиньюшка?

Но та, нежными аконтиями колыхнув:

— Крови мало, моря много. Уйдем.

И ползет рак задом, а сказка передом.

Кабы мог старый рак поперек моря на другой край, увидали бы его пучьи глаза страну Какнибудию: живут какнибудни ни в два — ни в полтора, никто на двор, все со двора; тяп-ляп — выше корाप, и сели б на корабль, да ни ветру, ни тех, чтоб гребли. Сидят у моря — ждут погоды, а поверх моря белые пены бегут. Ждут.

Ждут и авоси: ждут и терпят; авось небоси бога побоятся, но не боятся небоси: и за заревами, за ревом рев, за кровью кровь, у авоськиных деток не-роженных головы можжены, а жены... таково уж их женское дело. Пришли времена, когда авось и рыбака толкает под бока: «Вези, рыбак, через озеро без имени». Везет рыбак через озеро без имени, а с весел кровь. Пришли времена, когда иной авось в лес уйдет, а за ним еще и еще; и, в лесу затаясь, держат, авосясь, совет авоси:

— Авось пронесет.

— Жди, когда рак свистнет.

— И рыба запоет.

И порешили: ждать в лесах, меж ох да ах, еще жданки съедят; пошлем мы послов в Какнибудиеву страну, а ну как из-за синего моря придут какнибудни и помогут горю.

Как решили, так и сделали.

Стоят тят-ляп-корáпи, якоря в дно вкляпя. Сидят у моря какнибудди, сидят — ждут погоды. Видят — белые пены, а за белыми пенами алые пены — а за алыми пенами малый парус — и во сё, авоси челом бьют: небоси, мол, бьют, нельзя ль как-нибудь беде помочь.

Какнибудди не прочь: то да сё, так ли, сяк, помочь готов всяк. Но тят-ляп-корáпи подняли якорям лапы и по шатущему морю — помогать горю.

Кораблевы донья под зыбями плывут, черные тени донья по дну волокут. Доползала кораблева тень до старого рака-отшельника; шевельнул спросонья клешней и:

— Не пора ль...

Но актиния, изгибью аконтий обняв:

— Спи-спи, старый; тени мало, тины много: глубже в тину и, клешней октясь — в имя отца и сына,— спи.

Как приплыли какнибудди, в железо кованы груди, в руках палицы: царство небесное вадится. Стонет небось: хоть брось. Прошли какнибудди вокруг озера без имени, хлещет кровь как из вымени; прошли и по прямым, и по криви, и по коси, легли небоси кровавым покосом. И пришло время, какой уцелел небось, рыбака толкает под бока, а тот: «Как везу — весло в сукрови вязнет».

И бежали иные небоси с опасью в леса, небосих и небосят босых и безымущих уводя, и, малость погоды, собрали небоси совет и надумали всем советом навет. Пришли к какнибуддам небосевы послы и говорят:

— Побило нас, небосей, небо. Будь что будь. Какнибуддии покоряемся, богам какнибуддиевым поклоняемся. Были мы небоси — стали мы боси. И босы. Только не верьте авосям. Искони о них сказано: от авоси добра не жди; на авось и кобыла в дровни лягает; авосью не вовсе верь.

Какнибудди, им будь что будет, вместе с небосями пошли на авосей: взяли авосевы города не-горожены, побили авось-деток не-рожденных, а жен их... таково уж женское дело. Кровавым крапом травы окропило, трупами озеро без имени запрудило — и не Христос бы как посуху прошел.

Похваляются какнибудди:

— Мы-де и авосей, и небосей, как траву, косим. Авосью не вовсе верь, да и небосью вовсе не верь.

И пошли тут: авось на небося, небось на авося, а какнибуддь — и на этих, и на тех. Пльвет кровь из ран в землю, земными жилами в озеро и реку, а там, речным пльвом к морским приливам, с волны на волну, красным крапом к морскому дну.

Вспучил из тины старый рак глаза:

— Уж не пора ль мне...

Но актиния дрожью нежных аконтий к шершавой коже — и:

— Много боли, моря боле. Ползи, старый, вглубь, ползи.

Был среди небосей именем Канеав. Отца-мать Канеава извели авоси, сестру Канеава увели блудные какнибудди. Но у бедра Канеав не носил меча, а в сердце Канеав не носил зла. Взял Канеав в руки посох странника, пошел от небосей к авосям, от авосей к какнибуддам и учил:

— Живите, небоси, по-христосьи. И какнибудди — люди. Авоська небоське набитый брат.

Пошла про Канеава слава: свят.

И сказали авоси небосям, а небоси авосям: станем жить по-христосьи. И, съединившись, решили вместе, как набитые братья, пойти на какнибуддей и перебить без изъятья. А когда стал Канеав их удерживать, говоря: простите и какнибуддам, ведь и какнибудди люди,— разгневались на него и авоси, и небоси: мил тебе какнибуддь, так туда тебе и путь. И изгнали Канеава. Пошел Канеав берегом озера без имени: под зыбями рыбы без голоса, под ногами поля без колосу. Застигла Канеава в пути ночь. Лег он назем рядом с посохом, и привиделся ему сон: будто вознесли его белые облака в горний сад, где золотые яблоки висят, и думает небось: «небо» — «ось»; идет по небесным тропам — цве-

тет вокруг троп райский крин, но только видит Канеав, что он один: не топтаны тропы, не хожены дороги, не рваны золотые яблоки, не тронуты жемчужны желуди. И спрашивает Канеав: а где же люди? Невидимый голос ему в ответ: помни, Канеав, и знай — все люди погибли за свой рай.

И тут проснулся Канеав и, опечаленный, длит путь. Встретился ему в поле ратный какнибудь. «Не имею меча у бедра, а зла в сердце». И какнибудь его не тронул, а указал путь к своим. Пришел Канеав в какнибудиев стан и стал учить:

— Авось-небось да третей какнибудь. Братом друг другу будь, кто ты ни будь, хоть бы и какнибудь. Не вынимайте мечей из ножен, но жен их суженым отдайте.

Посмеялись над Канеавом какнибуди. И порешили какнибудь и судь: посадив на доску святого небоську, бросить в море — пусть слезами посолонит море.

И как бросили на волны пророка какнибуди, он им: верую, буди-буди. Но ударило ветром — и доску и небоську волной унесло, а какнибуди опять за мечевое ремесло: мечи из ножен, авосей-небосей косят, но жен небосьих-авосьих любить хоть как-нибудь их, какнибудей, просят.

По морю — по синим зыбям — доска; на доске Канеава тоска; плывет сердце в тосковом тиске; роняют очи горе в море; солоней стало солено-море; сушат очи с ночи до утра ветра, а с утра до ночи мчат доску что есть мочи — по волнам-глубинам, с бурями в размин, тихо, неведимо к острову нелюдимому, а остров тот не без имени: Курия-Мурия.

Был Курия-Мурия мал и дик, все паруса издалека и мимо, только волн плеск и птиц крик на острове нелюдимом. Тут Канеав, изгнанный какнибудью, авосью и небосью, дыша полной грудью у морских просиней, вспоминая их брани и рати, написал невеликую хартию. Называлась хартия так: «Когда же наконец свистнет рак».

А тем временем вновь бьются авоси да небоси с какнибудями, днем им светит солнце — ночью зарево, на костях и мясе кровавое вареву: мечами замешено, слезами засолено, бьет в него алым паром, пузырится-пучится из земли могилами, сходятся в полях ратные силы с ратными силами.

Поначалу стали одолевать какнибуди. И захвастали: держался-де авоська за небоську, да оба упали.

Но потом стали одолевать какнибудей. И запечалились какнибуди: авоська, мол, веревку вьет, небоська петлю накидывает. Не бейте нас, какнибудей, ведь говорил ваш пророк Канеав, что и мы люди.

Но те не слушают, жгут и бьют, веревки вьют, петли накидывают. А судьи-какнибудьи тем временем умом раскидывают: уж не послать ли нам малую тьяп-ляпину, быстрюю карапину, на остров Курию-Мурию, куда своею же дурью сослали мы мудрого Канеава, — пусть спасет нас от неправой напасти.

И тьяп-ляпина подняла снасти. Плывут какнибуди к Канеаву, и, воздав Канеаву славу: так и так — уйми авосей с небосями, хотим с ними жить по-христосьему. Отвечает Канеав: «Не нужно мне ваших слов; одно мне нужно, чтоб мужья были женны, а жены были мужьи; чтобы жили вы друг с дружкой подружи; чтобы детки были рожены, а города горожены; чтобы пришла на кровь схлынь, а на зло сгинь. Аминь». И, приплыв к берегам, где все враги врагам, где идет на полк полк, а человек человеку волк, идет Канеав к авосям и небосям и слезно просит:

— Не меч, но мир, не смерть, но серп; послушайте меня, Канеава, не живите кроваво, а живите братней семьей: авось, небось да какой-нибудь третей.

Озлились авоси, а небоси и того хуже:

— В нас кровь гуще — в тебе жиже; ведь ты же из нас, из небосей, родом, а с какнибудиевым народом заодно.

Прибибли небоси к бревну бревно, а раскрестив Канеава, пядь и пядь, кисть и кисть — вверх, вниз, влево и вправо — гвоздями к бревну, и говорят: ну, дали тебе какнибуди мзду, вот тебе и наша плата — в каждую ладонь по гвоздю, по заплате.

И, оголив мечи, бросив труп Канеава в ночи, пошли небоси-авоси, грудь к груди, добывать какнибудей. Но случилось тут у озера без имени такое, что и не сыскать ему имени. Клонул старый ворон тело Канеавово и с первого же клева насытился; насытившись, вынул клюв закровавленный и полетел к морю дальнему; прилетев к морю дальнему, опускался ворон на тихую волну, и чуть клюв в воду, чтоб кровь омыть,— заворошилось море и ну — волной о волну бить, перекатами через вал — вал. А старый рак в это время крепко спал. И слышит: сквозь сны острыми клиньями колют-будят его стрекальца актиньевы. Клешни рачьи в песок врыты, но глаза пучьи у старого рака всегда раскрыты:

— Дай доснить, Актиньюшка, не буди.

А та:

— Буди-буди, старый, иди-иди.

Рак было:

— Над нами не каплет.

А та:

— Иди!

Он было еще:

— Стрекай стрекалами, свистни.

А та свое:

— Иди, иди, свистни.

Видит рак: делать нечего; клешню за клешней, задом наперед, назад головой, сквозь волнный вой, выполз на берег, клешнями в песок, огляделся, сел и, подумав «пусть», поднял свой правый ус и... засвистел.

Понесли ветры рачий свист из страны в страну. Просыпались авоси, какнибуди и небоси и говорили: ну-ну, или:— что за дивный свист? А от свиста на деревьях стал зеленее лист, воздух благоуханен и чист, золотистее золота заря, и мечи вдруг стали мягки, как актиниевы стрекала (не рубят — щекочут), и вражды на земле как не бывало, всякому вольно жить всяко, кто как хочет. Вкруг озера без имени стада коров без вымени, волос-к-волосу, в полях колос-к-колосу, никто — ни авось, ни небось, ни какнибудь — не толкает рыбака под бока и в грудь; сидит рыбак, ноги свеся, глядит в зоревую полосу и слышит: рыбы без голосу, подняв из зыбей прозрачные рты, выводят тонко, как на клиросе: «Блажен, еже милует и скоты». На росе, рядком с рыбаком, неразмотанные удочки. На дудочке играет пастух. И с той поры никто не скажет: «Небоси, или авоси, или какнибуди»,— а говорит просто: люди.

1927

## СЕРЫЙ ФЕТР

### 1

На разгороженных полках — как урны в колумбарии — круглые белые цилиндры. Приказчик, придвинув лестничку, взбежал наверх — и одна из урн с картонным стуком опустилась на прилавок. Приказчик сдул пыль с крышки и отбросил ее на сторону.

— Вот!

В пальцах его вращался, охорашиваясь, серый, цвета сумерек, фетр: туля его была охвачена темной лентой; из-под края ее белел номерок. Поймав зрачками одобрительный кивок покупательницы, приказчик выдернул из кармана талонную книжку и отогнул ей листы.

### 2

Это нельзя было назвать мыслью. Оно было похоже на мысль не более, чем сумерки на ночь. Но всякий раз, когда на извилах мозга появлялось это серое, еще не оконтуренное пятно, все мысли настороженно щетинились, как

псы, учуявшие шакала. И поэтому серый вползень выбирал время, когда огни сознания в нейронах потушены и ветви дендритов отенены снами. Предмысль осторожно ступала по окраинным, предместьевым извилинам мозга, не находя нигде себе приюта.

Так было и в эту ночь. Серый вползень, пользуясь тем, что веки мозговладельца наглухо закрыты, прокрался в мозг, замешавшись в толпу идущих из дали переселенцев — снов. Но внезапно мозг ударило голосом, сны бросились врассыпную и веки распахнулись. Человек, приподнявшись на локте, увидел: женино лицо — поперек лица улыбка — под улыбкой на подогнутых ладонях серый фетр.

— Этак можно проспять свои именины!

Муж провел рукой по срезу полей шляпы.

— Сколько раз я просил! Людям, сделавшим себе имя, все дни именины. Ну, а именины безымянных — это как перчатки для безрукого. Не надо...

— Ты все-таки примерь.

— Наверное, тесная. Ну, вот, так и есть. У меня голова, а не колодка для растягивания шляп. Отставить!

В это утро чайная ложечка громче обычного тыкалась о стекло. Складень газеты остался неразогнутым. Под глазами, наклоненными к желтому чаю, желтелись сердитые мешки, казалось, глаз прячет в них излишки солнца, недоуиденные образы, как обезьяна непрожеванную пищу за щеку. Именинник отодвинул стакан и быстро прошел в переднюю. Пальцы его скользнули по вешалочным крючкам, не находя нужного.

— Кой черт! Где моя старая шляпа? Глаша!

Сквозь комнаты сначала топот ног, затем голос:

— Приказано было выбросить.

Именинник, досадливо хмурясь, протянул руку к полке и снял новую шляпу. Он даже вшагнул в комнату, чтобы внимательнее осмотреть подарок: серый обег полей, аккуратно вдавленный суконый пробор и даже шелковый снурок дважды вокруг тульи. Но было что-то в самом прикосновении ворса, в цвете и контуре фетра, заставившее подглазные мешки шевельнуться и выпятить обвись, как если бы в них вложили новый — меж глазом и мозгом перехваченный — образ.

Держа шляпу в руках, человек открыл выходную дверь, и ступеньки закружили его шаги вкруг пролета.

И в это-то время серое пятно, давно уже блуждающее по закраинам мозга, внезапно оконтурилось и превратилось в мысль. Точно черной молнией по мозгу. Фетр выпал из расцепленных пальцев, человек нагнулся, поднял, даже механически отер обшлагом шляпу, но весь он был во власти внезапно охватившей его мысли.

Он шел среди раздробы шагов, меж торопящихся оттопыренных портфелями локтей и думал: зачем жить?

Шаги вели его мимо вращающихся на афишных осях букв, мимо серых шин, расталкивающих толпу, сквозь воздух, полный пыли, криков, вонь и перекланывающихся шляп, мимо своего отражения, падающего в стекло витрин, на расцифренную жесть, резину, картон и манекены, и повторял: зачем?

Это было нестерпимо. Все в нем возмущалось, все мысли поднялись против вторгшегося «зачем». Мысль ширилась, как брызг серной кислоты, расползающейся по ткани. Он чувствовал, что власть над собой переходит от него к ней. Кто-то из прохожих, наткнувшись глазами на его лицо, остановился и опасливо поглядел вслед. Лоб его облил потом. Стараясь побороть психический спазм, человек, защищая себя от взглядов, быстро надел фетр и низко нагнул поля. В то же мгновение мысль, как нить, выскользнувшая из иглы, выпала из его сознания. Все оборвалось так же внезапно, как и возникло.

Человек, растерянно оглядывавший — в поисках причины — пространство вокруг себя и время позади и впереди «сейчас», не догадался лишь сделать одно: заглянуть себе под шляпу.

Любая мозговая извилина, как и линия любого переулка, имеет свою хронику происшествий. Мысли бродят по серой панели мозга то в строю силлогизма, то враздробь, одиноками прохожими; одни из них гнутся под грузом смысла, другие — головами кверху, как пустые колосья. Мысли в голове человека, висящего на телефонном проводе, тоже висят весь день на ассоциативных нитях, переассоциируясь друг с другом. Иные мысли живут одиноко, домоседами своих нейронов. Другие шмыгают по извилинам мозга, предлагая себя к домыслению. К ночи мозгогород, прикрытый черепной макушкой, засыпает. Перекидные лестнички дендритов отдергиваются друг от друга. Мысли засыпают — и только ночные сторожа, сны, бродят по опустелым извилинам мозга.

С рассветом светает и в сознании. Мысли выходят из своих нейро-спален, прилаживая субъект к предикату. Умозаключение делает утреннюю зарядку: малая посылка чехардно прыгает через большую, большая — через вывод. Проснувшееся мирозерцание созерцает изо всех сил.

Нетрудно себе представить, что произошло, когда в одну из таких солнечных минут, в полном ярком мыслесвете, возник среди подчерепного мирка мыслей сумеркосветный Зачемжить. Зачемжить шел, конфузливо волоча за собой свою тень и стараясь разминуться с неприятными ассоциациями. Но ассоциации тотчас же заметили его и, хмуря свои смыслы, внимательно всматривались вслед Зачемжитьевой походке. Кто-то сказал короткое: «Бей!» — другой кто-то: «Зачем жить Зачемжитю?» Мысли, смыкаясь в толпу, шли позади Зачемжитя, пододвигаясь все ближе и ближе к его шагу. Он попробовал было юркнуть в одну из мозговых извилин, но навстречу ему выставилось несколько сцепившихся руками враждебных ассоциаций. Зачемжить ускорил шаг. Но расстояние между ним и преследующими укорачивалось. Шаг перешел в бег. Мыслетолпа надвигалась, грозя нахлынуть и размыслить в ничто. Зачемжить, напрыгая последние силы, свернул в пустынный мозговой извив и добежал до черепной стенки. Преследование не утихало, он слышал близящийся колючий шаг догоняющих мыслей. Надо было решаться. Впереди, поперек височной стены, зигзагился черепной шов. Зачемжить протиснулся в шов и выпрыгнул наружу. Прямо перед ним, прижавшись желтой кожей к коже виска, топырилась фетровая внутритульевая закладка. Беглец, еле переводя дух, выпрыгнул меж сукна и кожи и застыл, вслушиваясь в зачерепной шум.

Преследование как будто утихло, оборвавшись там, где-то позади, за стеной лба. Мысль сидела, стараясь не шелохнуться в своем убежище. Так произошел единственный в истории мыслестранствий случай: крайняя необходимость заставила идею переселиться из мозга в его окрестности, из головы — в шляпу.

## 4

Жена типично изменяла с типичным любовником. У любовника были вотнички 42 и тридцативосьмисантиметровые бицепсы. В юности его мышление было рассеяно более или менее равномерно по всей нервной системе, но затем оно стянулось к четвертому и пятому поясничным позвонкам, заведующим, как известно, сексуальными рефлексами. Любовник полагал, что женщины различаются лишь цветом юбок, в сумерках, кстати, неразличимым. С сумерками он вообще был в дружбе. И когда после энных объятий где-то в прихожей зашуршал английский ключ, любовник нырнул в самый темный угол, ища помощи у сумерек. Совсем недалеко — мимо прикрытой двери — прошагали знакомые прижимистые шаги. Справа хлопнула створа двери. Любовник, приведя себя в порядок, вышел на цыпочках в прихожую и, разменявшись беззвучным поцелуем, сдернул с вешалочного крюка шляпу. Второпях он не заметил, что шляпа была шляпой мужа. Серый фетр покорно вшершавился меж указательного и большого пальца левой его руки.

## 5

Любовник шел по уснувшим улицам города, обмахиваясь шляпой. Небо сигнализировало зелеными звездами: путь в жизнь свободен.

Грудь легко вбирала черный воздух. Думалось: как хорошо, что у жизни никакого смысла, как хорошо, что вот поужинал женщиной, а там, дома, на столе ждут ветчина и бутылка белого вина, как хорошо, что там где-то кто-то думает за тех вот, тут вот, которым можно не думать. Человек взглянул вперед: навстречу ему близилось взгорбие моста. Огни послеполуночного города хотели утонуть в реке — и не могли: она и ветер колыхали их на черных рябях. Он дошел до середины излучины и нагнулся над мостовым барьером. Сверху ударило легкой россыпью дождевых капель. Надо надеть шляпу. Ну вот, готово.

Зачемжить, почувствовав притиск горячей человеческой кости к коже его временного жилища, зашевелился. Черт побери, он не создан для внечерепных мытарств. Вспомнилось мозговое тепло, мякоть серой коры, уютная глубь мыслевых извилин. Зачемжить, выкарабкавшись из кожаной пазухи, подобрался к теменному шву и осторожно впрыгнул в мозг незнакомца.

Бывают мозги вечно бодрствующие — под нетухнувшими лампами смыслов, — умоцентры, извилины которых пересекаются, как перекрестки нью-йоркских авеню. Бывают умы тихие, но трудолюбивые, как рыбацкая деревня. Они любят сонные паузы (Декарт спал одиннадцать часов в сутки), но, проснувшись, они забрасывают свои многоузлые мрежи в истину и терпеливо ждут улова. Бывают умы, которые были умами, но обветшали, растратили населявшие их мысли, легли под леты секундных песков, превратились в музейные мозги, редко посещаемые мыслями-туристами. Таким именно был мозг человека, надевшего чужую шляпу с чужим Зачемжитом, запрятанным под кожаную закладку. Мысль, соскучившаяся по мозгу, впрыгнула внутрь чужой головы и стала быстро, с рвением подлинного туриста, обегать все его — самые потаенные — закоулки. Следы Зачемжития прикоснулись ко всем нейронам, ко всем нервным нитям и перетяжкам. Человек, охватив руками мостовые перила, стоял — лицом в полузатонувшие огни. Меж шляпой и лбом капелился холодный пот. «Зачем жить?» — дернулось с губы, человек нагнулся ниже, потом еще ниже, и всплеск разомкнувшихся огней ответил кратко и холодно на двусловие.

## 6

Дедушку Ходовица любили все в округе. Он служил сторожем и водным сигнальщиком в шести километрах, считая по течению реки. Сегодня, как и вчера, и позавчера, он встал с первой прожелтиной зари и, закинув удочки за сутулое плечо, спустился по песчаному скосу к берегу реки. Сигнальные знаки — белые и красные свеси на гэобразной мачте — были в порядке. Наживив червяков, Ходовиц забросил крюки в утреннюю, еще спящую воду. Какая-то мелкая рыбешка пошутила со своей смертью, слегка потормошив поплавок, и уплыла вглубь. Через двадцать три минуты надо бы быть пароходу из города. Ходовиц нагнулся к удилищам, чтобы проверить червячков. Первое — в порядке. Второе — тоже. Третье — что за черт! — увязло в руке, вытягивая струною свою лесу. Старик потянул крепче: прямо на него плывло что-то серое и круглое с высоким вздольем. Через десяток секунд Ходовиц, удивленно покачивая головой, рассматривал серую измокшую шляпу, снятую с крючка. Чудеса.

## 7

Сторож Ходовиц по воскресеньям имел обыкновение заходить за двумя-тремя глотками пива в близлежащую кнайпу. Два-три глотка — это надо понимать, конечно, условно. Над пивной пеной всплывала лопающаяся пустотами пена воспоминаний, дружественные чоки звенели стеклом в стекло, дым из трубок пробовал живьем вознестись на небо, а щеки кельнера — подкумачиться под цвет кумачового передника.

На этот раз «старина Ходовиц» был встречен особенно торжественно. Десяток кружек почтительно поднялось навстречу вошедшему. Триумф был подготовлен самим триумфатором: тщательно высушенный и выютюженный серый фетр, подаренный ему рекой, городской фетр, который он, не без чувства робости, нес всю дорогу в руках, завернув его в фуляр, сейчас красовался, свер-



кая графитной лентой, изящно выгнутой тульей и серым шелковым снурком над сединами старика.

В этот день пиво особенно легко булькало сквозь воронки горл. Фетр напоз на виски старику и внимательно слушал тосты и перезвяк кружек. Старик пил, отвечал на шутки и поздравления и с каждым глотком становился мрачнее и непонятнее себе самому.

Дело в том, что Зачемжить, промокший и продрогший в шляпе, в которую он успел выпрыгнуть из мозга утопленника, как выпрыгивают из тонущего судна в спасательную шлюпку, искал тепла человеческой крови и внутричерепного крова. Проникнув — при первом же притиске головы к шляпе — в рыхлый, склеротический мозг старика, он тотчас же начал распоряжаться в нем по-своему.

Полужилой, напоминающий селение, через которое прошла чума, мозг старика был не густо населен мыслями-инвалидами и мыслями-пенсионерами. Они получали свою скудную плату одобрения, дружеские похлопывания по плечу, «верно, старина», «расскажи-ка еще раз», но передвигались они на логических костылях, с прихромью и ковьяльнем. При виде вторгшегося Зачемжителя нейронные инвалиды запрятались по своим норам, и мозг поступил в полную власть Зачемжителя.

Старик хмуρο отодвинул стакан и, несмотря на уговоры, оставил веселую компанию. Он шел домой сквозь ночь и теплые удары ветра, нахлобучивая на лоб неприятно тесную шляпу и бормоча: «Зачем жить?..»

Утренний пароход, подплывший из города, не встретил обычного сигнального огня. Старик висел в петле под потолком сторожки. Снизу под выгнутыми смертным спазмом пятками лежал опрокинутый табурет.

## 8

Манко Ходовицу не хватало шести дней до восемнадцати лет. Эти шесть дней нужны ему были до зарезу. У Манко была невеста, а жениться ранее семнадцати — день в день — нельзя.

Манко читал по слогам. Но слогов в телеграмме, присланной из большого города (в городах Манко не бывал), было немного, и он овладел их смыслом. Смысл был прост: его дядя, водный сторож у города, о котором он смутно знал по рассказам покойной матери, умер; его, Манко, вызывали в город — получить небольшое, но большое своей неожиданностью наследство. Манко прикинул в своем не слишком поворотливом мозгу: из денег можно сделать избу, купить корову, пожалуй, и лошадь. Все это очень и очень подымет его вес в глазах родителей невесты. С вечерним поездом Манко отправился в город.

Все шло как нельзя лучше. Манко получил деньги, которые он тотчас же запрятал под рубаху в нагрудный мешочек, продал соседу кой-какую утварь в казенной сторожке покойного дяди. Все было в порядке. Поезд через полтора часа. И только уже в минуту ухода, окинув глазом молчаливую сторожку, Манко заметил в углу на деревянном тычке сереющий сквозь серость сумерек фетр. Он сдернул его с тычка и вышел, вжав двери в стену.

Сперва — до города — он нес серую шляпу в руке. Но два-три прохожих, остановившие его словом «Продаешь?», заставили Манко изменить отношение к этой детали наследства. Он снял с головы свой порядком просаленный картуз, сунул его в карман и надел поверх пружинно-упругих черных волос серую франтоватую городскую шляпу. Чем он хуже других! Манко шел к вокзалу, закинув голову и весело посвистывая. Но с каждым шагом его и Зачемжить делал шаг внутри головы, и свинцовая тяжесть опускалась на мозговые излучины парня. У него был нехитрый деревенский мозг. Как деревня тянет череду своих изб вдоль одной улицы, так и мысли парня тянулись одноулично. И тянулись они к одному: к невесте. Но сейчас, пристально вглядываясь сквозь себя, он никак не мог различить ее образа. Между нею и им стоял, корча препоганые рожи, Зачемжить. Манко взял билет, автоматически вшагнул в вагон с деревянными сиденьями, сел.

Рядом, у локтя, кто-то копошился, разувливая сундучные узлы, кто-то выдергивал губами из длинной дудки короткие носовые тьюкающие звуки.

Женщина напротив Манко, покачав добрым лицом, сказала: «Хорошая шляпа, паренек», — а старик, покопавшись костистой пядью в бело-желтой бороде, прослунявил: «Да сам-то паренек — шляпа». Манко не заметил, как поезд завращал своими осями. Что-то змееноосное присосалось к сердцу и жадно заглатывало жизнь. Манко повернул лицо, орошенное потом, к окну: за стеклом бежали, замахаясь на него деревянными руками, деревья; грязно-серое облако вползало липким кляпом в глаза. Тоска стала непереносной, как подбирающаяся к горлу рвота. Манко, поднявшись, быстро вышел в тамбур. Под колесами загрохотал мост. За отмельком фермовых решеток — свободный воздух, а снизу — отвесный скат насыпи. Перегнувшись с верхней ступеньки, Манко оторвал левую руку от поручня. Зачем жить?

И в это мгновение — резким ударом ветра — с головы его сорвало шляпу. «Зачем жить?» еще не успело оставить белеющих губ, но Зачемжить, стараясь разминуться с смертью, успел выпрыгнуть в свое ставшее привычным обиталище. Манко висел лишь на сцепе трех пальцев правой руки. Крутым поворотом колес его рвануло вниз, в бездну, — один палец сорвался с поручня, но два еще цеплялись за поручень и жизнь. Нечеловеческим усилием Манко отшатнул свое тело от ската внутрь. Ветер трепал его волосы и бил по раскаленным щекам. Стараясь поймать выпрыгивающее из горла дыхание, он вернулся в вагон. Его встретили сперва недоуменными улыбками, потом смехом: «Шляпу-то забрал ветер? Жди, когда ветер отдаст...» И под раздвинутые насмешкой рты Манко весело засмеялся, показывая белую клавиатуру зубов. О, в шляпе ли дело, когда дело в шляпе: вот тут, под рубашкой, топырящиеся деньги, а впереди — любовь, жизнь, рождающая жизни, и снова любовь.

## 9

Между тем шляпа с Зачемжитем, спрятанным за кожаный привисочный ее полог, цепляясь за стебли трав, скатывалась по насыпи вниз...

И пусть себе. Слову моему я, автор, говорю: стоп, ни с места. Новелла эта написана по методу нанизывания. Самый дешевый способ, за который тем не менее почему-то платят построчной платой и читательским вниманием.

Ну куда мог попасть в дальнейшем планирующий Зачемжить: в руки железнодорожного сторожа, пропойцы, превратившего свою жизнь в сплошную зачемжизнь; в руки случайно проезжающего велосипедиста, прикрывшего Зачемжитьевой скоростью свои туристские мозги; в раздевалку летнего театра, где так легко перепутать номерки и тем заставить Зачемжитя еще раз переменить квартиру... И вообще — мало ли куда. И стоит ли на это тратить воображение?

Важно только одно. Серый фетр, переходя из рук в руки, должен был превратиться — рано ли, поздно ли — в грязный фетр, в старую, заношенную и затертую шляпу, от которой брезгливо отдергиваются все сколько-нибудь уважающие себя лысины и темена. Короче, к последней главе новеллы бывший фетр — с оборванной шелковой нитью, затерханной лентой вокруг тульи и обвислыми полями — попадает — в виде подаяния — к нищему.

Как я ясно вижу последнюю главу меняющего головы фетра! Нищий стоит под зенитным солнцем. Солнце бьет желтыми бичами по его облезлому черепу.

Но по нищенскому этикету не принято надевать шляпу на голову — ее надо держать в руке, протянутой под пятаки.

И бедный Зачемжить, сидя под ударами пятакowych ребер, тщетно мечтает о впрыге в человеческий мозг. Нет, теперь это вряд ли для него возможно: так, видно, и жить ему, Зачемжитю, под тычками медяков, хлестом солнечных лучей и ударами дождевых капель. И отщепенцу Зачемжитю надо решать — на этот раз уж для себя самого — проблему: зачем жить?

1927

Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА

# Искусство перевода

Д. Д. СЭЛИНДЖЕР

## Р а с с к а з ы

### Сэлинджер: тоска по неподдельности

Загадочность Сэлинджера не перестает изумлять даже через тридцать лет после его фактического ухода из литературы. Так и не выяснены причины, побудившие к такому решению: чувство исчерпанности своих писательских возможностей? Опасение повторять и тиражировать себя? Но, может быть, вернее предположить какой-то глубокий перелом во взглядах, нечто родственное пережитому Толстым, который к старости находил ничтожными и постыдными свои художественные сочинения.

Добавим, что все эти годы циркулировали слухи о большой и необыкновенно важной книге, которую Сэлинджер пишет, избрав отшельничество как судьбу. Периодически сообщения о романе, вроде бы почти готовом для печати, появлялись до середины 80-х годов. Но каждый раз выяснялось, что это очередная выдумка журналистов, жаждущих сенсации.

Сэлинджер в таких случаях не возмущался, не опровергал, давая понять, что его вообще не затрагивает мирская суэта. И слухи увядали сами собой. Потом они прекратились вовсе.

Вероятно, самого Сэлинджера вполне устраивает тот факт, что сегодня о нем практически не вспоминают, а если заговаривают, то как о классике, принадлежащем бесконечно далекому времени. Достоверно известно, что он уже несколько десятилетий страстно интересуется буддизмом, и новообретенная вера, похоже, заставила его отказаться от творчества как слишком мирского занятия. Известно и другое: в Корнише, городке на берегу реки Коннектикут, где Сэлинджер безвыездно живет в усадьбе, обнесенной высокой оградой, посреди сада построено что-то наподобие летнего домика, своими очертаниями напоминающего замок Мюзю, старинное поместье в Швейцарии, которое друзья купили для Рильке сразу после первой мировой войны. Стареющий немецкий поэт пережил на склоне лет необычайный прилив вдохновения, которому мировая лирика обязана «Дуинскими элегиями». Как знать, не увенчается ли шедевром и затянувшееся уединение Сэлинджера?

Впрочем, такие надежды сохраняются разве что у самых восторженных почитателей американского прозаика. Ведь последнее художественное произведение, которое им опубликовано — и то всего лишь фрагмент, — датируется 1965 годом. С тех пор не появлялось ничего, даже интервью. За единственным исключением: корреспонденту «Нью-Йорк таймс» однажды все-таки удалось добиться от Сэлинджера крохотного текста, написанного, видимо, с единственной целью, чтобы его больше не тревожили. Сказано в этом тексте вот что: писатель — существо с очень хрупкой психикой, его надлежит воспринимать как человека не вполне нормального, но распространяемым меркам. О том, что составляет для него смысл жизни, ни один серьезный писатель говорить не станет, не надо задавать ему глупые вопросы, над чем он работает. Что же касается публикаций, пусть от него ничего не ждут. Сэлинджер об этом просто не думает. Ему намного дороже собственный душевный покой.

Бог весть каким образом несколько лет назад сумели добиться от него разрешения на перепечатку рассказов, которые он писал совсем молодым, еще перед войной и в годы, отданные армии. Прежде Сэлинджер категорически отказывался даже упомянуть о своих писательских опытах, предшествовавших повести «Над пропастью во ржи», которая в 1951 году сразу сделала его знаменитостью: американской, затем и мировой. Есть сборник «Девять рассказов», переведенный на все европейские языки, хорошо известный и нашим читателям, но эти новеллы написаны уже после того, как о Сэлинджере заговорили как о крупном литературном явлении. Наконец, есть цикл повестей, посвященный разным представителям семейства Гласс, очень похожего на семейство Сэлинджеров. Все вместе составляет том примерно в пятьсот страниц. Оставшееся за пределами этого тома автор долгое время считал как бы и не существующим вовсе.

Рассказы войдут в двухтомное собрание сочинений Д. Д. Сэлинджера, публикуемое издательством «Фолио» (Харьков) в рамках программы «Вершины».

И вот теперь эти не собранные, не ценимые им самим рассказы наконец-то не нужно разыскивать в периодике полувековой давности, потому что они, переизданные книгой, вернулись в круг активного чтения. Три из них лежат перед читателем.

Не пытаясь предугадать впечатление, которое произведет эта публикация, все-таки хочется надеяться на читательское неравнодушие. Сегодняшняя оптика восприятия, разумеется, совсем не та, что была в 1961 году, когда появились «Над пропастью во ржи» буквально ошеломило: номер «Иностранной литературы» с этой повестью рвали из рук, а библиотечные экземпляры были зачитаны до дыр. С той поры у Сэлинджера появилось слишком много подражателей, одаренных и бесталанных, слишком много учеников, которые тиражировали его характерные художественные ходы, сводя их к модному приему, если не хуже — к клише. Этих имитаторов было великое количество и в Америке, и у нас, если вспомнить типовую прозу «Юности» в шестидесятые годы и даже такие по-своему яркие памятники тогдашней литературы, как доэмигрантские повести Василия Аксенова. Вот почему сейчас так трудно опознать художественное открытие, на исходе века читая прозу, которая в середине столетия воспринималась — и по праву — как образец самой неподдельной новизны: матернала, стилистики, героев, коллизий...

Оно не обманывало, это ощущение, что в литературе обозначилось нечто радикально новое, как бывает, если появляется действительно яркий талант. Даже сейчас «Над пропастью во ржи» остается совершенно живой литературой, словно и не прошло без малого полвека. Да, пожалуй, и не только литературой. Скорее это манифест, декларация или, если угодно, исповедание веры, во всяком случае, художественный документ, увековечивший и свое время, и некий тип сознания.

А вот эскизами, без которых подобный прорыв в новое литературное измерение просто не состоялся бы, как раз и служили новеллы, писавшиеся, когда Сэлинджер еще не снял форму военного связиста, и напрасно последствии им отвергнутые, как будто это всего лишь черновики, не представляющие интереса для публики. На самом деле очень многое из того, что ассоциируется с именем Сэлинджера, появилось уже в первых его рассказах. И даже Холден Колфилд, подросток, которого признали своим по духу и по отношению к миру несколько поколений подростков в самых разных странах, был представлен читателям еще за шесть лет до знаменитой повести. Колфилд — в раннем рассказе фамилия солдата, который пропал без вести в Европе. Ему было всего девятнадцать лет. Остались брат и совсем маленькая сестра, будущая Фиби из повести «Над пропастью во ржи».

Потом появилась и новелла, где описаны школьник Холден, каникулы, первая влюбленность, первое похмелье. Этим рассказом Сэлинджер дебютировал в «Нью-Йоркере», самом престижном из американских литературных журналов. Там он печатался все недолгие годы своей славы, там была опубликована и повесть, названная по строке из баллады Роберта Бернса.

Есть нечто специфически сэлинджеровское, создающее органичную связь между всеми его произведениями от почти ученических до ставших хрестоматийными. Эта связь сразу чувствуется, если вслушаться в особую интонацию Сэлинджера и приоткрыться к его обезоруживающе простым метафорам, которые на поверку наделены очень емким и неочевидным смыслом. Но можно обнаружить и некую общность темы, вернее, мотива. Несколько огрубляя, все-таки сформулируем эту неотступную сэлинджеровскую тему так: у него почти всегда речь в конечном счете идет о мучительном переходе из мира юношеской неуклюженности во взрослый мир. О том, как трудна происходящая при этом смена ценностей, какие она влечет за собой травмы и потери, какое отчаянное, хотя и безнадежное сопротивление вызывает сама неизбежность такого шага.

Его герои боятся взрослеть, хотя и м самим не до конца ясны и эти страхи, и стоящие за ними побуждения. Тут сложный лирический сюжет, и оттого такими необычными кажутся в общем-то достаточно тривиальные житейские истории, когда их рассказывает сэлинджеровский повествователь с его совершенно особенным устройством зрения, подмечающего самые тонкие, на вид несущественные нюансы. С его воспаленной настороженностью и недолимым отвращением ко всему стандартному, общепринятому, плоско рациональному, с его беззащитностью в мире реальных отношений, строящихся, уж во всяком случае, не на романтике, с его непреодолимой наивностью, которая по-человечески притягательнее, а может быть, и ценнее, чем безошибочное знание печальных достоверностей опыта.

Причем все это — и наметка сюжета, который станет для Сэлинджера центральным, и набросок героя, занявшего потом доминирующее положение, — появилось уже в первых рассказах. Сэлинджер ими пренебрегал. Но многие были бы счастливы, сумев написать — так написать — хотя бы две-три страницы.

Потому что почерк мастера распознается уже и в этих, пусть не до конца отшлифованных новеллах, иной раз выглядящих чем-то наподобие этюда или будничной зарисовки. Уже обозначился типичный для Сэлинджера конфликт, когда персонажу не дано приспособиться к реальным обстоятельствам просто по той причине, что этот персонаж наделен сознанием, слишком чужеродным на фоне того, что признается нормой и образом. Уже проступили и самые характерные особенности самого

героя, которого впоследствии станут называть то бунтарем, то беглецом, то отклоняющимся от заведенного порядка вещей.

Все эти определения, конечно, очень приблизительны, и еще обманчивее иллюзия, что персонажи Сэлинджера почти не отличаются друг от друга. На самом деле за внешним сходством чаще всего открывается существенное несовпадение и жизненных ориентиров, и моделей поведения. Но что-то их тем не менее роднит, пусть Холден ощущает себя спасителем на краю бездны, а, например, Симор Гласс шагнул в эту бездну вроде бы без всякого внешнего повода. Они очень разные, но этих героев сближает тоска по неподдельности, знакомая им всем. Не жажда прочности, а, наоборот, неодолимое, порой даже отчаянное стремление отделиться от воплощающих разумность, безликость и практицизм по принципу «живи, как все».

И вот этот смысл заключает в себе та порой трогательная, порой печальная история бегства от взрослости, которую рассказал Сэлинджер в своих книгах, ставших классикой литературы нашего века. Время показало, что можно воспроизвести его стиль, можно дублировать его приемы повествования и даже создать видимость абсолютного соответствия сэлинджеровской тональности. Но чувство художественного открытия уникально, и оно сопрягается все-таки с одним Сэлинджером, сколько бы у него ни объявлялось имитаторов и как бы критически ни оценивал себя он сам.

Алексей ЗВЕРЕВ

### НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ РАПОРТ ОБ ОДНОМ ПЕХОТИНЦЕ

К нам в войсковую канцелярию он пришел в габардиновом костюме. По возрасту он давно перешагнул ту критическую цифру (кажется, таковой считают сорок), когда американские мужчины все как один объявляют свои женам, что теперь они дважды в неделю будут посещать стадион, на что жены соответственно отвечают: «Замечательно, милый, только не сыпь, пожалуйста, пепел хотя бы здесь, в гостиной. Ведь для этого существуют пепельницы». Пиджак его был растегнут, и в глаза сразу бросалось брюшко, выдававшее старого любителя пивка. Воротник рубашки был насквозь мокрым. Любитель пивка тяжело дышал.

Со всеми своими бумажками он подошел ко мне и разложил их передо мной на столе.

— Не взглянете? — попросил он.

Я объяснил, что новобранцами не занимаюсь, это обязанность другого офицера.

— Ох ты, — огорчился он и начал сгребать свои бумажки, но я его остановил и стал их просматривать.

— Вообще-то у нас не призывной пункт, вы знаете? — спросил я его.

— Знаю. Но, как я понял, рядовые могут записываться и у вас.

Я кивнул.

— Только учтите: если ваши документы примем мы, то и боевую подготовку вы будете проходить у нас же. А мы, между прочим, пехота. И немного отстали от века скоростей. Ходим по земле собственными ножками. Кстати, на ноги не жалуетесь?

— С ногами у меня полный порядок.

— Но у вас одышка, — не отставал я.

— Но с ногами-то все нормально. Одышки тоже скоро не будет. Я бросил курить.

Я стал листать его анкету. Старшина тоже заинтересовался и придвинул стул к моему столу.

— Значит, ведущий специалист, да еще на ключевом военном предприятии, — не сдержался я и посмотрел на этого самого Лолора. — А разве вам не кажется, что в вашем возрасте наибольшую пользу отечеству можно принести именно на работе, тем более на вашей?

— Я нашел себе замену. Отличный парень, светлая голова и мощные бицепсы. Он справится.

— Погодите, погодите, — я закурил сигарету, — у него ведь никакого опыта. Пройдет не один год, прежде чем он начнет справляться.

— Вот тут я с вами согласен,— заметил Лолор.

Старшина зыркнул на меня, недоуменно выгнув седую бровь.

— К тому же у вас имеется жена и двое сыновей,— долдонил ему я.— Как ваша жена отнеслась к тому, что вы собрались на фронт?

— Рада, конечно. А что вы хотите? Все жены только и мечтают сплавить мужей на фронт,— сказал он, озорно улыбнувшись.— Да, у меня их двое, сыновей. Один сейчас в армии, второй моряк, вернее, был им, пока не потерял под Пирл Харбором руку... Наверное, мне не стоит больше отнимать у вас время. Извините, старшина, вы не подскажете, где я могу найти того офицера, который записывает новобранцев?

Старшина Олстед ответить не соизволил. Я протянул Лолору его документы. Но он не уходил, ждал ответа.

— Пройдете вдоль ротных корпусов,— сказал я,— повернете налево, и первое угловое здание — то, что справа.

— Спасибо. Извините, что оторвал от дела.— Он явно издевался. Потом этот Лолор пошел к двери, на ходу вытирая носовым платком шею.

Минут через пять после его ухода, не позже, раздался телефонный звонок. Звонила его жена. Я и ей объяснил, что не занимаюсь новобранцами и ничем, решительно ничем не могу помочь. Если ее муж физически и психически здоров и если он добропорядочный гражданин, его обязаны принять. Офицер, ответственный за новобранцев, не может не выполнить приказ. Я утешил ее, сказав, что скорее всего медики его не пропустят.

Я держался очень официально, хотя со мной никто и никогда так мило не разговаривал. Да еще таким приятным голосом. Поразительно приятный у нее голос, будто миссис Лолор всю жизнь только и делала, что уговаривала маленьких мальчиков взять печенье.

Я хотел сказать ей, чтобы она больше не звонила. И никак не мог. Не мог я противиться этому голосу.

Правда, в конце концов мне все-таки пришлось проявить твердость и повесить трубку. Поскольку старшина уже явно собирался прочесть мне лекцию о том, как офицеру надлежит обращаться с чересчур разговорчивыми дамочками.

Я наблюдал за Лолором. Даже бесконечная муштра не выводила его из равновесия. Получив недельный наряд на кухню, он с адмиральской сноровкой брал на бордаж раковины и прочие объекты. Он довольно быстро освоил строевой шаг, научился ровно застилать постель и до блеска надраивать в казарме полы.

Из него получался отличный солдат, мне даже хотелось посмотреть, каков он в деле.

После боевой подготовки его определили в первый батальон, в роту «Ф», которой командовал Джордж Эдди, отличный, надо сказать, мужик. К Эдди он попал в конце весны, в прошлом году это было. В начале лета подразделению Эдди был дан приказ готовиться к отплытию за границу. И уже в последнюю минуту он вычеркнул Лолора из списка наличного состава.

Лолор тут же явился ко мне. Он был здорово обижен и пренебрегал — самую малость — субординацией. Раза два мне пришлось напомнить ему, как положено разговаривать со старшим по званию.

— Ко мне-то вы зачем пришли? — спросил его я.— Ведь не я же ваш командир.

— Наверное, это вы ему посоветовали. Я помню, как вы не хотели меня записывать.

— Ничего я ему не советовал.— И это была чистая правда. Я Эдди никогда и ничего о нем не говорил, ни плохого, ни хорошего.

И тут Лолор такое сказанул, что у меня по спине побежали мурашки. Чуть наклонившись над моим столом, он отчеканил:

— Я хочу действовать. Понимаете? Дей-ство-вать.

Я старался не смотреть ему в глаза. Сам не знаю, почему... Лолор выпрямился. Спросил, не звонила ли больше его жена.

Я сказал, нет, не звонила.

— Ну значит она звонила капитану Эдди,— с горечью произнес он.

— Ну это вряд ли,— сказал я.

Лолор с отсутствующим видом кивнул. Потом отдал мне честь, сделал поворот кругом и пошел к двери. Я смотрел, как он идет. Ему тогда уже выдали форму. Он сбросил фунтов пятнадцать, плечи больше не горбились, а брюхо, вернее, то, что от него осталось, нисколько не выпирало. Нет, этот парень неплохо смотрелся, совсем неплохо.

Его перевели во второй батальон, в роту «Л». В августе ему дали капрала, а к началу октября он получил первые сержантские нашивки. Командиром его был Бад Гиннес, так вот, Бад говорил, что Лолор лучший в роте солдат.

В разгар зимы (как раз тогда мне приказали возглавить курсы боевой подготовки) второй батальон был отправлен. Несколько дней после их отплытия я никак не мог вырваться, чтобы позвонить миссис Лолор. И только когда мы получили сообщение о том, что они прибыли к месту назначения, я все-таки позвонил ей — по междугородному телефону.

Она не плакала. Только голос ее был очень тихим, я почти не слышал, что она говорила. Хотелось ей что-нибудь сказать — такое, от чего ее чудесный голос сделался бы прежним. Но что? Что ее муж очень храбрый парень? Она и сама знала, что храбрый. Это было каждому ясно. И никакой он давно не парень. А главное, получилось бы очень натужно и неестественно. Я лихорадочно думал, но на язык лезли какие-то истасканные словечки.

И я понял — мне не сделать ее голос прежним, по крайней мере в данную минуту. И все же я придумал, чем ее утешить. Да, я знал, это ее утешит...

Я стал рассказывать:

— Ну, я послал за Питом. И он сумел провести меня на борт. Папаша хотел нам откозырять, но мы обняли и расцеловали его — на прощание. Он держался молодцом. Правда-правда, мать.

Пит — это мой брат. Он был тогда младшим лейтенантом в морской пехоте.

1942

## ПОСТОРОННИЙ

Горничная там, за дверью, была молоденькой и фигуристой, и ее определенно наняли на неполный рабочий день.

— Вы к кому, молодой человек? — ледяным голоском поинтересовалась она.

— К миссис Полк,— ответил «молодой человек». Он уже четыре раза орал ей в этот поганный домофон, к кому он пришел.

Лучше бы он пришел в другой раз, когда на домофоне не эта идиотка. И когда отцветут травы и его не будет мучить неодолимое желание выдрать оба глаза, чтобы навеки покончить с этой его сенной лихорадкой. Лучше бы он пришел... Лучше бы он вообще сюда не приходил. Лучше бы он сразу повел сестренку лопать ее обожаемый эскалоп в кафешку у какой-нибудь подземки, а потом бы они с ней прямиком на утренник, а с утренника — на поезд... и нечего, нечего было тащиться сюда. Зачем? Излить свою «израненную душу» совершенно незнакомому человеку? А может, прикинуться этаким кретином, похихикать, чего-нибудь наплести да смыться, пока не поздно?

Горничная посторонилась, пропуская его, лепеча какую-то чушь про ванну, которую хозяйка не то еще принимает, не то уже приняла... И молодой человек с красными глазами и с вцепившейся в его руку голенастой девчушкой вошел.

Это была дорогая и неудобная нью-йоркская квартирка, у молодоженов почему-то всегда такие квартиры. То ли при осмотре именно этой у новобрачной окончательно отвалились ноги (после беготни по разным адресам), то ли ей так нравилась шикарная небрежность, с которой ее новенький муж поглядывал на часы, что до прочей ерунды ей не было и дела.

В гостиной, куда препроводили молодого человека и девушку, какое-то из моррисовских \* кресел явно было лишним, и почему-то возникло ощущение, будто настольные лампы горели здесь всю ночь. Да-а, но над чудовищным искусственным камином он заметил несколько очень хороших книжек.

Интересно, чьи, подумал молодой человек, кому это здесь понадобился, скажем, Рильке или «Прекрасные и проклятые»? Или «Ураган на Ямайке»? Это книги девушки Винсента? Или ее мужа?

Он чихнул, и, подойдя к пыльной стопке патефонных пластинок, — любопытно, что там, — снял верхнюю. Старина Бэйквелл Говард — еще до того как он стал коммерческой приманкой, — пьеса «Голстячок». Чья пластинка-то... девушки Винсента или ее мужа? Он перевернул пластинку и слезящимися глазами посмотрел на грязноватый белый квадратик, прилепленный к кругляшу с названием. На квадратике зелеными чернилами было выведено: «Комната 202, Хелен Бибер. Кто возьмет — убую!»

Молодой человек выхватил из брючного кармана платок и снова чихнул, потом еще раз перевернул пластинку — опять «Голстячком» вверх. В ушах его зазвучал роскошный рык трубы старины Бэйквелла. А затем и остальные мелодии тех неповторимых лет; тех обыденных и еще не «исторических», и почти безмятежных лет, когда все их (мертвые теперь) парни из двенадцатого полка были живы и с ходу вклинивались в толпу других, отплясывавших уже парней, тоже мертвых теперь... Тех лет, когда каждый, кто мало-мальски умел танцевать, торчал в канувших в небытие дансингах и хрен что знал о каком-то там Шербуре, Сен-Лу, о Хартгенском лесе или Люксембурге.

Он слушал и слушал — пока за спиной его не раздалось хныканье сестренки; он обернулся.

— Мэтти, сейчас же прекрати.

Только он это сказал, в комнату вторгся резковатый, полудетский еще и очень приятный голос, а затем и его обладательница.

— Эй! Простите, что заставила вас ждать. Я миссис Полк, — пояснила она. — Не представляю, как вы будете их здесь вешать. В этой комнате все окна какие-то чудные. Но сил моих больше нет видеть тот старый замызганный дом наискосок, ну знаете, на улице... как ее там? — Ее взгляд упал на девушку, которая, скрестив голенастые ноги, сидела как раз в том, лишнем моррисовском кресле. — Чья это малышка? — восторженно воскликнула она. — Ваша? Какая лапонька!

Молодой человек опять обреченно выхватил платок, четырежды чихнул, потом, наконец, заговорил:

— Это моя сестра, Мэтти, — объяснил он девушке Винсента. — Я ничего не собираюсь у вас вешать, вы меня с кем-то спу...

— Вы разве не по вызову? И не вешаете штор? А что у вас с глазами?

— Это из-за пыльцы. Сенная лихорадка. Я Бэйб Гладуоллер. Служил в одном полку с Винсентом Колфилдом. — Он чихнул. — Мы с ним здорово подружились... Не смотрите на меня, пожалуйста, когда я чихаю. Мэтти и я, мы приехали сюда, чтобы сходить в кафе и в театр, ну я и подумал, почему бы не зайти, раз уж вы тут живете. Конечно, я должен был позвонить и вообще... предупредить. — Он снова чихнул, а когда поднял глаза, девушка Винсента очень пристально на него смотрела. Выглядела она потрясающе. Такая девушка даже с дымящейся сигарой в зубах будет выглядеть красоткой.

— Эй! — снова воскликнула она, похоже, это было любимое ее словечко. — Тут темно, как в мусорной яме. Лучше пойдете ко мне в комнату.

Она развернулась, чтобы вести их, и уже на ходу бросила:

— Он писал мне о вас. Я помню, ваш городок на букву «в» начинается.

— Ну да. Валдоста, это штат Нью-Йорк.

Они вошли в более уютную и светлую комнату; наверное, это была их спальня, девушки Винсента и ее мужа.

\* Кресло со съемными подушками и регулируемой откидной спинкой (названное по имени автора модели, Уильяма Морриса). (Примечание переводчика.)



— Слушайте. Я же терпеть не могу нашу гостиную. Вот вам кресло. Только сбросьте на пол эти дурацкие тряпки. А ты, кисонька, сядь рядом со мной на кровать. Какое у тебя замечательное платье, ты просто прелесть! Ну? Так зачем вы ко мне пришли? Нет, нет, я рада, да. Не смущайтесь. И чихайте себе на здоровье, я не буду на вас смотреть, обещаю.

Еще со времен Адама мужчине никогда не удавалось устоять перед красотой, перед певучим ее совершенством, особенно если на него обрушивали смертельную дозу. Ну Винсент, мог бы и предупредить. Да он, небось, и предупреждал. Наверняка предупреждал.

— Вот я и подумал..— снова начал Бэйб.

— Слушайте! А почему вы не на фронте? Эй! Вы успели застать новую наградную систему?

— У него сто семь очков,— сообщила Мэтти.— И целых пять звездочек, но вместо них велют носить одну серебряную. А чтобы сразу пять и на одной ленточке — нельзя. А пять было бы намного красивше. Когда целых пять. Правда, форму он все равно не носит уже. Я ее спрятала. В коробку.

Бэйб положил ногу на ногу — лодыжкой на колено — высокие мужчины часто так сидят.

— Да, с этим все. Отстрелялся,— сказал он. Тут бывший комбат покосился на стрелку своего носка (носки были одним из самых непривычных атрибутов его новой, уже без высоких армейских ботинок, жизни), затем перевел взгляд на девушку Винсента. Неужели это и вправду она? — На прошлой неделе отстрелялся,— уточнил он.

— Ну да! Вот здорово!

Хоть бы что-нибудь спросила, хоть что-нибудь... Да зачем ей это? Бэйб в ответ на ее реплику кивнул и решил начать сам:

— Вы зна... Вам сообщили, что Винсент... сообщили, что он погиб?

Тут он снова кивнул и переменял ногу, вернее, лодыжку.

— Его отец позвонил мне,— сказала девушка Винсента,— когда это случилось. Он называл меня «мисс Э-э-э». Он ведь меня с детства знает, но имени моего так и не вспомнил. Ему запало только, что я любила Винсента и что я дочка Хови Бибера. Он думал, мы все еще помолвлены. Так мне показалось. Мы с Винсентом.

Она положила ладонь на затылок Мэтти и стала очень внимательно разглядывать ее руку. Правую, ту, что была к ней ближе. И чего она там такого увидела? Обыкновенная девчоночья рука. Голая, черная от загара.

— Я подумал, вы, может, хотите узнать, как все было... вкратце,— сказал Бэйб и раз шесть чихнул. Запахнув в карман платок, он увидел, что девушка Винсента смотрит на него — и молчит. Это и смущало его и раздражало. Может, ей надоело, что он все вокруг да около. Немного подумав, Бэйб сказал:

— Я не могу вам врать. Про умиротворенное и счастливое лицо — когда... когда он умирал. Простите. Язык не поворачивается. Просто расскажу, как все было. Без красивеньких баек.

— Мне байки и не нужны. Я хочу знать правду,— сказала девушка Винсента. Она убрала с затылка Мэтти руку. И сидела теперь, ни на кого не глядя и ничего не трогая.

— Э-э-э. Умер он утром. Он и четверо рядовых, ну и я, стояли мы у костра. В Хартгенском лесу. И вдруг миномет... Она совсем близко разорвалась, подлетела без всякого свиста или шороха — его накрыло и еще троих. Палатка медиков — полевой госпиталь — метрах в тридцати от нас была. Там Винсент и умер, наверное, через три минуты — после того, как его шаркнуло.— Тут Бэйбу пришлось прерваться и снова извлечь платок. Отчихавшись, он продолжил: — Я думаю, у него столько ран было, ни одного живого места, что вряд ли он был в полном сознании. И вряд ли чувствовал боль. Я действительно так думаю, честное слово. Глаза у него были открыты. По-моему, он узнал меня и слышал, что я ему говорил, но отвечать не отвечал. Последние его слова я слышал до взрыва — что-то там про дрова, которые сами не прибегут к этому хренову костру, и про то, что молодежь должна уважать бывалых вояк, нас с ним

то есть. Сами знаете, за словом он в карман не лез.— Больше Бэйб ничего не стал говорить, потому что девушка Винсента плакала, и он не знал, как ему быть.

И тут вдруг подала голос Мэтти:

— Смешной такой был. Он приезжал к нам. Ох и весело было!

Девушка Винсента все плакала, прикрыв лицо ладонью, но она слышала то, что сказала Мэтти. Бэйб устался на свой низко обрезанный гражданский полуботинок и ждал, когда все пройдет, то есть не пройдет, а хоть как-то образуется... пусть хотя бы девушка Винсента — она у него действительно потрясающая! — перестанет плакать.

Когда она успокоилась,— а успокоилась она тоже как-то внезапно,— он сказал:

— Вы теперь замужем, я не должен был приходиться и так вот мучить вас. Просто я подумал... судя по тому, что Винсент мне рассказывал, вы здорово его любили... Подумал, что вам интересно будет все узнать... Вы меня простите. Кто я, собственно, такой? Посторонний тип, ну и катился бы со своей сенной лихорадкой в какую-нибудь забегаловку, а потом сразу на утренник. Так нет же! Паршиво, конечно. Очень паршиво все вышло. Я знал, что ничего хорошего из этого не получится,— и все равно потащился к вам. С тех пор как я на гражданке, со мною что-то творится, сам не пойму что.

— А что такое миномет? Что-то вроде пушки? — спросила девушка Винсента.

Ну и вопросик... поди угадай, что эти девчонки тебе выдадут...

— Да-да. Вроде пушки. Только у миномета снаряды подлетают без свиста. Простите.

Он слишком часто извинялся, но, если бы ему дали возможность, он попросил бы прощения у каждой девушки, у каждой из тех, чьих парней угробили минные осколки, поскольку подлетают эти мины без всякого свиста... Он испугался вдруг, что наговорил девушке Винсента много лишнего. Представил ей, так сказать, подробный рапорт, не утруждая себя сантиментами. Да еще эта его поганая сенная лихорадка. И все же самое пакостное другое: то, как твои свихнутые на фронте мозги заставляют тебя разговаривать с гражданскими,— не сами слова, а *как* — вот это самое пакостное.

Солдатской твоей башке очень важно, чтобы все точненько, до мелочей, и тебя распирает, как мальчишку: дескать, пусть эти тыловые крысы знают... пока не вытрясу из них все сладенькие байки, которыми их тут без нас пичкали, не выпущу. Хватит вранья. Пусть эта девчонка узнает, как оно, пусть не думает, что ее Винсентик успел попросить последнюю сигарету. Или мужественно улыбался, или изрек на прощанье что-нибудь умное.

Ничего такого не происходило. Ничего, что бывает в фильмах и книжках, а если и происходило, то с теми бедолагами, которые были не в состоянии уже понять, что счастья быть живыми им осталось самые крохи. Пусть девчонка Винсента не тешит себя всякими глупостями насчет Винсента, хоть она, возможно, здорово его любила. Вот тебе шанс разделаться с чудовищными враками, прямо под твоим носом, ну-ка, прямой наводкой. Для того тебе и подфартило, для того ты и уцелел. За всех наших ребят, за правду! Огонь, парень! Еще огонь!..

Бэйб опустил ногу на пол, на мгновение сжал ладонями лоб и раз двенадцать чихнул. Вытащив чистый — четвертый уже — платок, он промокнул слезящиеся, саднящие глаза и сказал:

— Винсент очень вас любил, просто до жути. Я не очень понял, почему вы расстались, но точно знаю, что в этом нет ни его, ни вашей вины. Я сразу это почувствовал. По тому, как он о вас говорил... В вашем разрыве никто из вас не виноват. Я прав? Это действительно так? Я не имею права задавать такие вопросы, верно. У вас теперь муж. И все-таки. Была в этом чья-то вина?

— Да. Все из-за него.

— А зачем вы вышли замуж за мистера Полка? — сурово спросила Мэтти.

— Все из-за него. Слушайте. Я любила Винсента. Любила его дом и братьев, любила его мать и отца. Я всех их любила. Вы меня послушайте, Бэйб. А Винсент... он ничему не верил. Летом — что это действительно лето, зимой — что зима. Ничему не верил, с тех пор как умер малыш Кеннет. Брат его.

— Младший брат? Тот самый, по которому он просто с ума сходил?

— Да. А я... я всех их любила. Честное слово,— сказала девушка Винсента, чуть дотронувшись до плеча Мэтти.

Бэйб кивнул. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, умудрившись при этом даже ни разу не чихнуть, и что-то оттуда вытащил.

— Э-э-э,— сказал он девушке Винсента.— Это стихотворение он написал. Я не шучу. Я одолжил у него конвертов, а на одном, с обратной стороны, были записаны эти строчки. Возьмите, если хотите.— Он протянул к ней свою длинную руку, невольно задержавшись взглядом на поблескивавших на его манжетах запонках; пальцы Бэйба сжимали чуть запачканный солдатский авиаконверт. Он был сложен вдвое и немного потерся.

Девушка Винсента сначала разглядела конверт, потом, шевеля губами, прочла название. Она посмотрела на Бэйба.

— О Господи! «Мисс от "Бибера"»! Он же так меня называл — «мисс от "Бибера"»!

Она опустила глаза, и стала читать стихотворение, и снова беззвучно шевелила губами. Прочитав до конца, покачала головой, но это не значило, что она с чем-то не согласна. Прочла его еще раз. А потом стала складывать, складывать конверт, будто хотела его спрятать. Потом кулачок ее с зажатым в нем бумажным комочком скользнул в карман кофты и так там и остался.

— «Мисс от "Бибера"»,— сказала она с таким видом, будто в комнату еще кто-то вошел.

Бэйб, успевший тем временем снова водрузить на колено лодыжку, опустил ногу, намереваясь встать.

— Ну вот,— сказал он.— Стих отдал. Теперь вроде все.— Он поднялся, за ним Мэтти. Поднялась и девушка Винсента.

Бэйб протянул ей ладонь, и девушка Винсента неловко ее пожала.

— Наверное, мне не стоило приходить,— сказал он.— Но я из лучших побуждений... и из худших — тоже. Странно, да? Сам себя не пойму никак. До свидания.

— Я очень рада, что вы зашли, Бэйб.

От этих слов к глазам его вдруг подступили слезы, он резко отвернулся и быстрым шагом пошел к дверям. Мэтти старалась не отставать, а девушка Винсента, наоборот, чуть замедляла шаг.

Когда он снова обернулся к ней — на лестничной площадке,— ему уже удалось с собой справиться.

— Мы сможем тут поймать такси или попутку? — спросил он у девушки Винсента.— Тут проезжают такси? Я как-то не обратил внимания.

— Возможно, вам повезет. В это время их довольно много.

— Не хотите составить нам компанию? Перекусим, а потом в театр...

— Я не могу. Я должна... Правда, не могу. Нажимай на звонок, Мэтти. На тот, где написано «Вверх», тот, что «Вниз», сломан.

Бэйб стиснул ее ладонь.

— До свидания, Хелен.— Он разжал пальцы. Потом подошел к Мэтти и встал перед дверями лифта.

— И что вы собираетесь теперь делать? — громко спросила, почти прокричала, девушка Винсента.

— Я же говорил вам, мы собираемся в теа...

— Я не об этом. Теперь — в смысле после возвращения.

— А-а... Не знаю.— Он чихнул.— Обязательно нужно что-то делать? Шучу, конечно. Что-нибудь да буду. Постараюсь получить степень магистра, буду преподавать. Как мой отец.

— Эй! Небось вечером пойдете смотреть, как танцует какая-нибудь девица? С огромным шаром... или еще с чем-нибудь.

— Не знаю таких, чтобы еще и танцевали с огромным шаром... Ну-ка нажми снова на звонок, Мэтти.

— Слушайте, Бэйб.— Девушка Винсента явно волновалась.— Вы мне позванивайте. Хорошо? Прошу вас. Мой телефон есть в справочнике.

— У меня есть знакомые девушки.

— Знаю, что есть, но почему бы нам не сходить на ленч.. или на спектакль? Вы ведь не против, если я попрошу достать на что-нибудь билеты? Баба. Это мой муж. Или поужинать вместе.

Он покачал головой и сам нажал на звонок.

— Ну я вас прошу.

— Не нужно со мной так. Все нормально. Просто я пока не привык к мирной жизни.

Дверцы лифта с шумом раздвинулись. Мэтти завопила:

— До свидания! — и юркнула за братом в кабину. Дверцы с шумом захлопнулись.

С такси им не повезло. Они побрели в сторону Парка. Три бесконечно длинных квартала — между Лексингтоном и Пятой — были по-дневному унылы, их бесконечные фасады в конце лета выглядели особенно тоскливо. Какой-то толстяк, облаченный в форму швейцара, пряча в кулак зажженную сигарету, вел по кромке тротуара терьера — сплошь в проволочных завитках.

Бэйб подумал, что, пока он торчал там, на «Дуге», этот жирдяйчик изо дня в день выгуливал здесь своего пса... Невероятно. А что, собственно, невероятного? И все-таки поразительно... Он почувствовал, как в его пальцы скользнула ладошка Мэтти. Она без передыху тараторила:

— Мама сказала, что нужно пойти на «Харвей». И что тебе понравится Фрэнни Фэй. Это про одного дядьку, который разговаривает с кроликом. Когда напьется или еще чего, сразу начинает болтать с кроликом. Или на «Оклахома!».— Мама сказала, «Оклахома!» тоже тебе понравится! Роберта Кокрэн смотрела, говорит, здоровская пьеса. А еще она говорит...

— Кто-кто смотрел?

— Роберта Кокрэн. Девочка из моего класса. Она ничего танцует. А ее папа воображает, что он здоровско шутит. Я один раз у них была, он все смешить нас старался. Дурак какой-то.— Мэтти умолкла, но только на секунду.

— Бэйб.

— Чего тебе?

— Ты рад, что ты дома?

— Да, детка.

— Ой, отпусти, больно же!

Он чуть ослабил хватку.

— А почему ты спрашиваешь?

— А-а... так. Давай в автобусе сядем наверх?

— Давай.

Когда они с Пятой авеню свернули наконец к Парку, солнце шпарило всю, и это было замечательно. На автобусной остановке Бэйб закурил сигарету и сорвал с головы шляпу. По другой стороне улицы шла высокая блондиночка с шляпной коробкой в руках, очень, очень спешила. Пацаненок в голубом костюме пытался поднять надумавшего отдохнуть посреди улицы Блэки или Вэгги (оно и понятно — Пятая авеню ведь широченная), он очень хотел, чтобы хоть на остатке перехода его пес вел себя, как урожденный Принц, или Рекс, или, скажем, Джим.

— А я умею есть палочками,— похвасталась Мэтти.— Меня один взрослый знакомый научил. Папа Веры Вебер. Я тебе покажу.

Бэйб подставил бледное лицо лучам, они так здорово грели.

— Да, детеныш.— Он похлопал Мэтти по плечу.— Обязательно. На это стоит посмотреть.

— Значит, договорились,— сказала Мэтти и, плотно составив ступни, прыгнула с тротуара на мостовую, а с мостовой тем же манером опять на тро-

туар. И ему почему-то было жутко приятно смотреть, как она прыгает. А правда, почему?

1945

### ЗАТЯНУВШИЙСЯ ДЕБЮТ ЛОИС ТЭГГЕТТ

Лоис Тэггетт окончила школу мисс Хэском и была двадцать шестой по успеваемости среди сорока восьми одноклассниц, а осенью на семейном совете было решено, что пора предъявить товар, пора, пора вести девочку в общество. Папуля и мамуля раскошелились и выложили тысяч сорок на потрясный отель, и если не считать двух-трех простуд и парочки увязавшихся за ней не-тех-кого-стоило-бы-иметь-в-виду парней, кампания прошла успешно. И вид у нее был вполне товарный: белое, с орхидеей, прилаженной чуть ниже юных ключиц, платьице и очаровательная, хоть и несколько вымученная улыбка. Джентльмены со стажем нервно сглатывали и требовали у официанта ликера.

В ту же зиму Лоис энергично внедрялась в манхэттенский бомонд в сопровождении жутко фотогеничного молодого человека, завсегдатая «Сторк-Клуба», в тамошнем баре он заказывал себе исключительно виски с содовой. Лоис сумела-таки произвести впечатление. Ну еще бы, с ее-то фигуркой, и одета шикарно, и, главное, со вкусом, и, похоже, очень, оч-ч-чень неглупа. В тот сезон как раз пошла мода на умniejszych.

А весной дядя Роджер, вот душка, согласился взять ее регистратором в одну из своих контор.

Это был жутко ответственный год, свежевypущенным дебианточкам предстояло найти себе Занятие. Салли Уокер уже пела в «Клубе у Альберти»; Фил Мерсер чего-то там моделировала, платья, кажется; Алли Тамблстон пробовалась на какую-то роль. Ну а Лоис заполучила должность регистратора в одной из контор дяди Роджера, в самой главной, между прочим. «Прослужила» она ровно одиннадцать дней (вернее, восемь плюс три неполных) и совершенно случайно узнала, что Элли Поддз, Верб Гэллишоу и Куки Бенсон собираются в круиз, и не куда-нибудь, а в сам Рио. Эта новость свалилась на нее в четверг вечером. Веселый город Рио, про него иначе и не говорят. На следующий день Лоис на работу не пошла. Вместо этого она уселась на полу и принялась красным лаком красить ногти на ногах, окончательно убедив себя в том, что в этой дурацкой дядькиной главной конторе сплошь жуткие зануды, а не мужчины.

В общем, Лоис тоже отправилась в круиз и в Нью-Йорк вернулась в начале осени — без кавалеров, зато прибавив три кило в весе и вдрызг разругавшись с Элли Поддз. Остаток года она проторчала на лекциях в Колумбийском университете. Три курса по искусству — Голландская и Фламандская школы живописи, потом еще «Композиционные особенности современного романа» и «Разговорный испанский».

Потом наконец пришла весна, и под урчанье кондиционеров «Сторк-Клуба» Лоис влюбилась. Он был высоким, он говорил звучным, завораживающе наглым голосом, его звали Биллом Тэддертоном, и был он рекламным агентом. То есть совершенно не тем, что стоило тащить к себе домой и предъявлять мистеру и миссис Тэггетт, однако Лоис полагала, что это как раз то, что очень даже стоило предъявлять. Влюбилась она по уши, и Билл, успешный узнать, что и почему — с тех пор как смылся из своего Канзас-Сити, — умело дозировал выразительные взгляды, с ходу поняв по ее глазам, что к семейному очагу его наверняка допустят.

Лоис превратилась в миссис Тэддертон, и Тэггетты восприняли это довольно спокойно. Теперь не принято выходить из себя по поводу того, что ваша дочь предпочла Асторбильту (чудный, чудный мальчик!) какого-то мороженщика. Рекламный агент, мороженщик. Один черт. Это же очевидно всякому приличному человеку.

Лоис и Билл сняли квартиру на Саттон-Плейс. Трехкомнатную, с маленькой кухонькой и просторными шкафами, там замечательно разместились платья Лоис и пиджаки Билла с их широченными плечами.

Когда подружки спрашивали, счастлива ли она, Лоис тут же выпаливала: «Безумно». Но вообще-то она совсем не была в этом уверена — в том, что «безумно». У Билла, конечно, имелась целая куча замечательных галстуков и сногшибательных — с такусенькими блестячками — сорочек; а каким уверенным тоном он разговаривал по телефону, в эти минуты он бывал просто неотразим; и как аккуратненько все складывал. Ну и... всякое остальное у них с ним... тоже было здорово. Правда, правда. Но...

Впрочем, в один прекрасный день Лоис вдруг обнаружила, что она действительно Безумно Счастлива, поскольку очень скоро после их свадьбы Билл в нее влюбился. Собираясь однажды утром на работу, он мельком взглянул на спящую Лоис — и вроде как впервые ее увидел. Щека ее сплюсчилась на подушке, все лицо было отекившим со сна, губы потрескались. На его памяти она еще ни разу не выглядела так отвратительно — вот в эту самую минуту Билл в нее и влюбился, жутко влюбился. Его холостяцкие подружки не давали ему возможности хорошенько разглядеть их при утреннем свете. Он смотрел на Лоис — и не мог насмотреться. Эта ее припухшая рожица преследовала его, пока он спускался в лифте; а в метро он вдруг вспомнил один из ее замечательно идиотских вопросов, который она задала ему этой ночью. Билл не выдержал, он расхохотался на весь вагон.

Когда он вернулся вечером домой, Лоис сидела в моррисовском кресле, поджав под себя ноги в красных шлепках. Сидит, лапонька, точит пилкой коготки и слушает по радио румбу Санчо. Билл просто чуть не умер от счастья. Ему хотелось скакать козлом. Ему хотелось стиснуть зубы, чтобы потом все же позволить ему прорваться — бешеному, безумному воплю радости. Но он не решился. Ну что он после ей скажет? Ведь не может он подойти и брякнуть: «Лоис, сегодня я полюбил тебя. По-настоящему полюбил. А раньше я считал тебя обыкновенной дурочкой, хотя и очень славной дурочкой. И женился я не на тебе, а на твоих деньгах. Но теперь плевать я хотел на деньги. Ты моя девочка, ты моя любовь. Женушка моя, детка моя ненаглядная». И «О Господи, до чего же мне с тобой хорошо!» Ну разве он мог все это ей выдать? Поэтому он просто подошел, молча ее поцеловал и вытянул за руки из кресла, а в ответ на ошарашенное «ты чего?» подхватил ее и заставил отплясывать с ним румбу.

Спустя пятнадцать дней после Биллова открытия Лоис все еще не могла не насвистывать каждую минуту «Станцуй со мной „бигин“» \*. Вскочив на Пятой авеню в автобус, она теперь всегда улыбалась кондуктору и ах-как-огорчалась, если ему, бедняжке, приходилось искать ей сдачи. Она подолгу разгуливала в зоопарке. Она не забывала больше каждый день звонить мамуле, которая вдруг стала не просто мамуля, а «мамуля — это наш человек». «Бедный папулька,— вздыхала она в телефонную трубку,— совсем заработался». Нет, им с папулей совершенно необходимо отдохнуть. Ну хотя бы поужинать с ними в пятницу. Договорились. И никаких «но»...

На шестнадцатый после Биллова прозрения день случилось нечто. На исходе этого шестнадцатого новой эры, Эры Любви, дня Билл сидел в кресле, Лоис устроилась у него на коленях, прижавшись затылком к его плечу. Из радиоприемника нежно порывкивал джаз Чика Уэста. Солировал сам маэстро, выводдя на приглушенной сурдиной трубе припев классной, хоть и не модной уже песенки «Дым ест твои глаза».

— Дорогой,— еле слышно прошептала Лоис.

— Детка моя,— разнеженно отозвался Билл.

Они сели чуть поудобнее. Лоис снова прислонилась головкой к его плечу, а Билл потянулся взять из пепельницы сигарету. Но вместо того, чтобы поднести ко рту, он перехватил ее, точно карандаш, и начал рисовать в воздухе круги, почти касаясь горящим кончиком руки Лоис.

— Да ну тебя,— дурашливо надув губы, сказала Лоис.— Обожжешь.

Но Билл, сделав вид, что не слышит ее, продолжал опасную забаву и в конце концов, естественно, задел руку. Лоис громко вскрикнула и, вскочив с его колен, выбежала из комнаты.

\* Популярный в США в сороковые годы ритмичный танец, родина которого — западная часть Малых Антильских островов (бассейн Карибского моря). (Примечание переводчика.)

Билл ринулся за ней и стал дубасить кулаком по двери ванной — Лоис заперлась.

— Лоис, детка. Сам не знаю, что на меня нашло, ей-Богу. Ну солнышко мое, ну Лоис. Ради Бога, открой. Слышишь меня? Ради Бога.

Конечно же, она открыла и, конечно же, немедленно очутилась в его объятиях.

Но через неделю приключилось еще одно нечто. Только теперь уже не с сигаретой. В воскресенье проснулись они, и Биллу загорелось вдруг научить ее правильно замахиваться клюшкой. Ну да, она очень хотела прилично играть в гольф, ведь сам Билл классный игрок, все только об этом ей и твердили. А были они еще в пижамах и босиком. Раздухарились тогда жутко. То хихикали, то несли всякую чушь, то целовались и раза два даже свалились от хохота на пол...

А потом он вдруг бац клюшкой ей по ступне, хорошо еще удар получился не очень точным, ведь со всей силы замахивался.

Вот так. Ничего себе шуточки, да? Лоис снова перебралась к родителям. Мамуля купила для ее спальни новые шторы и поменяла там мебель, а папуля, как только у Лоис зажила нога и она стала снова нормально передвигаться, выдал ей чек на тысячу долларов. «Иди купи себе платье», — сказал он. — Действуй». Дважды ему повторять не пришлось, Лоис незамедлительно совершила набег на «Сакс» и «Бонуйт Теллер», где и оставила всю тысячу. Зато платьев у нее теперь было — завались.

В ту зиму снег в Нью-Йорке шел нечасто, и Центральный парк выглядел каким-то облезлым. Но холод был страшный. Однажды утром Лоис увидела из своего окна, выходящего на Пятую авеню, как кто-то выгуливал кудлатенького терьера. «Хочу собаку», — подумала она, и в тот же день поехала в зоомагазин. Она купила чудного трехмесячного скотчика и кокетливый красный ошейник, потом остановила такси и повезла поскуливающего щенка домой.

— Правда, он прелесть? — спросила она у Фреда, это их швейцар.

Фред потрепал щенка по щеке, согласившись, что парень и в самом деле симпатяга.

— Познакомься, Гас, это Фред, — счастливым голосом сказала Лоис. — Знакомьтесь, Фред, это Гас. — Она подтолкнула щенулю к лифту. — Прошу вас, Гасси. Вы у нас симпатяга. Вы поняли? Маленький такой симпомпончик.

Симпомпончик мелко дрожал и от страха тут же напустил в кабине лужицу.

Через несколько дней Лоис отвезла Гасси обратно. Он упорно не желал становиться воспитанной собакой, и Лоис подумала, что папуля и мамуля все-таки правы: держать собаку в четырех стенах действительно бесчеловечно.

Отвезла и в тот же вечер заявила, что в Рено можно поехать и сейчас и чего ради тянуть до весны. Решили так решили. Буквально в первых числах января Лоис улетела на Запад. Их поселили на ранчо для туристов, специально построенном поближе к Рено. Там Лоис и познакомилась с Бетти Уокер, она из Чикаго, и с Сильвией Хэггерти из Рочестера. Бетти, чья проницательность была острее, чем бандитский нож, много чего порассказала ей о мужчинах. Сильвия, тихая такая крепенькая брюнеточка, та болтать не любила, зато могла выпить жуть сколько виски с содовой, ни одна из приятельниц Лоис не решилась бы с ней тягаться. Когда все трое получили наконец свидетельства о разводе, Бетти Уокер устроила вечеринку в Рено. В ресторанчик, кстати, очень миленький, были приглашены и знакомые парни, соседи по ранчо, и Ред, жутко симпатичный, здорово приударял за Лоис, причем без всяких там глупостей. А она ему вдруг как рявкнет: «Отцепись!» Лоис единодушно осудили и обозвали вообразилой. Ведь никто не знал, что она попросту боится высоких и жутко симпатичных кавалеров.

Естественно, она не могла не столкнуться в один прекрасный день с Биллом. Месяца через два после того, как она вернулась из Рено, Билл подсел к ней за столик в «Сторк-Клабе».

— Ну здравствуй, Лоис.

— Ну здравствуй, Билл. Мне кажется, тебе лучше пересесть за другой столик.

— Знаешь, я ходил на прием к психоаналитику. Он говорит, что у меня все будет тип-топ.

— Я очень рада. Билл, у меня тут свидание. Уходи.

— Могу я иногда приглашать тебя на ленч?

— Билл, они сейчас придут. Пожалуйста, уходи.

Билл встал.

— Так я позвоню?

— Нет.

Билл ушел, и они действительно тут же появились, Мидди Уивер и Лиз Уотсон. Лоис заказала виски с содовой, выпила, потом заказала еще и снова выпила, и третий стакан, и четвертый. Только потом, уже на улице, она почувствовала, как здорово ее развезло. Она шла, и шла, и шла. Добрела до зоопарка и там наконец уселась — на скамейку перед вольерой с зебрами, — так там и сидела, пока не выветрился хмель. А после отправилась домой.

Домой, то есть туда, где имеются родители, где по радио день-деньской треплются комментаторы, где вечно мельтешат перед глазами накрахмаленные горничные, сующие тебе под нос «стаканчик холодного томатного сока».

После обеда Лоис позвали к телефону. Когда она вернулась в гостиную, мама тут же подняла голову от книги:

— Кто это? Карл Керфман?

Карл Керфман, такой коротышка с плотненькими ляжками, носил исключительно белые носки, потому что от всяких других у него чесались ноги. Голова его до отказа была набита редкой ерундой. К примеру. Соберешься в субботу поехать на стадион, Карлуша тут как тут: «По какому шоссе поедешь?» Ты ему: «По Двадцать шестому, наверное», он сразу начнет тебя уговаривать ехать *только* по Седьмому, обязательно вытащит блокнотик и карандашик, все тебе нарисует, чтобы убедить тебя ехать именно по Седьмому. Ты, конечно, «стра-а-шно благодарна», а он быстренько кивнет и дальше нудит, что там-то и там-то никакого поворота нет, хоть знак и висит. Почему-то его всегда немножко жаль, когда он вытаскивает этот свой блокнотик.

Месяца через три после поездки Лоис в Рено Карл сделал ей предложение. Вернее, поставил перед ней вопрос. Они возвращались из «Уоллдорфа», с благотворительного бала. У их «седана» заглох мотор, и Карл сразу засуетился, просто из кожи вон лез, чтобы завести. Лоис сказала:

— Да брось ты в самом деле. Давай лучше сначала покурим.

Ну сидели они и курили, и вот тут он и выдал ей этот свой вопросик.

— Не хотела бы ты выйти за меня, а, Лоис?

Лоис смотрела, как чудно он курит. Не затыгиваясь.

— О Господи. Я страшно тронута, Карл.

Лоис давно уже предчувствовала, что Карл задаст его, но почему-то никогда не задумывалась о том, как она будет на него отвечать.

— Будь спок, Лоис, со мной не пропадешь. Я ради тебя в лепешку расшибусь.

Он резко повернулся, и из-под задравшейся брючины стал виден белый носок.

— Я страшно, страшно тронута, Карл, — снова сказала Лоис, — но пока мне о замужестве и думать тошно.

— Конечно, конечно, — поспешно пролепетал он понимающим таким тоном.

— Ты знаешь, — Лоис повернулась к нему, — на Пятнадцатой и на Третьей есть гаражи. Так и быть, схожу с тобой туда...

На следующей неделе Лоис пригласила на ленч Мидди Уивер — в «Сторк», естественно. Говорила одна Лоис, а Мидди кивала и время от времени стряхивала пепел со своей сигареты. Лоис призналась, что сначала Карл ей казался жутким занудой. То есть не совсем жутким... ну, в общем, понятно, что она имеет в виду, да? (Мидди кивнула и стряхнула пепел.) Но никакой он не зануда. Он очень чуткий, и застенчивый, и вообще ужасно милый. И ужасно ум-



ный. А известно ли Мидди, что Карл уже работает — в семейной их фирме «Керфман и сыновья»? Да, да. И, между прочим, он классно танцует. А какие у него чудные волосы! Они же у него вьются — ну, когда он их не прилизывает. Нет, волосы у него чудо, просто чудо. И совсем он не толстый. Просто солидный. И страшно милый.

— Мне Карл всегда нравился,— сказала Мидди.— Да, Карл — это наш человек.

Пока Лоис ехала в такси домой, Мидди не выходила у нее из головы. Мидди замечательная. Такая умница, ну надо же. Умных людей не так уж много, по-настоящему умных, без трепана. Нет, Мидди настоящий друг. Лоис очень надеялась, что Боб Уокер все-таки женится на Мидди. Но, если честно, она слишком для него хороша. Для этого самовлюбленного козла.

Лоис и Карл поженились весной, и не кончился еще медовый месяц, как новоиспеченный муж перестал носить белые носки. Еще он перестал носить со смокингом манишки. И перестал доказывать то одному, то другому, что до Манасквана можно доехать не только по прибрежной дороге. Ну хочется людям проехаться рядом с морем, пусть едут, внушала ему Лоис, не приставай. И еще пусть пообещает ей не одалживать больше денег Бадю Мастерсону. И когда он танцует, шаг нужно делать шире, шире. Неужели же он никогда не замечал, что так вот семячат только растолстевшие коротышки? И если она еще раз увидит, что он намазал волосы этим мерзким бриолином, она не знает, что она тогда сделает.

Под конец третьего месяца супружеской жизни Лоис пристрастилась ходить в кино. На одиннадцатичасовой сеанс. Забывалась в какую-нибудь ложу и курила, курила. Все-таки это было лучше, чем торчать в проклятой квартире. Или ходить в гости к матери. Тем более что от нее Лоис слышала тогда в основном одну-единственную фразу, всего в пять слов: «Как же ты исхудала, доченька!» Вот кино действительно замечательная штука, здесь куда интереснее, чем с подружками. И, однако, Лоис как-то ухитрялась постоянно на них натываться. Такие все дочурки.

Ну вот, значит, к одиннадцати она шла в киношку. После того, как фильм кончался, отправлялась в туалет — причесаться, подкрасить губы и ресницы. Потом она долго рассматривала себя в зеркале и думала: «А теперь что? Куда теперь-то деться?»

Иногда Лоис заносило в другую киношку. Или же она слонялась по магазинам. Только ей тогда почти ничего не хотелось в этих магазинах покупать. И еще встречалась иногда с Куки Бенсон. Ведь если вдуматься, Куки единственная, у кого действительно есть мозги, единственная среди ее подруг, такая умница, правда-правда, без трепана. Классная девчонка. У нее классное чувство юмора. Они с Куки часами торчали в «Сторк-Клабе», рассказывая друг другу похабные анекдоты и перемывая косточки всем знакомым.

Нет, подружка у нее просто замечательная. И с чего это она так не любила ее раньше? Таковую-то умницу. Куки — это наш человек.

Карл все чаще жаловался на зуд. Как-то вечером он вдруг расшнуровал ботинки, стащил с себя черные носки и стал осторожно ощупывать ступни. Подняв голову, он увидел ошеломленное лицо Лоис.

— Чешутся,— виновато смеясь, стал оправдываться он.— Ну не могу я носить крашенные носки.

— Ты чересчур мнительный,— фыркнула Лоис.

— У моего отца то же самое было,— объяснил Карл.— Врачи говорят, это какая-то экзема.

Лоис изо всех сил старалась не сорваться на крик:

— Ты так носишься со своими ногами, будто у тебя по меньшей мере проказа.

Карл рассмеялся.

— Разве? — спросил он, все еще смеясь.— По-моему, совсем уж не так носушь.— Он взял из пепельницы дымящуюся сигарету.

— О Господи! — с ехидным смехом сказала Лоис.— Почему ты никогда не затягиваешься? Ну что за удовольствие просто пускать дым?

Карл опять рассмеялся и посмотрел на кончик сигареты, будто этот кончик мог научить его курить как полагается.

— Сам не знаю.— Он все смеялся.— Я никогда не затягиваюсь.

Обнаружив, что у нее будет ребенок, Лоис стала бегать в кино пореже. Зато чаще стала встречаться с матерью, как правило, они отправлялись на ленч к Шраффту, брали себе по овощному салатику, а потом подолгу обсуждали фасончики для беременных. Мужчины в автобусах уступали Лоис место. В равнодушно-вежливом голосе лифтеров проскальзывали теперь особые уважительные нотки. Лоис ловила себя на том, что тайком заглядывает в детские коляски.

Карл всегда очень крепко спал и не слышал, как она всхлипывала, лежа рядом с ним.

Когда ребенок родился, все вокруг только и ахали: лапочка, какой же лапочка. Это был пухлый карапуз с малюсенькими ушками и белым пухом на голове, он так замечательно пускал слюни, конечно, для тех замечательно, кто понимает, какая это прелесть. Лоис его обожала. Карл его обожал. Тетки, бабки, дедки обожали его. В общем, парнишка получился что надо. Катились недели, и Лоис вдруг поняла, что мистера Томаса Тэггетта Керфмана она готова целовать с утра до ночи. И с утра до ночи похлопывать его по маленькой попе. И с утра до ночи с ним разговаривать.

— Ну? Кто у нас сейчас будет купаться? Кто у нас сейчас будет чистеньким-чистеньким?.. Берта, вода нормальная? Мой сынуля будет купаться, да... Слишком горячая, ты слышишь, Берта? Плевать мне на градусник. Говорю тебе, горячая.

Однажды Карл специально пришел пораньше, чтобы присутствовать при купании. Лоис вытащила руку из «в самый раз» воды и нацелила мокрый палец на Карла.

— Кто это к Томми пришел? Кто этот большой дядя? Кто это, Томми?

— Он меня не узнал,— сказал Карл, надеясь, что это не так.

— Это твой папа, Томми. Это папа Томми.

— Он сто лет меня не видел,— нудил Карл.

— Томми! Видишь, куда мамин пальчик показывает? Этот большой дядя — твой папа. Ну-ка, посмотри на папу.

В ту осень отец подарил Лоис норковую шубку, и если вы живете неподалеку от перекрестка Пятой авеню и Сорок седьмой улицы, то наверняка видели, как Лоис в своей новой шубке катит перед собой просторную, черного цвета коляску по направлению к Парку.

И в конце концов она все-таки совершила это. И у нее тут же возникло ощущение, что каким-то непостижимым образом об этом сразу всем стало известно. Мясники старались подобрать ей кусочек получше. Шоферы такси доверительно жаловались на то, что у мальчика такой кашель, мэм. Берта, их горничная, как следует мочила теперь половую тряпку и больше не гоняла пыль из угла в угол. Бедняжка Куки, все еще пьяненько хихикавшая в «Сторк-Клабе», теперь частенько ей названивала. Женщины все чаще смотрели ей в лицо, а не на платье. В театре глазающие на женщин мужчины явно выделяли ее, Лоис, притворяясь, что им просто любопытно, как она будет смотреться в очках.

Ну а свершилось это примерно через полгода после того дня, когда Керфман младший запутался в своем пушистом одеялке... навсегда.

Тот, кого Лоис не любила, уселся как-то вечером в кресло и начал тупо разглядывать узор на половике. Лоис в этот момент вышла из спальни, в спальне же она чуть не полчаса стояла у окна, собираясь с силами. Лоис села в кресло напротив. Никогда еще Карл не казался ей таким глупым и таким толстым. Но она должна была сказать ему. И наконец она выдавила это из себя:

— Пойди достань свои белые носки. Давай, давай,— очень спокойно сказала она.— Надень их, дорогой.

Григорий МАРЧЕНКО

## Политический ландшафт России

Вторые демократические выборы в России дали большой материал для анализа ситуации в стране. Однако нам не встречалась оценка их результатов не с политической, а с социологической точки зрения как основа для получения своеобразного «идеологического портрета» населения, оценки возможного влияния ориентации избирателей на судьбу российских реформ, единство государства, на возможный рост регионализма и сепаратизма, наконец, на результаты предстоящих президентских выборов.

В одном из анекдотов раннего горбачевского периода на вопрос, а что же будет после перестройки, отвечают: «Перестрелка, а потом перекличка». Народная мудрость точно подметила проверенную веками специфику общественного развития России, состоящую в том, что за весьма краткими периодами демократизации общества и свободы следуют десятилетия реакции и государственного гнета. И большевики в 1917 году — лишь последние в этом списке.

Вот и перестройка, давшая нам всем, ныне живущим, беспрецедентную свободу, которой мы еще толком-то и не успели научиться пользоваться, не дожив до своего десятилетия, завершилась сначала расстрелом Белого дома, а затем — «ограниченно-миротворческой», но постоянно, как СПИД, подтачивающей весь организм государства и общества чеченской войной. А там не за горами и перекличка...

Хотя и с большим трудом, но наконец-то достигнута главная внешнеполитическая цель политики перестройки — мировое сообщество в лице Совета Европы все же признало Россию демократическим цивилизованным государством. А она-то уже опять прямым ходом «сворачивает» на собственную колею, туда, где «мы делаем ракеты, перекрываем Енисей», но остаемся рабами.

Вот почему предстоящие выборы нового президента России — это выборы не только первого лица, конституционного главы государства. В современных внутриполитических условиях и сложившейся социально-экономической ситуации они все в большей степени принимают окраску общенародного референдума о правильности выбора нынешним президентом в 1991 году в пользу государственной самостоятельности России и либеральной модели социально-экономического реформирования общества.

Каждый из нас будет выбирать, каким путем идти России дальше: эволюционным, рассчитанным, к общему глубокому сожалению, на десятилетия (а так хочется всего и сразу!), путем постепенного «выздоровления» общества, выхода экономики из депрессионной воронки или снова революционного передела едва начинающихся формироваться новых кусков «экономического пирога».

Выборы станут также и своеобразным референдумом по вопросу о принципиальной приемлемости для России новой, президентской, формы правления, установленной после известных событий осени 1993 года и последующего принятия Конституции РФ.

По сути, выборы нового президента превращаются в выбор государственного строя новой России.

В России, как и других странах мира, исторические полосы внутренних неурядиц и раздоров сменялись довольно продолжительными периодами устойчивого развития государства, — как говорится, от анархии до монархии и обратно. Но отличительной чертой России всегда было отсутствие более-менее продолжительных

этапов реального участия населения (того самого «демоса») в государственном управлении, особенно в периоды «нормального» эволюционного развития. Либо анархия, безвластие, либо неограниченная монархия, власть единоличная, практически неподконтрольная и зависящая исключительно от личных качеств монарха.

Хотя наследники престола и воспитывались подобающим образом, их ошибки, уводившие государство «в сторону» от магистрального пути развития цивилизации, могли быть исправлены зачастую спустя десятилетия, а то и столетия. Может быть, именно это свойство накопления негативных, переходящих в фатальные, ошибок монархической формы правления побудило ограничить монархов в правах путем парламентаризма и внесло существенный вклад в повсеместное крушение абсолютизма, в том числе в России и установление республиканской формы правления.

Тем не менее антидемократические, даже скорее биологические стереотипы мышления значительной части населения в духе «вождизма», уходящие корнями в родоплеменное общество, оказываются весьма живучими. Например, Франция несколько раз испытывала переход от монархии к республике и обратно. А кем же, как некоронованными абсолютными монархами, были Гитлер, Муссолини, Франко да и наши Первые и Генеральные секретари, избавить от которых нас могла только их смерть либо дворцовые перевороты? До сих пор практически во всех странах, имевших достаточно продолжительное время монархов, имеются монархические общества и даже партии. Такие общества есть во Франции, Италии, Германии, Греции, Румынии да и в России.

Но и коллективная государственная власть часто не всегда бывает эффективна, если нет выработанного десятилетиями, а то и столетиями механизма принятия и реализации решений.

Еще новгородское вече пригласило Рюрика княжить именно после того, как граждане не сумели найти общий язык, принять определенное решение с гарантией его исполнения всеми.

Рассказывают, что когда в КБ С. П. Королева решали проблему «мягкой посадки» космического аппарата на Луну, то до хрипоты спорили о том, какой там грунт — твердый или мягкий, и не могли прийти ни к какому решению, потому что не было достаточной информации. Тогда Королев прекратил спор двумя словами: «Грунт — твердый!» И все принялись за дело (хотя грунт на самом деле в месте посадки оказался мягким).

Именно потребность принятия под личную ответственность оперативных решений в процессе управления государством и привела к сохранению в той или иной форме поста главы государства в странах как с монархической, так и с республиканской формами правления. Таким образом, глава государства, в нашем случае президент, — это важнейший и совершенно необходимый институт власти для любой страны. Уравновешивать же названные ранее недостатки режима личной власти призван институт парламентаризма.

Все республики по характеру взаимоотношений президентской и парламентской властей разделяются на парламентарные и президентские. Эти различия касаются в основном степени участия президента или парламента в формировании и деятельности правительства. В парламентарной республике, например в ФРГ, правительство формируется по результатам парламентских выборов руководителем победившей партии и действует независимо от президента. Более того, в некоторых странах (Италия, Швейцария и другие) и сам президент выбирается или назначается парламентом. Напротив, в президентской республике глава государства не только назначает главу правительства, но и сам часто выполняет его функции (например, в США). Кроме того, некоторые политологи выделяют промежуточные, так называемые «полупрезидентские» республики.

Российская Федерация согласно Конституции является демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. По характеру разделения высшей государственной власти Россия ближе к президентской республике. Особенно это было заметно в 1992 году, когда Б. Ельцин выполнял функции премьер-министра.

«Вторая республика» образца 1991—1993 годов оказывается пока более жизнеспособной, чем первая демократическая республика периода Временного правительства в 1917 году, не в последнюю очередь из-за наличия поста президента. Сохранится ли это состояние равновесия в системе государственной власти на следующее пятилетие, будет зависеть от результатов первых в истории новой, независимой

России президентских выборов 1996 года. Пока что это равновесие довольно неустойчивое, ветер перемен веет над страной. Это показали и результаты парламентских выборов 1995 года по партийным спискам — своеобразной репетиции президентских выборов, позволившей получить наиболее репрезентативный социологический портрет населения.

### *Чей дом Россия?*

Беспрецедентное количество предвыборных политических организаций (ППО) — партий, блоков, объединений, движений, союзов, — большинство из которых появилось за несколько месяцев до выборов, вызвало хаос в умах среднего избирателя.

Лишь восемь из зарегистрированных ППО участвовали под своими же названиями в предыдущих выборах. Это КПРФ, ЛДПР, ДВР, «Яблоко», АПР, ПРЕС, «Женщины России» и экологическое движение «Кедр», ставшее ныне партией.

Традиционным стало также участие в выборах (и по-прежнему малоуспешное) «партии власти», теперь уже в облике НДР.

Еще около десятка ППО «узнавались» лишь по ассоциации с претенциозными и «раскрученными» СМИ фигурами их лидеров: А. Лебедем (КРО), А. Рудким («Держава»), В. Анпиловым («Трудовая Россия»), И. Рыбкиным (Блок И. Рыбкина), Б. Федоровым («Вперед, Россия!»), С. Федоровым (Партия самоуправления трудящихся), К. Боровым (Партия экономической свободы) и другими. Большинство же ППО, как и их лидеры, так и остались «темными лошадками», не сумев не только довести до избирателя свои политические позиции, но зачастую и просто их выработать. Тем не менее каждое из ППО получило свои «заветные» 11 млрд. рублей, позволившие пройти в парламент большинству их лидеров.

В связи с этим задача идентификации ППО для получения общей картины расстановки политических сил представляет собой столь же трудную задачу для исследователей, сколь и голосование — для избирателей.

Очевидно, что для России в современной ситуации неприменима работающая во многих западных странах линейная схема размещения ППО «слева направо» по политическому темпераменту. Кто такие яркие коммунисты В. Анпилова, «державники» А. Рудкого или же социал-демократы Г. Попова — «левые» или «правые»? Кроме того, в условиях нестабильности российского общества до сих пор отсутствует явно выраженный политический центр.

По-видимому, для описания схемы расстановки политических сил России наиболее применима многополюсная модель, построенная на основе анализа предвыборных программ и заявлений лидеров ППО по основным проблемам общества. Среди таких ключевых проблем можно выделить следующие: роль и функции парламента и президента; права человека и преступность; государственное устройство и региональная политика; чеченская война и национальная политика; собственность и роль государства в управлении экономикой; отношения со странами СНГ и проблема восстановления Советского Союза; приоритеты внешней политики.

Несмотря на схожесть позиций различных ППО выделяются четыре основных «политических полюса»: демократический, либеральный, коммунистический, державно-патриотический.

Ядро демократических организаций (20 ППО) составляют Партия самоуправления трудящихся С. Федорова и движение «Вперед, Россия!» Б. Федорова. Они выделяются приверженностью к социально-ориентированной рыночной экономике и требуют соответствующей коррекции курса реформ, повышения участия трудящихся в управлении экономикой. Большинство же остальных мелких и мельчайших ППО объединяет надежда на понимаемый каждым по-своему демократический путь развития России.

Либеральный политический полюс (9 ППО) представлен НДР, ДВР, «Яблоком» и другими. Несмотря на внешний антагонизм и взаимную критику, это приверженцы либеральных реформ. Оппозиционные НДР силы отличаются, быть может, стремлением проводить реформы более последовательно и безошибочно.

В коммунистическом спектре (6 ППО), как известно, доминирует КПРФ. С программой коммунистов все вроде бы ясно — это денонсация Беловежских соглашений, реформа государственного строя и ограничение полномочий президента, пересмотр результатов приватизации и т. п. Вместе с тем нынешние коммунисты являются неоднородным политическим движением, в котором идет внутренняя борьба, в основном по поводу способов проведения политики.

И, наконец, наиболее ярко выраженными представителями державно-патриотического, или «государственного», политического полюса (8 ППО) являются ЛДПР и КРО. Специфика программ этих организаций состоит в унитарном подходе к территориальному государственному устройству России, а также в проведении более жесткой внешней политики и протекционистской экономической политики. Отдельный «конек» этих ППО — борьба с преступностью.

### *Кто кого?\**

Напомню, что на выборах 1995 года наибольшее число голосов получили ППО коммунистической ориентации — 26,2 млн., на втором месте либералы — 15,7 млн., затем идут «государственники» — 14 млн. и демократы — почти 10 млн. (остальные голоса приходятся на недействительные бюллетени и на проголосовавших «против всех»). Хотя сравнение результатов последних выборов и выборов 1993 года по тем же политическим группам не совсем корректно вследствие различного состава этих групп, все же можно сделать выводы о наибольшем росте популярности коммунистов (прирост голосов — 88% или более половины общей прибавки голосов за счет увеличения активности электората) и, как ни странно, демократов (прирост 45%).

Число голосовавших за КПРФ уменьшилось лишь в Карачаево-Черкессии и Ингушетии, а наибольшая процентная прибавка была достигнута партией (не принимая во внимание бойкотировавший выборы Татарстан) в Кемеровской области за счет вошедшего в федеральный список КПРФ А. Тулеева, в Алтайском крае и на Сахалине.

Пожалуй, наибольшей неожиданностью оказалась не столь высокая против прогнозируемой доля голосов, поданных за ППО государственно-патриотической ориентации. Все объясняется достаточно просто: партии и движения выпущенного из Лефортова А. Руцкого и КРО «в части» А. Лебеда отобрали часть голосов у находящейся на том же политическом полюсе ЛДПР, которая получила их менее 2/3 от числа поданных за нее в прошлый раз голосов. Во всяком случае, сокращение почти в пять раз числа сторонников ЛДПР в Курской области, где победил А. Руцкой, связано именно с перетоком голосов к последнему. Наибольшее фиаско ЛДПР потерпела в Московской области, обеих столицах, Ставропольском крае и Курской области, что в сумме составляет более четверти всех потерь этой партии.

И еще четыре из восьми «партий-долгожителей» лишились своих сторонников в результате «распыления» голосов между увеличенным в три раза количеством ППО в 1995 году. А ПРЕС С. Шахрая вообще исчезла с политической арены, собрав только 7% голосов по сравнению с предыдущими выборами.

Кроме КПРФ, лишь «Кедр» и «Яблоко» прибавили по полмиллиона своих сторонников, причем вся прибавка «Яблока» пришлась на три региона: Москву, Ростовскую и Московскую области, из них половину этой прибавки «Яблоко» получило в Москве.

Из новых ППО наибольшего успеха добились коммунисты-«анпиловцы» (4,5% голосов), КРО (4,3%), Партия самоуправления трудящихся (почти 4%) и, естественно, «Наш дом — Россия».

Сопоставляя результаты голосования за основные партии по каждому региону с их результатами по России в целом, можно определить регионы, в которых та или иная ППО, ее региональная организация «сработала» более или менее эффективно, чем в среднем по стране.

Из десяти ведущих ППО наиболее рассредоточены избиратели ЛДПР: в 57 регионах эффективность работы местных организаций партии была выше средней. Также к «общероссийским», или, точнее сказать, к «народным», ППО можно отнести «Женщин России», КПРФ и АПР.

Напротив, высочайшая концентрация электората ДВР, НДР и «Яблока» в 15—20 регионах подтверждает высказанное ранее некоторыми исследователями утверждение об особом, элитарном характере этих образований и, следовательно, об их узкой электоральной базе.

### *Столицы против провинции*

Принципиальные различия в электоральной базе каждого ППО и их групп проявились при анализе результатов голосования по 225 избирательным округам, разделенным нами по составу их населения на шесть типов:

\* Расчеты сделаны на основании официальных данных Центризбиркома (Автор).

1. Столичные города (23 округа с 10% всех избирателей).
2. Крупнейшие межрегиональные центры типа Нижнего Новгорода, Самары, Воронежа, а также все остальные города—«миллионеры» (29 округов, 13% избирателей).
3. Крупные (с населением свыше 250 тыс. жителей) промышленные города с пригородами (40 округов, 19% избирателей).
4. Преимущественно городская местность с наличием большого (с населением свыше 100 тыс. жителей) города (73 округа, 36% избирателей).
5. Городская и сельская местность, включающая несколько малых и средних городов (36 округов, 15% избирателей).
6. Преимущественно сельская местность (24 округа, 7% избирателей).

В столичных центрах избиратели явно предпочитают либералов (45% голов), в округах всех остальных типов — коммунистов (от 30% до половины всех голосов). При этом если доля либералов от столичных к сельским округам падает более чем в три раза, то коммунистов, напротив, вырастает в 2,5 раза. «Государственники» имеют во всех типах округов (кроме столичных) по 1/5 всех голосов. Несколько выше их влияние в крупных промышленных центрах. Что касается демократов, то их влияние практически одинаково в округах первых трех типов (16—18%), снижаясь более чем в два раза в сельской местности.

На этом основании, а также исходя из сопоставления результатов голосования с уровнем образования и структурой занятости населения можно подтвердить тезис об узкой электоральной базе либералов, основу которой составляют, по-видимому, высокооплачиваемые государственные чиновники, часть бизнесменов, культурной и научной элиты, сосредоточенной в столичных городах.

Демократы черпают свою поддержку в наибольшей степени у научно-технической интеллигенции, врачей, учителей, провинциальных государственных служащих.

«Государственники» пользуются симпатиями мелких предпринимателей, собственников, среднего звена менеджмента, персонала частных и акционерных предприятий, фермеров, маргинальной интеллигенции.

По сравнению с предыдущими выборами значительно расширилась и стала повсеместной поддержка коммунистов, сумевших привлечь на свою сторону значительную часть промышленных рабочих и практически все малоимущее и недовольное властями население, численность которого постоянно увеличивается.

Еще по результатам выборов 1993 года стало ясно, что реформа привела к расколу России на три лагеря по политической ориентации населения: реформаторский, консервативный и радикальный.

Тогда регионы с реформаторски настроенным населением (по доле проголосовавших за реформаторские блоки) резко преобладали, образуя обширную зону от Санкт-Петербурга до Приморского края. К этой группе относились также Ростовская область, Северная Осетия и Краснодарский край. Консервативный лагерь представляли все те же западные, поволжский, южно-уральские и прикаспийские регионы России. Среди них тогда были лишь вкраплены регионы с преобладанием агрессивно-радикального настроения избирателей: Псковская, Белгородская, Тамбовская, Липецкая области и Ставропольский край. Кроме того, на Востоке выделялись еще три таких региона: Красноярский край, Читинская и Сахалинская области. Интересно, что никакой особой позиции населения национально-территориальных образований выявить не удалось — 17 из них поддерживали реформаторов, 11 — консерваторов и лишь избиратели Агинского Бурятского автономного округа симпатизировали радикалам.

В 1995 году по сравнению с 1993 годом еще больше усилилась территориальная контрастность распределения поддержки основных политических сил в России. Реформаторы (демократы и либералы) в еще большей степени поддержаны лишь 25 миллионами избирателей столиц и крупнейших городов, в то время как в провинции с ее 82 млн. избирателей преобладает тяга к антиреформаторским переменам.

Таким образом, произошла дальнейшая утрата реформаторского и усиление антиреформаторского потенциала.

В 1993 году наиболее активно реформаторов поддержали регионы Центра и Северо-Запада — исторического ядра Российского государства, а также часть регионов Северного Кавказа, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Особенно велика поддержка реформаторов была в дотационных регионах Севера, Туве и в Республике

Алтай. В большинстве остальных восточных регионов поддержавших в целом реформу, сильны были выжидательные настроения и равнодушие. Наиболее существенный результат выборов 1993 года — появление целого «антиреформаторского пояса» из 30 преимущественно сельскохозяйственных регионов на западе, юге и востоке Европейской России, на юге Сибири и Дальнего Востока, а также успех ЛДПР в приграничных, северных и восточных регионах.

В результате выборов 1995 года политическая карта России практически полностью изменилась. «Красный пояс» регионов Черноземья и Юга России распространился на всю страну.

Действительно, КПРФ «чисто» победила в 58 регионах, в четырех разделила первое место с ЛДПР (разрыв полученных голосов менее 1%) и в одном регионе (Республика Карачаево-Черкесия) — с НДР. Еще в одном регионе (Агинский бурятский автономный округ) победила Аграрная партия.

«Государственники» в лице ЛДПР победили в 13 регионах, а в четырех разделили первенство с КПРФ. Движение «Держава» А. Руцкого победило с более 30% голосов в родной своему лидеру Курской области.

Среди партий либеральной ориентации НДР добилась успеха в восьми регионах (еще в одном, как уже сказано, первое место было поделено с КПРФ), «Яблоко» — в Санкт-Петербурге и на Камчатке. В Свердловской области победу одержала региональная партия либеральной ориентации местного губернатора Э. Росселя «Преображение Отечества».

Разобщенность ППО демократической ориентации не позволило сыграть им ни в одном из регионов России сколько-нибудь заметной роли. Исключением можно считать дележ второго-третьего места в Чувашии Партии самоуправления трудящихся с ЛДПР.

Реформаторам удалось сохранить полученное еще на предыдущих выборах преимущество лишь в 10 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Мурманская, Ивановская, Свердловская, Камчатская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Таймырский и Чукотский округа), а также вновь добиться преимущества в Татарстане, Чечне и Ингушетии. Потеряли же они свое первенство в половине регионов России.

Во-первых, это национально-территориальные образования (республики и автономии), а также регионы Северного Кавказа, избиратели которых сильно задумались о перспективах своей национальной полунезависимости в свете чеченских событий.

Во-вторых, это значительное число регионов Севера и Востока, так и неждавших обещанной государственной поддержки, без которой их экономика существовать не может. Кроме того, за последние годы оттуда на «материк» выехало значительное количество квалифицированных специалистов — потенциального прореформаторского электората.

Наконец, это остальные российские регионы, в которых позиции реформаторов ослабли за счет усиления позиций «патриотов-государственников».

### *Экономика и жизнь*

Что касается влияния результатов социально-экономического развития и динамики уровня жизни населения отдельных регионов на политические симпатии населения, то об этой связи надо говорить более осторожно, имея в виду официальность источников информации об «улучшении ситуации» то там, то тут. Вроде бы и производство начало расти, и экспорт растет семимильными шагами... Но, как говорил М. Жванецкий: «Вот оно, где-то рядом, здесь, вокруг, но почему-то не у меня».

Так и каждый человек, избиратель не изменит ни своего предпочтения, ни электорального поведения в пользу реформаторов, пока не почувствует устойчивого изменения как общеполитической и экономической ситуации, так и своего материального положения к лучшему. Кроме того, существует определенный «временной лаг» между объективными событиями и изменением сознания людей.

В силу этих и еще целого ряда причин, среди которых прежде всего следует назвать чеченскую войну, не удалось выявить какого-либо статистически значимого соответствия между голосованием за главные политические группы и такими основными социально-экономическими показателями, как динамика промышленного производства в 1994—1995 годах и уровень зарегистрированной безработицы. Однако появилось не зафиксированное на предыдущих выборах соответствие (коэф-



фициент корреляции — 0,522) между динамикой уровня реальных доходов населения и долей голосов, отданных в целом за реформаторское крыло (либералов и демократов).

В предыдущей статье (см. № 2 за 1996 год) уже приводилось разделение части субъектов Федерации по характеру проводимой их властями социально-экономической стратегии: консервативной, радикально-сепаратистской, лоббистско-патерналистской, либерально-рыночной. Позволю себе кратко повторить основные признаки каждой из них.

Консервативная стратегия характерна для руководителей аграрных и аграрно-индустриальных регионов. Рыночные отношения здесь вводятся в весьма ограниченных дозах с постоянными откатами. Основные элементы этой стратегии: закрытие внутреннего рынка, как экономическое, так и административное сдерживание роста внутренних потребительских цен, ограничение роста заработной платы, сохранение в той или иной форме коллективной собственности в аграрном секторе и участия государства в лице региональных властей — в промышленности. Характерные примеры: Ульяновская, Кировская области, области, входящие в Ассоциацию регионального экономического взаимодействия «Черноземье».

Радикально-сепаратистская стратегия характерна для руководства Татарстана, Башкортостана, Якутии, некоторых русских регионов, разыгрывающих или пытающихся разыграть национальную или сепаратистскую «карту». Главные составляющие такой стратегии: перераспределение бюджетных поступлений в пользу регионального (республиканского) бюджета, перераспределение прав собственности на природные ресурсы, на управление крупными акционированными предприятиями, а также самостоятельность во внешнеэкономической деятельности.

Лоббистско-патерналистская стратегия характерна в первую очередь для руководства некоторых топливно-сырьевых (Коми, Кемеровская, Тюменская области и др.) и стратегически значимых регионов (Сахалинская, Калининградская, Мурманская области, Приморский край и др.). Сюда примыкает также и часть регионов оборонной промышленности и некоторые экономически несостоятельные республики вроде Тувы, Калмыкии, а также Чечни (пророссийская администрация) и Ингушетии. В сущности, это разновидность радикально-сепаратистской стратегии, но более «экономически обоснованная», подкрепляемая как министрами-лоббистами, так и угрозой социальных беспорядков в регионах. В основном борьба здесь идет за инвестиции, субвенции, перераспределение средств в приоритетные для этих регионов отрасли сразу на федеральном уровне, экспортные квоты.

Либерально-рыночная стратегия характерна для властей отдельных регионов с наиболее демократически ориентированным руководством (Нижегородская, Челябинская, Самарская, Свердловская области, Санкт-Петербург и др.). Здесь действительно пытаются «честно адаптироваться» к социально-экономической ситуации, но им не хватает целых звеньев долгосрочной государственной политики (оборонной, структурной, финансовой и др.).

В целом в регионах последних двух групп реформаторы имеют большую поддержку, чем в регионах с консервативной и сепаратистско-радикальной стратегиями. Исключением из этого правила является Татарстан, который выделяется «лояльными» прореформаторскими результатами голосования. По-видимому, решающую роль здесь сыграло заключение в 1994 году Договора о разграничении полномочий в сфере исполнительной власти с федеральными органами.

Еще в 1993 году автором было отмечено явление внутрирегиональной политической поляризации (см.: Федерализм против сепаратизма и регионализма. Доклады Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр), серия «Региональные проблемы в России», № 1, 1994 год).

Расчет индекса поляризации как абсолютной величины соотношения разности к сумме процентов голосов, поданных «за» реформаторов и «за» антиреформаторов (как радикалов, так и консерваторов), показал тогда скрытое до поры противостояние мнений населения даже в тех регионах, которые всеми относились к «благополучным» и «реформаторским»: Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Самарской областях в Европейской части, Тюменской (юг), Омской, Сахалинской и Кемеровской областях — в Азиатской России.

Тогда же нами было сделано предположение, что в этих регионах при дальнейшем ухудшении экономического положения избиратели могут в первую очередь отказаться от поддержки политики федеральных властей. Для всех этих регионов, кроме Ивановской области, прогноз полностью оправдался.

Особенно настораживает рост антиреформаторских настроений в 1995 году по сравнению с 1993 годом в таких «оплотах либерализма», как Нижегородская и Самарская области, где реформаторы в целом уступили свое преимущество коммунистам и «государственникам». Да и на выборах губернатора, проходивших одновременно с парламентскими, Б. Немцов получил только 59% голосов против 2/3 на выборах в Совет Федерации в 1993 году.

Отмеченная тенденция в «либеральных» регионах представляет собой серьезнейшую угрозу самой идее децентрализации экономики, возможности создания «реформаторских полюсов» и демократического возрождения России «снизу». Пожалуй, наиболее адекватным выходом для региональных реформаторов является создание региональных «партий поддержки реформ» по типу «Преображения Отечества» свердловского губернатора Э. Росселя.

Еще одной негативной тенденцией в динамике голосования является утрата поддержки реформ в регионах, руководство которых до последнего времени придерживалось «лоббистско-патерналистской» стратегии регионального социально-экономического развития. По-видимому, не в последнюю очередь это стало результатом принятия в 1994—1995 годах жесткого федерального бюджета и более последовательной финансово-бюджетной политики, проводившейся правительством, которое ограничивало бывшие щедрые финансовые «подачки» экономически несостоятельным (Калмыкия, Тува) и кризисным (Кемеровская, Сахалинская области, Коми) регионам.

Выборы показали не только общую потерю потенциала реформаторами, сужение его «территориального поля», но и переход в оппозицию центральной власти избирателей регионов, руководство которых в наибольшей степени было сориентировано на центр («либеральные» и «лоббистские»). Такая ситуация потенциально грозит перерасти в новое противостояние регионов и центра, новый виток регионализации, «спусковой крючок» которого — чеченская война — уже давно взведен.

Далее, согласно закону о формировании Совета Федерации до конца этого года должна последовать волна губернаторских выборов. Негативный их результат для нынешних федеральных властей нетрудно предсказать.

### *А люди воспринимают все иначе*

Для того, чтобы представить перспективу, необходимо рассмотреть структуру электората по категориям, выделенным исходя не из формальной близости предвыборных программ и лозунгов ППО, а из близости ППО по характеру реального голосования в избирательных округах.

Дело в том, что, по утверждениям психологов, из множества предлагаемых кандидатур, да еще в условиях плохой информированности о каждой, многие избиратели руководствуются скорее интуицией, чем разумом. При таком выборе человек как бы трансформирует свою систему принципов и жизненных установок (если они у него есть), наконец, свое психическое состояние в некий абстрактный образ «своего» кандидата (партии), под который уже подбирается один из предлагаемых. И характер лозунгов ППО здесь почти не играет роли.

Поскольку основным элементом психического состояния человека является темперамент, то при голосовании могут выделяться наиболее крупные категории избирателей: радикальные (решительные, склонные к переменам), консервативные (убежденные сторонники сохранения, защиты, постепенной модернизации существующей ситуации) и маргинальные (голосующие по наитию, переменчиво — сегодня за одно, завтра за другое), а также пассивные, не желающие или не могущие участвовать в голосовании. По нашему мнению, консерватизм в обществе переходного периода имеет сложную структуру. Это, с одной стороны, защита курса на постепенность в реформах, а с другой — сохранение оставшихся черт старого, социалистического общества.

Применив методы кластерного и корреляционного анализа результатов голосования по 225 избирательным округам и всем 43 ППО, нам удалось выделить 13 групп электората, из которых 11 были идентифицированы по предполагаемой степени радикализма и принадлежности наиболее крупных в каждой группе ППО к одному из уже известных нам четырех «политических полюсов»:

1. Радикал-демократы — почти 6,5 млн. сторонников семи ППО, наиболее крупными из которых являются Партия самоуправления трудящихся и движение «Вперед, Россия!».

2. Маргинал-демократы — 3,5 млн. сторонников 13 ППО, крупнейшее — «Профсоюзы и промышленники России».

3. Радикал-либералы — более 7,4 млн. сторонников двух ППО («Яблоко» и ДВР).

4. Либерал-консерваторы — 7,5 млн. сторонников двух ППО (НДР и, как ни странно, мусульманского движения НУР).

5. Либерал-маргиналы — более 0,8 млн. сторонников пяти мелких и мельчайших ППО, наиболее известными из которых являются ПРЕС С. Шахрая и ПЭС К. Борового.

6. Маргинал-коммунисты — почти 1,9 млн. сторонников Н. Рыжкова и И. Рыбкина.

7. Консервативные коммунисты — 15,4 млн. сторонников КПРФ в единственном числе.

8. Радикал-коммунисты — 8,9 млн. сторонников АПР, «Трудовой России» и «Женщин России».

9. Маргинал «государственники» — почти 3,5 млн. сторонников четырех ППО во главе с КРО.

10. «Государственники» консерваторы — 2,8 млн. сторонников трех ППО во главе с «Державой» А. Руцкого.

11. Радикал «государственники», или попросту «жириновцы», — 7,7 млн. сторонников ЛДПР.

Кроме того, еще две группы электората образуют:

12. Крайние радикалы — 1,9 млн., проголосовавших «против всех».

13. Пассив — 39,6 млн. не голосовавших и тех, чьи бюллетени были признаны недействительными.

Соотношение между крупными категориями избирателей по всем типам округов почти неизменно: около трети радикалов, от 1/5 до 1/4 консерваторов, около 9% маргиналов и от 1/3 до 2/5 пассива. Несмотря на значительный консервативный слой электората (37% в пересчете на его активную часть), преобладание его радикально настроенной части (48%) при более чем вероятном привлечении большей части маргиналов на сторону радикалов не сулит России спокойного будущего.

Отличительной чертой маргинальных электоральных групп является их практически равномерное распределение как по типам округов, так и по регионам, создающее своего рода «белый шум» — аккомпанемент, на фоне которого наигрывают на политических «гамельнских флейтах» свои предвыборные «мелодии» основные ППО, борясь за голоса радикально и консервативно настроенных избирателей.

Помимо разной «удаленности» групп электората, каждая из них, в свою очередь, имеет различную степень рыхлости, размытости, определенной по близости характера электорального поведения сторонников тех или иных партий, входящих в одну группу.

Не принимая во внимание внутрипартийные разборки, которые идут сейчас практически во всех ППО, наиболее консолидированной организацией кажутся консервативные коммунисты, поскольку все они — сторонники одной партии. Но такая консолидация имеет и обратную сторону, электоральное поведение ее сторонников в наибольшей степени отличается от сторонников остальных ППО. Другими словами, у КПРФ практически нет сочувствующего электората в других группах. Одно из заявлений В. Анпилова о том, что компартия выступила в 1995 году «на пределе своих возможностей», имеет все основания быть близким к истине. Почти столь же «изолированы» от других групп сторонники ЛДПР и либерал-консерваторы в лице НДР и НУР.

Наиболее близки по характеру своего поведения сторонники всех трех маргинальных групп: демократической, либеральной и радикальной, между которыми возможно «перетекание» до половины их электората. По тем же причинам аналогичное «перетекание» маргинального электората возможно в сторону радикальных ППО.

Наибольшей внутригрупповой близостью отличается радикал-либеральный электорат. Можно утверждать, что, как и в 1993 году, ДВР и «Яблоко» по-прежнему делят практически один и тот же электорат, уменьшившийся более чем на пять млн. избирателей. К этому ядру заметно тяготеют избиратели демократической ориентации.

Безусловно, главное политическое событие этого года в России — выборы президента. Так ли логически неизбежна — в свете проведенного анализа — победа кандидата коммунистов? Если даже это будет и так, как многие предрекают, то все равно остается масса вопросов: с какой степенью вероятности, в каком туре, кто может составить ему конкуренцию? Какие, наконец, шансы имеют другие претенденты?

Но у всех кандидатов сохраняются некоторые возможности побороться за пост президента, привлекая голоса демократического и государственнического электоратов. Для этого следует занять четкие и последовательные позиции по ключевым проблемам современной ситуации в России, которые здесь мы лишь перечислим, предоставив право ответа на них самим кандидатам.

1. Достойный выход России из чеченской войны.
2. Региональная и национальная политика, права наций и равноправие регионов.
3. Социальная политика (налоговая реформа, введение «справедливых» налогов).
4. Соотношение бюджетной дисциплины и бюджетного популизма.
5. Структурная и инвестиционная политика, привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.
6. Российские интересы на постсоветском пространстве и укрепление СНГ.
7. Отношения с Западом и расширение НАТО на Восток.
8. Смещение акцентов внешней политики на восстановление и укрепление связей с традиционными партнерами в «дальнем зарубежье».

В «озвучивании» ответов на эти вопросы при подкреплении их конкретными решениями безусловное преимущество имеет нынешний президент, имеющий в своих руках мощный государственный аппарат и казну. Поэтому наиболее реальный шанс не только на выход во второй тур, но и на общую победу будет иметь Б. Ельцин как единый кандидат от всех демократических и либеральных сил при условии невыдвижения ими своих кандидатов уже в первом туре. В этом случае ему может быть обеспечена поддержка 21—24 млн. избирателей в первом и до 29—32 млн. во втором туре, что позволяет надеяться на сохранение им своего поста.

Таким образом, события могут развиваться по наиболее традиционному сценарию борьбы власти с оппозицией, в которой нынешний президент весьма преуспел за годы своего правления. Вся разница в том, что если раньше Ельцину противостояла в большей степени «аппаратная», верхушечная оппозиция, то теперь предвыборная борьба с коммунистами принимает традиционный в русской истории характер противостояния власти и народа. И в этой борьбе победа Б. Ельцина будет возможна при соблюдении гораздо большего перечня условий, чем победа Г. Зюганова.

Полученные нами выводы относительно итогов президентских выборов неутешительны ни для демократов, ни для либералов, ни для либерал-демократов, хотя некоторые шансы на борьбу они все же сохраняют.

Что поделаешь, демократический «процесс пошел», а в нем есть не только радость прихода к власти, но и горечь отлучения от нее. Нужно ждать следующего раза, готовиться к нему, сделать выводы из допущенных ошибок. А какие ошибки были главными, станет ясно по итогам президентских выборов, когда о них нам расскажет новый президент (если, конечно, это будет не нынешний глава государства).

Бывшим реформаторам, если они не сумеют договориться между собой, нужно начинать работать над стратегией и тактикой оппозиционной борьбы. Последнее десятилетие нашей политической истории показывает, что российские проблемы не под силу решить за один политический цикл никакой власти и оппозиция всегда имеет преимущество перед властью.

Единственное, что будущему президенту хотелось бы пожелать, — всегда быть со своим народом, и не столько в радости, сколько в горе, делить с ним беду и жить его проблемами. Он должен быть Человеком по отношению ко всем своим гражданам и не забывать этого никогда! Будем же и мы руководствоваться этим критерием при нашем собственном выборе президента России.



Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

---

## М а р ш а л В о р о ш и л о в

**Н**едавно ушел из жизни крупный историк, писатель, публицист и общественный деятель Дмитрий Антонович Волкогонов. Россия потеряла стойкого и последовательного борца за демократию. И жизнью, и творчеством он служил возрождению России.

На заре перестройки в нашем журнале вышло первое его произведение «Триумф и трагедия», в котором он развенчал не только личность «вождя народов» — Сталина, но и коварный миф о коммунизме как о всеобщем благе. Затем одна за другой выходят его работы о Троцком, Ленине, двухтомник «Семь вождей». Не стану пересказывать здесь эти исторически достоверные, замечательные книги. Хочу сказать о нем самом.

Ему, сыну репрессированного агронома, пришлось с большим трудом пробиваться к жизненному успеху. В звании капитана он провел танковый батальон через эпицентр ядерного взрыва всего лишь четыре часа спустя после него. Тяжелый это героизм, наверное, и ненужный. И все же нельзя сегодня не отдать должное и этому поступку Дмитрия Антоновича, поступку, в котором отражена его любовь к армии, Отечеству.

Сегодня мы предоставляем вниманию читателей последний труд Волкогонова. Рукопись эта осталась лежать на письменном столе после безвременной кончины ее автора. Эта работа говорит о том, что Дмитрий Антонович находился в расцвете творческих сил и мог бы еще многое сделать для познания недавней нашей драматической истории, сути ее вождей, обративших народ в рабство, загнавших его в ГУЛАГи. Но и того, что оставил после себя Волкогонов, достаточно, чтобы светлая, добрая память о нем осталась жить в наших сердцах, сердцах россиян.

Анатолий АНАНЬЕВ

Истории угодно очень часто оставлять в тени надолго, порой навсегда, людей известных, достойных и талантливых, и, наоборот, порой случается, что на гребень популярности возносятся люди крайне посредственные, безликие, невзрачные по своей интеллектуальной сути. К последним в полной мере можно отнести и Клименту Ефремовичу Ворошилову, Маршала Советского Союза, одного из ближайших соратников Сталина, известного военного, государственного и партийного деятеля СССР.

По прошествии многих лет после смерти этого человека (он скончался 2 декабря 1969 года), знакомясь с тысячами документов, приказами, директивами, статьями, записками самых закрытых архивов, где стоят подписи и Ворошилова, нельзя найти там ни одной мысли, которая бы свидетельствовала о мощи интеллекта этого человека, его истинной гражданственности, провидчестве и моральном величии. Игра исторического случая, получившего простор в недрах тоталитарной системы, ценившей послушание, исполнительность, безжалостность, однодумство, вознесла Ворошилова на самый верхний этаж политической власти государства. Такая система живет не только с помощью физического насилия, но и комплекса мифов и легенд, создаваемых пропагандистской машиной. Ворошилов стал одним из первых многолетних и устойчивых мифов сталинизированного общественного сознания. Тем интереснее проследить за судьбой этого человека, через призму которой еще отчетливее проступают контуры тотального коммунизма с его догматизмом, бюрократией, мифотворчеством.

Климент Ефремович Ворошилов родился 23 января 1881 года в селе Верхнее Екатеринославской губернии в семье бедняков: отец — сторож на железной дороге, мать — поденщица. Его ранние годы похожи на судьбу многих простых людей того времени: раннее приобщение к труду, лишения, безысходность. Несмотря на отсутствие образования (по его словам, он учился всего «две зимы»), еще на пороге века его смогло захватить своей струей революционное движение в России. В семнадцать лет он уже член социал-демократического кружка. Вскоре с помощью студентов одолел «Манифест коммунистической партии», включился в нелегальную деятельность. Естественно, последовали аресты и ссылки. Но при либерализме царских наказаний за политическую деятельность бежать из мест высылки не составляло никакого труда.

На стоковольском и лондонском съездах РСДРП встречается с Лениным, знакомится со Сталиным, другими социал-демократами, которые придумали для себя романтические титулы «профессиональных революционеров». Работая с большими перерывами на заводах (в Луганске, Царицыне, Петрограде), будущий «военный вождь» с началом первой мировой войны уклонился от мобилизации в армию.

С приходом февральской, а затем и октябрьской революций 1917 года вчерашний слесарь — в самой гуще клокочущего людского водоворота. Был быстро замечен вождями, избран на съезд партии, стал членом ВЦИК, членом ЧК, получил назначение на Украину для укрепления и защиты советской власти. Под его водительством отряды, верные Москве, с трудом пробивались через мятежные районы Дона к Царицыну, где, собственно, и началась его военная биография.

«Пролетарский полководец» — именно так часто называли Ворошилова в официальных большевистских кругах. Человек, не износивший ни одних солдатских штанов, вскоре после начала революции стал «полководцем». Вначале он возглавил на Украине пеструю, плохо организованную массу вооруженных людей, которая именовалась 5-й армией. После ее перехода в Царицын она была переформирована в 10-ю армию. Именно здесь, в Царицыне, вместе с уполномоченным по делам продовольствия на юге России Сталиным, политкомиссаром Е. А. Щаденко, несколькими бывшими офицерами царской армии они организовали оборону города, имевшего важное значение не только в военном отношении, но и для продовольственного обеспечения голодного центра охваченной огнем гражданской войны страны.

Современники Ворошилова отмечают его большую личную храбрость и бесстрашие. Но никаких заметных полководческих качеств Ворошилов на Царицынском фронте не проявил. Не обладая даже элементарными военными знаниями, уповал на партизанские, «пролетарские» методы борьбы, был подозрителен к военным специалистам. Будучи членом Военного совета Южного фронта и командующим 10-й армией, часто конфликтовал с командующим фронтом Павлом Павловичем Сытиным, опытным и знающим военачальником. При поддержке Сталина не раз через голову командующего фронтом обращался непосредственно в Москву, к Ленину, а также и Главнокомандующему Вацетису, стремясь скомпрометировать Сытина, других военспецов.

Вацетис был даже однажды послать из Арзамаса резкую телеграмму Реввоенсовету фронта, в которой, в частности, говорилось: «...я вижу, что защита Царицына доведена вами до катастрофического состояния, а между тем ваши прежние донесения свидетельствовали о том, что Царицын защищается многочисленными отрядами. Нынешнее катастрофическое положение Царицына всецело ложится на вашу ответственность, ибо произошло исключительно от вашего нежелания работать в контакте с комфронтом Сытиным... Категорически приказываю вам действовать по указаниям комфронтом Сытина и в полном с ним контакте...»<sup>1</sup>

Ворошилов долго был уверен, что революция должна отбросить традиционные методы вооруженной борьбы, уповая больше на способы «народного», партизанского действия. Даже Ленин, не будучи военным специалистом, понимал, что линия, выразителем которой был Ворошилов, глубоко ошибочна. Выступая на съезде партии, лидер русской революции, осуждая идеи «военной оппозиции», к которой примыкал и «герой» Царицына, в частности, говорил: «...Ворошилов приводил такие факты, которые указывают, что были страшные следы партизанщины. Это беспорядный факт. Товарищ Ворошилов говорит: «У нас не было никаких военных специалистов и у нас 60 000 потерь». Это ужасно. Героизм царицынской армии войдет в массы, но говорить, мы обходились без военных специалистов, разве это есть

<sup>1</sup> Директивы Главного Командования Красной Армии (1917—1920 гг.). Сб. документов. М., 1969, с. 84—85.

защита партийной линии... Виноват товарищ Ворошилов в том, что он эту старую партизанщину не хочет бросить»<sup>1</sup>.

В годы гражданской войны волей ЦК большевистской партии Ворошилов не раз перебрасывался с места на место: в конце 1918 года назначается народным комиссаром внутренних дел Украины, командующим войсками Харьковского военного округа, командующим 14-й армией, командующим внутренним Украинским фронтом, членом Реввоенсовета Первой Конной армии... За участие в подавлении Кронштадтского мятежа был награжден вторым орденом Красного Знамени. Первым — за бои на Северном Кавказе.

Везде, куда его посылало руководство большевиков (в 1921 году Ворошилов стал членом Центрального Комитета партии), «пролетарский полководец» проявлял завидное рвение и исполнительность. Это был один из тех военных руководителей, который, не внося ничего нового в военное дело, зарекомендовал себя как послушный и последовательный исполнитель чужой воли. По настоянию Сталина Ворошилова назначают командующим весьма ответственным Московским военным округом вместо друга Троцкого Николая Ивановича Муралова. После смерти Михаила Васильевича Фрунзе, пробывшего во главе военного ведомства лишь около года, Ворошилов (и вновь по рекомендации Генерального секретаря партии!) возглавляет Красную Армию, находясь в общей сложности на этом посту полтора десятилетия. Именно в это время высшее руководство СССР, испытывая военное давление со всех сторон и не отказываясь от своих коминтерновских планов разжигания «мировой революции», уделяет особое внимание военному строительству. Наряду с коллективизацией и индустриализацией создание мощных армии и флота было предметом основной заботы руководства ВКП(б), возглавляемого Сталиным, который в начале тридцатых годов стал полновластным диктатором страны, которая, перенеся столько мучительных лишений во имя свободы, ставшей — увы! — в условиях сформировавшейся большевистской системы горькой фикцией. Именно в такой обстановке нарком Ворошилов оказался исключительно удобным человеком для «вождя народов». Сохранив дружеские, часто даже внешне фамильярные отношения со Сталиным (до самой смерти диктатора он обращался к нему на «ты»), Ворошилов превратился в безропотного и ревностного исполнителя воли новоявленного цезаря.

Мало этого: Ворошилов стал, по сути, первым, кто стал усиленно насаждать культ Сталина, используя для этого военные штрихи биографии человека, ставшего олицетворением самых мрачных страниц в жизни великого народа. Так, в пятидесятилетие Сталина, 21 декабря 1929 года, в «Правде» появилась статья Ворошилова, озаглавленная «Сталин и Красная Армия». Автор апологетической статьи, презрев истину, писал: «В период 1918—1920 годов товарищ Сталин являлся, пожалуй, единственным человеком, которого Центральный комитет бросал с одного боевого фронта на другой, выбирая наиболее опасные, наиболее страшные для революции места. Там, где было относительно спокойно и благополучно, где мы имели успехи, — там не было видно Сталина. Но там, где в силу целого ряда причин трещали красные армии, где контрреволюционные силы, развивая свои успехи, грозили самому существованию советской власти, где смятение и паника могли в любую минуту превратиться в беспомощность, катастрофу, — там появлялся товарищ Сталин...»<sup>2</sup>

Прошло немногим более десяти лет после октябрьского переворота, но претендент на пост диктатора определился. Им был Сталин. Он очень нуждался в массовой общественной идеологической поддержке, чтобы короноваться на уникальную и единственную «должность» — «вождя народа». Одним из первых, кто оказал эту поддержку, был руководитель самого влиятельного и могущественного ведомства — военного.

Огромные ресурсы были брошены на создание отечественного самолетостроения, танкостроения, производство боеприпасов, химического оружия. Мы знаем, что история ценит только истину. Во имя ее следует указать, что именно Ворошилов явился основным инициатором создания и такой ужасной отрасли милитаризации, как химическое и бактериологическое оружие. В конце марта 1934 года он посылает Сталину записку следующего содержания:

«...Посылаю проект положения, штатов и сметы по химико-бактериологической работе, разработанный комиссией тт. Фишмана, Гая, Великанова и Демиховского на основе наших указаний.

<sup>1</sup> Ленинский сборник. Т. XXX, с. 138—139.

<sup>2</sup> «Правда». 21 декабря 1929 года.

Предлагаемая организация, которую мы (при твоей помощи) постараемся обеспечить соответствующими людьми, должна создать необходимые условия для развертывания этой работы.

Прошу об утверждении представляемых проектов...»

В верхнем углу документа стоят размашистые подписи: «За. И. Сталин, В. Куйбышев, Молотов».

Этот страшный документ — свидетельство того периода, когда мы все шли по долгой мрачной долине смертельной конфронтации, угроз и столкновений. У «пролетарского полководца», инициировавшего военные приготовления в такой же чудовищной сфере, как и сфера ядерная, не было мучительных колебаний.

Но полководец не сыскал лавровых венков на поле брани.

Во время советско-японского вооруженного конфликта на озере Хасан Ворошилов (при участии Сталина) своими бестолковыми распоряжениями, носившими главным образом угрожающе-политический характер, парализовал уверенность и работоспособность Военного совета войск Дальнего Востока. В небольшом, по сути, столкновении советские войска потеряли более трех тысяч убитыми и ранеными, имея большое превосходство в силах. Но Ворошилов, созвав 31 августа 1938 года Главный военный совет РККА, возложил всю ответственность за неуверенные действия на командующего маршала Блюхера. В своем Приказе за № 0040 от 4 сентября 1938 года Ворошилов расформировал Управление Дальневосточного Краснознаменного фронта, а Блюхера, по предварительному согласованию со Сталиным, отстранил от командования, предрешив тем самым его трагический конец. Но это был конфликт локального значения. Более крупной неудачей, одним из последствий которой стало охлаждение Сталина к «легендарному наркому», стала бесславная советско-финляндская война 1939—1940 годов, продлившаяся 105 дней.

Ворошилов, как Главнокомандующий войсками, действовавшими против Финляндии, явно недооценил (как и все советское руководство) упорства, мужества и мастерства финнов, вставших на защиту своей родины. В своем докладе Сталину, который основывался на донесениях Берии и Главного разведывательного управления РККА, Ворошилов писал: «Материальная часть вооруженных сил финской армии большей частью довоенных образцов старой русской армии... Среди резервистов настроение подавленное... Рабочие массы Финляндии... угрожают расправой тем, кто ведет политику, враждебную Советскому Союзу...»<sup>1</sup>

Однако потребовались огромные усилия великой страны, чтобы сломить сопротивление небольшой финской армии. В ходе кампании рядом своих оборонительных действий финны показали очень слабую подготовку советских войск и особенно их высшего руководства. Весьма чувствительный удар был нанесен окружением и разгромом 44-й стрелковой дивизии. Москва после этого прибегла к испытанным методам: судам военных трибуналов и расстрелам. В своем докладе Сталину Ворошилов, как всегда, пытался переложить вину за военные неудачи на чужие плечи: «Считаю необходимым провести радикальную чистку корпусов, дивизий и полков. Выдвинуть вместо трусов и бездельников (сволочи тоже есть) честных и расторопных людей. Мерццова предупредить от лица Ставки (лично я это уже сделал), что, если он не наведет порядка в войсках, он будет снят и отдан под суд...»<sup>2</sup>

А Берия все нагнетал обстановку. Вот один фрагмент сообщения, переданного Ворошилову: «139 стрелковая дивизия находится в тяжелом положении. Фуража совершенно нет, третьи сутки горючее не подвезено, полки десять суток находятся в бою; потери 800—900 человек. В 609 полку комсостав выведен на 80 процентов. Бойцы разбегаются. Настроение подавленное...»<sup>3</sup> Ворошилов хорошо знал, что подобное донесение пошло и Сталину... Лишь в начале марта, к великому конфузу Ворошилова и Сталина (выступавшего в роли члена Военного совета Главного командования), сопротивление Финляндии было сломлено. Около семидесяти тысяч жизней советских воинов стоила эта бесславная война плюс глубокая политическая изоляция страны, которую мир осудил как агрессора. Легкого похода, как было при разделе Польши, не получилось.

Сталин сделал для себя выводы. Уже через месяц после окончания войны Ворошилов был отстранен от руководства Наркоматом обороны и заменен С. К. Тимошенко, военачальником этой же школы. «Актом о приеме наркомата обороны» Сталин постарался максимально унижить Ворошилова и тем самым найти главного козла отпущения. И хотя «великий вождь» сделал неудачника заместителем Пред-

<sup>1</sup> ЦГАСА, ф. 25 888, оп. 11, д. 17, л. 196—199.

<sup>2</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 1396, л. 395—396.

<sup>3</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 1221, л. 339.



седателя Совета Народных Комиссаров по оборонным вопросам, все отлично понимали, что это серьезная опала.

«Зимняя война» воочию показала всем: «легендарный красный маршал» не обладает ни стратегическим мышлением, ни оперативным кругозором, ни должными организаторскими способностями. Человек, который учился лишь «две зимы» и имевший на вооружении только «школу Политбюро», где нужно было угадать желание вождя, оказался «голым королем».

Это в полной мере показала вскоре и Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма. Сталин пытался использовать Ворошилова как представителя Ставки, члена Государственного Комитета обороны в качестве Главнокомандующего Ленинградским фронтом. К слову сказать, Сталин продержал его в этой должности всего одну (!) неделю... Еще до этого Верховный Главнокомандующий послал в Ленинград красноречивую шифровку Ворошилову, Маленкову, Жданову, Кузнецову, в которой говорилось: «Ставка считает тактику Ленинградского фронта пагубной. Ленинградский фронт занят только одним: как бы только отступить и найти новые рубежи для отступления. Не пора ли кончать с героями отступления?...»<sup>1</sup> Последняя фраза весьма зловеща, ведь Сталина хорошо знали. Везде назначения Ворошилова приводили лишь к ухудшению положения. Старейший маршал не обладал ни мышлением, ни волей военачальника, а одной смелостью, которая так помогала ему в начале карьеры, ситуацию изменить было уже нельзя.

В начале февраля Сталин направляет Ворошилова как представителя Ставки на Волховский фронт с целью активизации действий по деблокаде Ленинграда. Но положительного результата, увы, и на этот раз не последовало. Тогда Сталин предложил в прямом разговоре по телеграфу Ворошилову возглавить фронт. Тот сразу же отказался, сославшись на какие-то пустяковые обстоятельства, а попросту боясь ответственности и испытывая полную неуверенность в своих силах. Тогда Сталин, взбешенный отказом Ворошилова, продиктовал документ, который был затем узаконен (так часто бывало) как решение Политбюро. С небольшими сокращениями его стоит привести.

«Членам и кандидатам ЦК ВКП(б) и членам комиссии партийного контроля. Сообщается следующее. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о работе товарища Ворошилова, принятое 1-го апреля 1942 года.

Первое. Война с Финляндией в 1939—1940 годах вскрыла большое неблагополучие и отсталость в руководстве НКО. В Красной Армии отсутствовали минометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск, войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась большая запущенность в работе таких важных управлений НКО, как Главное Артиллерийское управление, Управление Боевой подготовки, Управление ВВС, низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и другое. Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Товарищ Ворошилов, будучи в то время Народным комиссаром обороны, вынужден был признать на Пленуме ЦК ВКП(б) в конце марта 1940 года обнаружившуюся несостоятельность своего руководства НКО. ЦК ВКП(б) счел необходимым освободить товарища Ворошилова от поста Наркома обороны.

Второе. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен Главнокомандующим Северо-Западным направлением, имеющим своей главной задачей защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. В своей работе в Ленинграде товарищ Ворошилов допустил серьезные ошибки: издал приказ о выборности батальонных командиров в частях народного ополчения — этот приказ был отменен по указанию Ставки как ведущий к дезорганизации и ослаблению дисциплины в Красной Армии; организовал Военный Совет обороны Ленинграда, но сам не вошел в его состав — этот приказ был также отменен Ставкой как неправильный и вредный, так как рабочие Ленинграда могли понять, что товарищ Ворошилов не вошел в совет обороны потому, что не верил в оборону Ленинграда; увлекся созданием рабочих батальонов со слабым вооружением (ружьями, пиками, кинжалами и т. д.), но упустил организацию артиллерийской обороны Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный Комитет Оборона отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда.

Третье. Ввиду просьбы товарища Ворошилова он был командирован в феврале месяце на Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи ко-

<sup>1</sup>ЦАМО, ф. 3, оп. 11 556, д. 2, л. 81.

мандованию фронта и пробыл там около месяца. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКП(б) предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет провалиться на этом деле.

Ввиду всего изложенного ЦК ВКП(б) постановляет:

Первое. Признать, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте.

Второе. Направить товарища Ворошилова на тыловую военную работу.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин»<sup>1</sup>.

Приведенный документ — явное личное творчество Сталина. Верховный Главнокомандующий, без конца повторяя «товарищ Ворошилов», фактически показал полную несостоятельность «первого маршала». Сталин, правда, еще раз дал Ворошилову крупный самостоятельный участок работы, назначив его в конце 1942 года главкомом партизанского движения. Но через три месяца вынужден был освободить и от этого поста. В последующем «великий вождь» использовал Ворошилова в основном для представительских целей как декоративную фигуру, считая, что на этом поприще он не сможет нанести большого вреда.

Бывшему «легендарному» полководцу еще повезло: его не расстреляли, как генерала армии Павлова, или не разжаловали, как маршала Кулика, на которых Сталин свалил крупные катастрофы 1941 и 1942 годов. Сталин не мог забыть в то же время услуг, оказанных ему Ворошиловым, в осуществлении страшной чистки, проведенной накануне войны в армии и на флоте. Это составляет особую главу в жизни этого человека. Мы обязаны осветить ее в этом очерке, хотя бы и потому, что конкретные деяния Ворошилова самым непосредственным образом повлияли на катастрофическое начало войны с фашистской Германией.

Для начала вспомним одну фразу из речи Ворошилова, произнесенной на заседании Главного Военного совета в ноябре 1938 года: «В ходе чистки Красной Армии в 1937—1938 годах мы вычистили более четырех десятков тысяч человек»<sup>2</sup>. Если учесть, что большая часть «вычищенных» (а чистили террором и раньше, и позже указанных лет) была расстреляна, то нетрудно представить объем человеческого и стратегического ущерба, нанесенного вооруженным силам сталинской операцией, которую активно помогал осуществлять Маршал Советского Союза Ворошилов, получивший это звание в 1935 году в числе первых пяти военачальников, удостоившихся подобной чести.

Ворошилов полностью поддержал курс Сталина на генеральную чистку в стране с тем, как они полагали, чтобы убрать с политической сцены всех потенциальных противников из числа бывших троцкистов, сторонников тех или иных оппозиций, бывших царских офицеров, сомнительных в идейной благонадежности людей. Ворошилов дал общую установку на «выкорчевывание» врагов из рядов РККА, которая активно исполнялась оболваненными людьми. Когда процесс стал выходить из-под контроля и армия оказалась фактически обезглавленной, маршал вынужден был отдать 3 января 1939 года приказ № 001 «О разрешениях на аресты военнослужащих», где говорилось, что «разрешения на аресты военнослужащих высшего, старшего и среднего начальствующего состава РККА могут даваться только мною»<sup>3</sup>. Хотя и до этого перо наркома не высохало... В телеграмме в Новосибирск Ястребову 14 июня 1937 года говорилось: «Разрешение на аресты троцкистов, двурушников и пр. даю только лично я...»<sup>4</sup> Вот лишь несколько его личных телеграмм из многих сотен подобных.

«Хабаровск. Блюхеру, Хаханьяну. На № 1587. Арестовать. 1 июля 1937 г. К. Ворошилов».

«Свердловск. Гойлиту. На № 117. Найти, арестовать и строжайше судить. 1 июля 1937 года. К. Ворошилов».

«Смоленск. Белову, Мезису. На № 475. Арестуйте. 1 июля 1937 г. К. Ворошилов».

<sup>1</sup> ЦАМО, ф. 132, оп. 2642, д. 233, л. 285—286.

<sup>2</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 152, л. 151.

<sup>3</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 1280, л. 43.

<sup>4</sup> ЦАМО, ф. 5, оп. 176 692, д. 5, л. 110.

«Владивосток. Кирееву, Окуневу. На № 2454. Уволить, а если есть подозрения, что он замешан в делах жены, арестовать. 21 июля 1937 г. К. Ворошилов».

«Ленинград. Дыбенко, Магеру. На № 16 757. Разрешаю судить. 22 июля. К. Ворошилов».

«Тбилиси. Куйбышеву, Ансе. На № 342. Уволить. На № 344. Судить и расстрелять. На № 346. Уволить. 2 октября 1937 г. К. Ворошилов»<sup>1</sup>.

Сколько было таких шифротелеграмм! Результаты не замедлили сказаться. Из пяти Маршалов Советского Союза трое были расстреляны. Из 16 командармов 15 погибли; из 67 командиров корпусов — 60; из 169 командиров дивизий — 136; из 397 командиров бригад — 221; из четырех флагманов флота погибли все; из шести флагманов 1 ранга погибли все; из 15 флагманов 2 ранга погибло 9. Были арестованы и расстреляны тысячи командиров полков, батальонов, эскадронов и им равных. Страшный пир насилия продолжался более двух лет. Уникальный, беспрецедентный случай в истории, когда лицо, стоящее во главе армии, само организовывало, санкционировало, направляло, инициировало всю эту кровавую вакханалию. Подручный Сталина — маршал Ворошилов, которого долгие годы обманутые люди считали полководцем, государственным деятелем, был попросту палач. Пособник главного палача. Им двигало одно чувство: выполнить волю Сталина, быть достойным его доверия. Отсутствие элементарной гражданской порядочности, догматизм мышления, ложно понятое долг и совесть делали Ворошилова прямым соучастником грандиозного преступления. Именно он (разумеется, вместе со Сталиным) повинен в том, что накануне войны командирами полков становились вчерашние комроты, дивизиями командовали неопытные офицеры, перепрыгивавшие через ступени военной карьеры, а высший эшелон руководства армией и флотом был явно не готов к той страшной ноше, которую возложила война на его плечи.

К Ворошилову, естественно, обращались тысячи арестованных людей, прося разобраться в «недоразумении». Я просмотрел тома этих потрясающих документов. За исключением нескольких случаев Ворошилов остался глух к мольбам этих людей. Вот что писал перед арестом маршал Егоров Ворошилову: «Пошел второй месяц, как я освобожден от всякой работы. Я не говорю уже о том, что невыносимо и тяжело сидеть без работы. Основное и важнейшее — это то, что замерла целиком моя жизнь, и я кажусь за бортом, как будто какой-то предатель и изменник». Ворошилов начертал на письме: «Т. Сталину. Это четвертое заявление одного и того же порядка. 25. — 38 г. К. Ворошилов». Дальнейшая судьба маршала Александра Ильича Егорова печальна, как и Блюхера, и Тухачевского. Впрочем, с расправы над Тухачевским и началась основная кампания избиения командных кадров. Именно Ворошилов устроил фарс с «обнаружением и обсуждением контрреволюционной военной фашистской организации», который продолжался с 1 по 4 июня на Военном совете при Народном комиссаре обороны СССР. Доклад сделал сам Ворошилов. В приказе № 072 от 7 июня 1937 года предопределил судьбу несчастных. Точнее, он знал, чем кончится процесс: «Немецко-японские фашисты не дождутся поражения Красной Армии. Она была и останется непобедимой. Агент японо-немецкого фашизма Троцкий и на этот раз узнает, что его верные подручные гамарники и тухачевские, якиры, уборовичи и прочая сволочь, лакейски служившие капитализму, будут стерты с лица земли, и память их будет проклята и забыта»<sup>2</sup>.

Была ли эта жестокость случайной? Нет, конечно. Беспощадность к врагам считалась у большевиков высшей революционной добродетелью. Все «соратники» Сталина наперебой стремились превзойти друг друга в непримиримости к потенциальным противникам, что, впрочем, многих не спасло от тяжелой участи. Молох тоталитарной системы не мог обходиться без жертв. Бесчисленных жертв.

Еще ранее, в сентябре 1936 года, Николай Иванович Бухарин, на котором уже «висели» зловещие подозрения, но он продолжал пока находиться на свободе, обратился с доверительным, дружеским письмом к Ворошилову, в котором писал: «Как вы можете верить наветам на меня, ведь так могут поступать люди, «не заслуживающие уважения». Ворошилов тут же ответил. Письмо маршала заслуживает того, чтобы его привести полностью:

«Тов. Бухарину.

Возвращаю твое письмо, в котором ты позволил себе гнусные выпады в отношении партруководства. Если ты, твоим письмом, хотел убедить меня в твоей пол-

<sup>1</sup> ЦАМО, ф. 5, оп. 176 692, д. 5, л. 130, 137, 140, 191, 196, 239, 367.

<sup>2</sup> ЦАМО, ф. 17, оп. 165, д. 39, с. 42.

ной невинности, то убедил пока в одном: впредь держаться от тебя подальше, независимо от результатов следствия по твоему делу, а если ты письменно не откажешься от мерзких эпитетов по адресу парт-руководства, буду считать тебя и него-дям.

3 IX — 36 г.

К. Ворошилов<sup>1</sup>.

Предварительно копию письма Бухарина и своего ответа опальному большевику Ворошилов направил Сталину и другим членам Политбюро. Цинизм и коварство «пролетарского полководца» могут быть достойно оценены историей.

В столь сложных заботах о чистоте рядов РККА Ворошилову было трудно уделять должное внимание боевой готовности войск, оперативному мастерству военачальников, своевременному техническому перевооружению частей и соединений. Книга приказов Наркома обороны за 1937—1940 годы пестрит такими, например, документами, подписанными Ворошиловым:

«№ 071 от 25.05.1937 г. О мерах предотвращения порчи материальной части ВВС РККА по злому умыслу».

«№ 0135 от 20.08.1937. О мерах предотвращения вредительской и диверсионной деятельности в автобронетанковых частях РККА».

«№ 049 22.04.1939 г. Объявление приговора Военной Коллегии Верховного Суда СССР по делу Подласа К. П., Шуликова М. В., Помощникова А. И.».

«№ 065 от 15.05.1939 г. О случаях порчи оружия в войсковых частях Орловско-го и Приволжского военных округов» и т. п.

«№ 0028 от 16.05.1941 г. О неверной, непартийной линии некоторых окружных и армейских газет»<sup>2</sup>.

Подобные документы больше похожи на «творчество» главы карательной спецслужбы, нежели на приказы руководителя военного ведомства огромной страны.

Имя Ворошилова причастно ко многим трагедиям террора. Не только советских людей, но и поляков. После раздела Польши осенью 1939 года по указанию Сталина и предложением Берии и Мехлиса Ворошилов «помог» решить судьбу польских «военнопленных». В соответствии с этими решениями:

«генералов, подполковников, крупных и государственных чиновников и всех остальных офицеров поместить на Юге (в Старобельске);

разведчиков, контрразведчиков, жандармов, полицейских и тюремщиков — в Осташковском лагере, Калининградской области;

пленных солдат, родина которых находится в немецкой части Польши, содержать в Козельском лагере, Смоленской области и Путивльском лагере, Сумской области...»<sup>3</sup>

Несчастные еще не знают, что это будут для них не лагерь интернирования, а лагерь смерти, последнего прибежища на земле.

Пожалуй, эти вехи биографии маршала более «впечатляющи», чем его военные «подвиги» на фронте, где, впрочем, он развернуться не успел. Своего послушного, удобного, исполнителя Ворошилова Сталин не рисковал — даже в начале войны — подолгу держать в действующей армии. И было отчего. Едва приехав в Ленинград, Ворошилов, кроме организации ряда контратак в стиле гражданской войны, 8 сентября 1941 года сочинил вместе с Ждановым Постановление Военного Совета Ленинградского фронта по затоплению кораблей Балтийского флота «для закупорки фарватеров и гаваней». Ответ Сталина был быстрым; через два дня последовала директива Ставки: «Освободить маршала Советского Союза тов. Ворошилова от обязанностей командующего Ленинградским фронтом. Тов. Ворошилову сдать дела фронта, а тов. Жукову принять в течение 24 часов...»<sup>4</sup>

После Волховского фронта осел «пролетарский маршал» в стратегическом тылу и, работая по подготовке пополнения, имел немало свободного времени, чтобы мысленно охватить свою военную карьеру. Ведь это с его легкой руки перед войной стала внедряться в сознание военных мысль о возможности легкой победы над любым врагом. Выступая с речью на Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года, Ворошилов, назвав Сталина «истинным маршалом Коммунизма», заявил: «Мы должны победить врага, если он осмелится на нас напасть, малой кро-

<sup>1</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 891, л. 29.

<sup>2</sup> Приказы Народного комиссара обороны СССР за период 1937—1941 гг. М., 1990.

<sup>3</sup> ЦАМО, ф. 5, оп. 176 692, д. 5, л. 449.

<sup>4</sup> ЦАМО, ф. 3, оп. 11 556, д. 2, л. 201.

вью, с затратой минимальных средств и возможно меньшего количества жизней наших славных бойцов...»<sup>1</sup>

Слова «малой кровью» стали крылатыми в довоенной армии, слабо подготовленной к современной полномасштабной войне. Но уже «зимняя война» показала амбициозность и бессодержательность слов Ворошилова о «малой крови». Он все время убеждал народ в своих многочисленных выступлениях, что «выучка личного состава достигла большой высоты...» Однако уже в декабре 1939 года был вынужден в своем докладе Политбюро писать горькие слова о делах в Карелии: «Пехоты как организованной силы на фронте не существует, болтается у фронта масса (толпами) людей, почти никем не управляемых... Командиры и политсостав все еще настроены к легкому и безостановочному походу на Финляндию...»<sup>2</sup>

Можно было бы назвать эти признания самокритичными (ведь он народный комиссар обороны страны!), если бы тут же не следовали безнравственные пассажи о виновности Мерецкова, других военачальников, по сути, всех, кто стоит ниже маршала в военной иерархии. По его словам, виновны все. А он?

После сказанного нет нужды подробно останавливаться на том, был ли маршал военным теоретиком. Уже ясно, что не был. Однако Ворошилов любил на различных совещаниях читать большие доклады, которые ему готовили, подписывать большие статьи, которые ему тоже писались. В 1937 году вышла большая книга Ворошилова «Оборона СССР». Почти на семистах страницах изложены его речи, выступления, статьи, доклады, сделанные им на протяжении ряда лет. Особое место в этом бесцветном фолианте занимает статья «Сталин и Красная армия», представляющая безудержный панегирик «вождю народов».

Есть в этой книге традиционные статьи о «Смычке Красной армии с населением», «Клевете империалистов», «Военной химии», «О коне и машине», «За рост поголовья, за хорошего коня!»<sup>3</sup> и другие подобные материалы. Но в книге, претендующей на программное изложение вопросов обороны советского государства, нет доктринальных разработок по военной стратегии, оперативному искусству, тактике. Поверхностные, агитационные материалы продиктованы лишь пропагандистскими усилиями в традиционном коммунистическом духе. Внимательно изучив этот скучнейший труд, можно сказать, что он не только является письменным памятником эпохи, но и доказательством явной посредственности интеллекта «первого маршала страны Советов», свидетельством глубокой полководческой ограниченности человека, под руководством которого армия подошла к тяжелейшим испытаниям Великой Отечественной войны.

Она фактически сорвала с Ворошилова тогу национального, народного героя. Все свои высокие награды: дважды Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, маршал получил после войны в честь различных юбилеев, занимая высокие, но в основном символические, декоративные должности. Правда, одно время Политбюро поручило этому малограмотному человеку курировать культуру. Думаю, писатели, режиссеры, артисты, композиторы и художники, встречаясь со старым склеротичным человеком, о котором было сложено столько легенд, песен, написано картин, могли убедиться в том, что системе было угодно, чтобы культура была в стране такой же, как и ее куратор.

Сталин после войны относился к неудачнику войны пренебрежительно-снисходительно, правда, пожаловав Ворошилову пост заместителя Председателя Совета Министров СССР, который он занимал до самой смерти Сталина.

После кончины диктатора, когда маршалу было уже за семьдесят, вдруг началась новая, теперь уже политическая фаза его карьеры. Соратники Сталина, еще не внеся вождя в Мавзолей к другому вождю, решили, что Ворошилов — идеальная фигура на пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Декоративная, но очень высокая должность была отдана человеку, который, как полагали члены Президиума ЦК КПСС, будет автоматически освящать государственными актами их решения. Поначалу так и было: Ворошилов поддержал заговор партверхушки по аресту Берии, послушно узаконивал государственными решениями постановления партийного ареопага. Так было, например, когда Хрущев единолично, фактически не советуясь ни с кем, передал Крым из состава России Украине, а Ворошилов угодливо прощамповал этот антиконституционный шаг соответствующими решениями Президиума Верховного Совета.

<sup>1</sup> К. Ворошилов. Оборона СССР. М., Военное издательство, 1937, с. 646—647.

<sup>2</sup> ЦГАСА, ф. 33 987, оп. 3, д. 1396, л. 59.

<sup>3</sup> К. Ворошилов. Оборона СССР. М., Военное издательство, 1937.

Но уже вскоре после XX съезда партии Ворошилов вместе с Молотовым, Маленковым и Кагановичем выступил против Хрущева, как только зашла речь о реальной десталинизации. После этого дряхлый маршал продержался два года на посту Председателя, но еще до наступления своего восьмидесятилетия, в 1960 году, был освобожден от бремени высшей власти, уступив место пока малоизвестному, но такому же бесцветному человеку, Л. И. Брежневу.

Однако на этом переживания маршала не окончились. На XX съезде партии Хрущев и его сподвижники вновь обрушились на членов «антипартийной группы». Досталось и Ворошилову. Хрущев, в частности, заявил, что маршал несет полную ответственность «за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров и за другие явления подобного рода, имевшие место в период культа личности»<sup>1</sup>.

С резкой критикой Ворошилова выступили и другие делегаты. Казалось, что на закате лет одного из ближайших соратников Сталина выбросят из коммунистической партии, в которой тот занимал с 1926 по 1960 год положение фактически «неприкасаемого», будучи членом Политбюро, а затем Президиума ЦК КПСС. Но Ворошилов подал покаянное заявление съезду, где говорилось, что он «полностью согласен с проведенной партией большой работой по восстановлению ленинских норм партийной жизни и устранению нарушений революционной законности периода культа личности и глубоко сожалею, что в той обстановке и мною допущены ошибки»<sup>2</sup>.

Вот так: участие в массовых злодеяниях по уничтожению тысяч неповинных людей в униформе советских офицеров — всего лишь «ошибки». Но, по большевистской логике, это именно так, ведь Ворошилов пишет о «революционной законности», которая так же далека от истинного права, как сам Ворошилов от мифического образа «пролетарского полководца».

Оставшись не у дел, почти в одиночестве (его жена Екатерина Давыдовна умерла в 1969 году), правда, были приемные сын и дочь, Ворошилов пытался написать воспоминания. Первая часть — «Рассказы о жизни» — появилась еще при жизни автора. Но книга в силу догматического большевистского мировоззрения Ворошилова интересна лишь как свидетельство одного из тех, кто привел великую страну к огромной исторической неудаче.

Старик доживал свои дни, как раньше все уцелевающие члены Политбюро, весьма недурно. Специальным Постановлением Политбюро от 30 июля 1960 года Ворошилову установили пожизненную пенсию в 9 тысяч рублей в месяц, сохранили государственную дачу, лимузины, врачей, прислугу, охрану и другие атрибуты принадлежности к высшей коммунистической партийной номенклатуре. Так жил новый бюрократический класс, вся высшая партократия.

Но и долгожители рано или поздно перешагивают через ту невидимую черту, откуда возврата нет никому. Ворошилов скончался 2 декабря 1969 года. Политбюро отреагировало стереотипно-торжественно, в духе заведенных кремлевских традиций: городу Луганску присвоить имя Ворошиловград; Хорошевскому району — Ворошиловский район; учредить стипендии имени почившего в бозе слушателям военных вузов; одна из академий стала «имени К. Е. Ворошилова...». К тому времени в Москве уже были десятки улиц, многие районы, вузы, дворцы, станции метро, которые носили имена умерших членов Политбюро, этаких «бессмертных» людей. Со временем древняя столица великой страны великого народа обещала стать городом — памятником уродств большевистской системы, способной вознести на самую высшую точку гребня власти людей бесталанных, невзрачных, посредственных, но с марксистской твердостью, догматической устремленностью, идейной непримиримостью. Одним из таких «вождей» ушедшего прошлого и был маршал Ворошилов.



<sup>1</sup> XX съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1961, т. 1, с. 105.

<sup>2</sup> XX съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 2, с. 590.

Е. ТИХОМИРОВА

## «Звук о слова я укрощаю эти стихи...»

*...криминальный опыт ... беззаконное переступание норм ... какие-то предельные, конечные отношения с культурой в целом, с этим, в сущности, довольно жалким и жиденьким покрывальцем на гигантском и непостижимом теле кишащего под ним хаоса.*

*С. Беляева-Конеген. Упырь (О прозе Юрия Мамлеева)*

Иногда популярную литературу на книжных прилавках сортируют тематически: мелодрама, историческая проза, фантастика и фэнтэзи, детективы, ужасы... Тогда вдруг обнаруживается, что массовый книжный рынок, в общем, не так убог, как нередко думают, удивляясь упадку вкуса в самой читающей стране. При оптимистическом настрое отрадным покажется уже то, что массовый читатель не впал в утилитаризм: словари и разговорники, книжки о косметике, народной медицине, наставления психологов занимают не так уж много места на лотках, а литературу художественную (и, стало быть, бесполезную) представляют не только книжки для детей, то есть для глупых и праздных, еще не умеющих считать время-деньги и просто деньги. Диапазон массовых художественных жанров достаточно широк. Более того, среди них есть такие, что ломают сложившиеся представления о читающем обывателе, об ограниченности и косности его воображения, о склонности исключительно к легкому и приятному чтиву. В самом деле, зачем массовой литературе «Они появляются в полночь», «Дракула» и безымянные «Вампиры»-последователи (Барона Олшеври и др.), еще более размножившиеся благодаря видео («Интервью с вампиром», «Объятия вампира», «Час оборотня» и т. д.)? Мажорный настрой для поддержания нуждается во встрясках?

Все не так просто, если вспомнить, сколь многим массовая литература обязана высокой. Как только в последней обнаруживается некий «живой нерв», «беллетристика» тиражирует его, превращая в общедоступный стереотип. По словам одного из специалистов, основной формой общения масс-культуры с серьезной («высокой», «большой», «настоящей») «вплоть до последнего времени оставалось заимствование сюжетов, мотивов, героев, коллизий большого искусства, подвергавшихся тривиализации в искусстве "массовом"».

Что ж, тема смерти в культуре «серьезной» присутствует, более того, укрепляется, так что при повышенной чувствительности соответствующая продукция даже кажется избыточной. В одной из статей Д. Быков попытался перечислять факты экспансии темы смерти, но в определенный момент, явно подавленный неостановимой лавиной, как будто ощутив себя заживо погребенным ею, издал закликающий вопль: «Жить хочу! Жить хочу!» Впрочем, успел еще задаться вопросом о причинах обвального интереса (даже так: повального влечения) к мрачной теме и набросал примерные ответы.

Обобщающему взгляду здесь открывается некий закон культуры: танатоцентризм (упоение смертью, эстетизация ее) — неперенная черта рубежа веков. Что ж, споров тут быть не может, все верно. И все же... Всего проще ожидать на смену «эллинизму» нового варварства, клейких листочков. Но каково реальное (а не умозри-

тельно-желанное) разрешение культурной — и литературной — ситуации? И совершенно ли бесплодна эта завороченность смертью? Или она все же нечто дает — читателю, искусству?

Упыри — мистический поворот темы смерти, частный, почти незаметный в общем потоке, периферийный — и, стало быть, многообещающий.

По закону Шкловского-Тынянова, в ходе литературного развития новое явление приходит в центр, на место устаревающего именно из периферии, «из мелочей литературы, из ее задворков и низин». Отсюда вывод: необходимо внимание ко всему, что в литературе произрастает. Даже если растение кажется заведомо сорным.

Вдруг обсуждение периферии земной жизни в «мистической прозе» и есть та самая литературная периферия, которой суждено в будущем выйти в центр споров? Вдруг мистика с ее вниманием к необъяснимому, сверхъестественному, к тому, что вне культуры, и есть долгожданная смена постмодернистской прозе, перенасыщенной культурой, игрой культурными кодами и стилевыми масками — нередко в ущерб творчеству и жизни (при всем том, что «исчезновение реальности» в иных случаях — судьба)...

Естественно ограничить поле наблюдений тремя объектами, достаточно крупными. Н. Сакур и ее «Панночка» (и не только она), Ю. Милославский, посвятивший «опыряке» повесть «Лифт», наконец, Ю. Мамлеев — общепризнанный специалист по вампирам. Коварная, опасная, надо сказать, специальность! Предмет навязывает свои правила игры, и вот уж критик (С. Беляева) с изумлением опознает «упыря» в самом «специалисте». Ну а если обойтись без эффектных метафор, подойти со всей точностью и основательностью?

Вампиры — необходимая принадлежность того мира, что интересует Мамлеева и открывается ему неожиданно обширным и разнообразным, — мира смерти и потустороннего существования («живая смерть» даже стала заглавной темой одного из сборников писателя). Правда, лишь один из мамлеевских вампиров изображен, так сказать, в натуральном виде — старик в «Изнанке Гогена».

Описание «трупной жизни», «тусклого самобытия» в «Изнанке Гогена» странно-убедительно, как если бы читатель получал свидетельство из первых рук. Восприятие героя частично парализовано, отключены эмоции, мысли «как-то формальны», лишь инстинкты расторможены и всевластны, оказываясь, по сути, единственной реальностью. Пожалуй, «потусторонние» ощущения персонажа слишком уж напоминают странное, характерное для определенного времени мировосприятие — известный портрет «постороннего», как бы оглушенного бессмысленностью жизни. Не является ли и рассказ Мамлеева свидетельством (косвенным, иносказательным) о современнике?

Нелишне поискать вампиров в романе «Московский гамбит» — о поколении, точнее, эпохе 70-х.

Несомненный кандидат на роль вампира в романе — таинственный Саша Трепетов. Саша — не человек (иногда у него отсутствует аура, душа). Богореализация (слияние с Абсолютом через реализацию Божественного «Я» — мечта индуистов романа) для Саши — пройденный этап, его не удовлетворивший. Но он и не от Дьявола, Князя мира сего («это совсем из другой оперы»). Саша — «метафизический путешественник» в поиске «истинно трансцендентного», его не пугает inferнальное и смертоносное: он все готов отдать за утоление страсти к познанию. «Метафизическая тоска» мамлеевского персонажа и влечение его к «абсолютно потустороннему», очевидно, роднят его с героями Достоевского, одержимыми страстью к «переступанию» мирового закона и нравственных норм. Но при этом мамлеевский образ «русских мальчиков» накрепко привязан к 70-м годам.

В романе, по сути, дана неожиданная и специфическая интерпретация людей этого времени. У Мамлеева они чувствуют себя отторгнутыми не только от культуры (захваченной «официозом»), но и от самой жизни, и от мировой гармонии: все это кажется утраченным, недоступным. И еще: оппозиционность мамлеевских героев андеграунда вынуждена, но вошла, так сказать, в плоть и кровь и распространяется на вселенские сферы. Именно отсюда этот странный интерес к смерти, презрение к опоганенному «земному шароу» (вплоть до желания взорвать его), вкус к теневой стороне потустороннего бытия, «страшному опыту» и т. п. Люди «подполья» адекватны чудовищному времени, поистине, «монстр контрастирует в сочинениях Мамлеева не с обыденностью, но с другим монстром» (И. П. Смирнов).

Критика уподобила эзотериков Мамлеева «мистикам» «серебряного века» и поспешила предъявить обвинение, воспользовавшись расхожей идеей о «серебря-



ной генеалогии наших нынешних катастроф» — о том, что модернизм, авангард — «корешки» «бесовщины революции» и тоталитаризма. Параллели с современной ситуацией действительно так и просятся: у Мамлеева, наследника начала века, вроде бы все те же приветственные гимны уничтожению мира и «ежедневные репетиции космических катаклизмов»... Однако, строго говоря, у мамлеевских мистиков совершенно отсутствует вкус к «жизнетворчеству», и их эксперименты касаются только их личной судьбы, присоединение — добровольно. Так что и расплата — единична. Собственно, Мамлеев и пишет о плате по счетам. В самом деле, судьба ставшего нечеловечком Саши располагает к выводу, что непротопанная, пролегающая вдали от жизни и культуры, такая соблазнительная тропинка опасна. В принципе можно рассматривать «Московский гамбит» как роман-покаяние, роман-предостережение.

Другое дело, что к прямым дорогам возвращения к духовной Традиции, указанным в эпиглозе, нет душевной склонности ни у героев, ни у самого Мамлеева, автор трактата «Судьба бытия» излагает планы метафизического путешествия через «щель» смерти в неизведанное с неостывшим жаром увлеченности. Итоги опыта предназначены для идущих по следу, для личности-экспериментатора возврата нет, он обречен на драму.

Правда, может облегчить свою участь. Пожалуй, только тут открывается возможность адекватно оценить роман.

Финал линии Саши загадочен, но проясняется, если вспомнить рассказ Мамлеева «Упырь-психопат», где страсть обещает разрешение конфликта в душе упыря-интеллекта: он насытится кровью, любимая же покинет этот мир для лучшего. Конечно, «спасение», обсуждаемое в рассказе, специфическое, не христианское: «беспокойному покойнику» (М. Орлов), так сказать, даруется покой. То же — в романе.

Мамлееву вообще, похоже, любовь видится в ее вампирической сущности. Любовь беспощадна, она без остатка поглощает личность и отнимает силы, даже если партнер не проявляет склонности к кровососанию; кажется, что «я» выпито каким-то странным, трансцендентным чудовищем». В «Упыре-психопате» и «Московском гамбите» — любопытный поворот: добровольная жертва любящей (в романе — не единичная: есть обмелка о неких существах, «богатых чьей-то кровью», и «им с нежностью снова и снова предлагается кровь»).

Мамлеевский сюжет напоминает цветаевскую поэму «Молодец». Но сравнение с персонажами поэтессы — не в пользу мамлеевских. Цветаевский «у...» по крайней мере благородные жесты совершал, отталкивал любимую, прежде чем унести с собой, его история — «история прклятого, ставшего человеком» (Цветаева). Его сородич из мамлеевской книги рассчитывает на женскую жертву и исподволь готовит возлюбленную к подвигу преданности — предательски! Ведь, по меткому заявлению Мамлеева, «бытие для другого есть бытие этого другого».

Удивительно все ж таки мамлеевское поколение. Оно к своим женщинам обращалось любовно-дружески «старик» (по свидетельству П. Вайля и А. Гениса), без поправок на специфику «слабой половины». И подруги (во всяком случае, если верить Мамлееву) в самом деле оказались равноправны во всем: на равных засиживались в «занырах», согревали душу «вином совместного общения» (впрочем, дублировали подъем к желаемому градусу и более простым и надежным способом — водочкой), с успехом соперничали в выносливости, обгоняли в саморазрушительных взлетах духа (порой сильно напоминавших падение) и т. д. Отказались от роли «якоря, которым человек удерживается при его человеческой природе» (С. Залыгин), «при традициях» — роли, которую торжественно провозглашали нынешние патриархи, литераторы-философы. Взгляду со стороны открывается легкий комизм в образах современных «комиссарш» наступления на потустороннее. Этакий легкий оттенок бесполости. На фоне же «серебряной» культуры еще забавнее мамлеевская Прекрасная Дама, «царевна бытия», вытаскивающая «заветное пивко из холодильника, чтобы опохмелиться» после очередной «мистерии обнаженных душ». «Уж не пародия ль она?» — к сожалению, не Мамлеев, а читатель задается этим вопросом...

У Мамлеева заданы направления, к которым располагает тема: ложность рассудочной картины мира, вкус к жизни и эпоха, спасительность духовной традиции и любви, новый тип слова... Авторы младшего поколения (но воспитанные теми же 70-ми) развивают тему на этих же путях. Вот только предпочитают описывать уже не самих упырей, но их жертв. Соответствует ракурсу и главный вопрос — не о «спасении»-упокоении, но о защите.

В «Лифте» Ю. Милославский, кажется, впервые использует мистический фольклор (и этнографические описания соответствующих ритуалов). «Лифт» — детектив, стремительно соскальзывающий в мистику, в быличку о «проклятом» сыне — «нетленном трупе». Догадка о реальности упырьства — дикая, невозможная с точки зрения рассудка, тем не менее действие губительных сил главный герой ощущает физиологически: нечто, связавшее его с родственниками найденного покойника, действует «по-пыточному разумно», то есть двинулся в нужном направлении, выполнил «порученное ему движение» — муки отпускают. Героем Милославского таким образом не просто страсть познания движет (как у Мамлеева) — судьба, неизбежность, «закрюченные ему в плоть обязанности», избежать которых он не может, как бы этого ни хотел, так как властно захвачен и подневолен.

Точно так же стиль Милославского захвачен темой, как ни пытается сопротивляться, и вот уже тема властвует в повести, проникнув в самые глубокие слои структуры — словесные. Язык «Лифта» упырски «промежуточен», он не живой разговорный, но и не тронутый смертью, уложенный в прокрустово ложе правил письменный. С одной стороны, витиеватые иносказания в описаниях неопишуемого, стержни и шарниры сложных конструкций, жесткая логика, синтаксис, зажатый в тиски языковых условностей и словно костенеющий, бескрасочность, сумеречность. С другой — шевеление жизни, подвижки смысла и слово в момент рождения, свободные ассоциации, «арготизмы, гнилые слова и абсентные обороты», «обшучивания» (хоть и призываемые обновившим стиль автором «почетно ускромниться»). Такая стилистика полностью забирает внимание читателя, так сказать, засасывает, не допуская пробежек по фразе: «Он манал всех одушевленных и неодушевленных, что пытаются уличить его в любопытстве, надеются склонить его на чистосердечные вопросы, ибо он отказывается платить столь дикую цену за всего-то сиюминутное облегчение своей участи. Не было меня там, нет и не будет».

Но чем объяснить эту покорность теме «опыряки» и само внимание к положению между жизнью и смертью, неустойчивому и сохраняемому лишь в ущерб чужей-либо чужой жизни?

На этот счет в повести есть и прямые, и косвенные пояснения. Есть замечание мимоходом, что состояние это более распространено, чем можно думать: «народ целый застрял», как в лифте («исполнилась мера, стало тама всё, и застрял: между этажами висят, а механика звать не хочет»). Но ясно, что Милославский рисует не социологическую аллегория чего-то вроде «застоя» либо «смерти цивилизации». Ему явно интереснее личностно-психологический ракурс. А в нем положение «застывшего» видится безнадежным, до ощущения обреченности.

Мистические объяснения событий (собственно линия «опыряки») у Милославского отличаются от мамлеевских: они не самоценны и не оголены — они допускаются рядом с естественными, сохраняя при этом оттенок невероятности. Но именно их присутствие углубляет образ, выходит к теме противостояния сил жизни и смерти.

Хотя эпиграф и отрицает в описанных событиях какую-либо закономерность («Причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную»), все же: кто в повести подвержен действию «неприязненных сил»? Какова психология подвластности «фуриозным стихиям»?

В упыри попадает человек распоясавшийся, потерявший управление. А в жертвы... Титаренко отчасти тоже свойственны взрывная бесконтрольность, ослепляющие приступы злости, тем более положение его, место под солнцем, располагает к вседозволенности: профессия следователя, человека из структур власти, наделенного неограниченными полномочиями, придает как бы «прирожденную уверенность в бессилии и мизерности всего встречаемого». Вместе с тем он странно слаб, душевно обессилен и беспомощен. Тут важны эпизоды как будто проходные (неспособность непринужденно перешучиваться и вольничать с официанткой и «подраченность» этим, иначе не задевали бы так напоминания, возня двух тварей, высвеченных фарами на дороге), второстепенные, но разрастающиеся в рефлексивном бесконечном повторении. Жизнь теряет краски, становясь серой и тусклой, утрачивается вкус к ней, растет брезгливая отстраненность от быта, так как учащаются «приступы омерзения», отвращения, вплоть до рвотного рефлекса, к разного рода непосредственным проявлениям биологической стороны жизни. Титаренко как бы отпал от некоего живоносного колодца, оттого уязвим («они вас как-то сами выскали, бо вы ж их почувствовали, от они и нашли») и в конечном счете беззащитен.

Из вариантов общения с темным началом жизни в повести описаны, собственно, два. Худший — компромиссный: проклясть дитя — и затем «кормить» чужой жизнью, «как цыщей», его и стоящие за ним, использующие его силы, выбирая, притягивая и удерживая посторонних людей, вопреки их желанию, а может быть, даже

и способности. Лучший вариант Милославский находит как будто на путях христианства. Именно об этом вроде бы говорят соответствующие детали — «изображение третьей ипостаси» в «церквице-конторе» или икона в доме дядьки Гулало: «ангелоподобная, с четырех сложенных крылах, фигура с головой в короне» на кресте в «черном небе со многими звездами» (на «иконе» безвестного художника сама душа Христова отделена от тела и пригвождена, утратила даже и ту малую свободу, какую имела), а рядом «образ Господа воинств», как бы удерживающего перстами в пространстве крест. Но «душа» Христова распятая» едва ли не напоминает о несвободе жертвы упыря, и очевидны явные акценты на эсхатологии, на ситуации суда.

У Милославского определенно нет повторения «архетипа» искупительной жертвы, напротив, в его варианте слишком много значит самосохранение. Сострадание и прощение и у Титаренко, и у тетки Наталки порождены их собственными страданиями и подогреты страхом перед смертью. Титаренко, изначально обладавший в повести «способностью каждодневного поступательного проникновения сквозь тварное», додумывается до «ненасильственной осторожности ко всему, что только ни попадается по дороге», лишь когда заболевает. И Наталья Калиникова Асташева поддается уговорам простить «проклятого» сына только после того, как помещена следователем в психиатрическую лечебницу. Учит не христианский образец, а физиология, муки. Кроме того, в контактах с мрачным и губительным сочувствие и терпимость оказываются, так сказать, выигрышнее ненависти.

Позиция автора повести — совмещенность ракурса с точкой зрения героя, борющегося за выживание, — по-человечески, конечно, предпочтительнее, чем роль, выбранная «метафизическим реалистом» Мамлеевым: «Аналог Божественного Ничто, некий вечный холод, трансцендентный по отношению ко всякой движущейся реальности». Не случайно у Мамлеева человеческий ужас перед результатами метафизического эксперимента и отвращение как-то необязательны, обговариваются мимоходом в эпилоге...

Смущает разве то, что у Милославского «сострадание» происходит не из расположения к ближнему, порой и вовсе зависит от случайного поворота настроения. Почему в психбольнице Титаренко кормит с ложки ослабевшую старуху? «Утратив последнее терпение», «в надежде поскорее избавиться от зрелища, не предназначенного для его истонченных душевных перепонок». Жест помощи вызван, похоже, неэстетичностью картины да еще нежеланием длить неприятные минуты. Любопытный образец проявления христианских чувств: они парадоксально эгоцентричны. В ином виде человеколюбие современнику, видимо, недоступно.

Но что означает тот факт, что будят человека в человеке не христианские представления? И сил для противостояния смерти они не придают... Собственно, о спасительности ли христианства идет речь в повести? Скорее о том, что в ситуации, когда смертоносные, центробежные начала усилились, а центростремительные (жизненная сила, воля к жизни) неощутимы и слабы, все же только они могут восстановить движение по человеческой орбите.

Но нет ли более надежного и мощного, чем «эго», источника сил, способных противиться смерти? Все карточные масти есть в повести: прутья с перечинами в ограде психбольницы — как бы «знаки треновой масти», «пиковая дама» «горбоносого баритона в парике и эполетах» («Старая ведьма! Так я ж заставлю тебя отвечать...»), ромб на иконе... Не спасительна ли отсутствующая червонная?

Впервые читатели Садур столкнулись с упырями в «Панночке» — переложении гоголевского «Вия». В этой пьесе (да и вообще у Садур) поэтика изначально ориентирована на изображение потусторонних сил и наилучшим образом к этому приспособлена.

Для внимательного читателя в «Панночке» много неожиданностей, например, та, что бурсак и панночка-вампир соединены не просто внешними событиями, бесовской шалостью и самообороной человека, мезью нечисти и подневольным согласием читать над покойницей — они связаны влечением телесным, жарким дыханием той пылающей бездны, что у Садур всегда служит знаком страсти.

У Милославского страсть в связи с действиями «опыряки» не обсуждается. У Мамлеева она единственно успокаивает «беспокойного покойника», и как раз в этом видит свое назначение герой «Панночки»: «...где-то в наш божий мир пробило черную дыру, из которой хлещет сюда мрак гнойный и мерзость смердящая», и нужно же кого-то «кинуть во мрак разъяренный», чтобы «заткнуть проклятую бесовскую рану», «чтоб пожрал и поутих до другого разу тот мрак, напившись теплой человеческой крови...». Однако это всего лишь иллюзии, так как, по Садур, страсть

жестока, она от тьмы и служит ей, не утишает, но скорее распалает жар «дивного пекла», о котором молится панночка, «чтоб не остыло бы оно никогда во веки веков, чтоб дымило оно костями и плотью нашими и полнил бы мрак великий и вставал бы над светлым миром смердящею завесою...» В большинстве случаев как раз страсти и отдают человека во власть «потусторонних» стихий.

Можно предположить, что иначе действует просто Любовь («бесстрастная», так сказать), однако существует ли она? Садур, похоже, не знает случаев любви между живыми людьми, которая не сопровождалась бы страстными оттенками — подозрениями, готовностью к насилию. Ненавистью, коварством...

Ситуация «Панночки» (разверзлась щель в бездну, кровососущая нечисть обессиливает живых) для Садур — не в прошлом, она повторяется в повести «Юг». (И вновь щель! Любопытное подтверждение открытия одного современного автора, заявившего, что весь секрет русской жизни и русского человека — в наличии щели. Дыры, пробоины. Нет целостности, завершенности формы.)

Отказ от фольклорных образов — трудный шаг. Для мистической прозы фольклор — нечто большее, чем просто условность, он признается как непосредственное видение иной реальности (у Мамлеева), облегчает мистические проекции, удобен как наглядная модель сути происходящего, логики событий (в «Лифте» Милославского, в «Панночке»). Однако картинная живописность и однозначность образов фольклора, пожалуй, разрушают ощущение тайны — едва ли не главное в мистике. В «Юге» Садур пробует во многом иную по сравнению с «Панночкой» манеру. Фольклорные традиции, облегчающие восприятие мистики, оставлены. Отсюда — головокружительное ощущение стояния на краю пропасти: трудно удержаться, уцепиться не за что.

В «Юге» Садур фактически открывает некую новую и достаточно опасную болезнь: загадочное иссякание сил жизни и растущую власть смерти над человеком.

Что побуждает героиню Садур совершать странные действия, неприятные для других, часто попросту неприличные? Что заставляет «говорить людям смертельное», заманивать в постель дебильного мальчика или, разговаривая со старичком следователем, схватить его за нос? Как ни парадоксально, Оля, с ее дикими выходками, не относится к поголовью хулиганов и хамов, более того, она ничего не имеет общего с нормальными «громкими людьми»: лишена чего-то главного, чем они обладают, боится людей, и, как ни пытаются «подражать» им, имитировать их действия, — безрезультатно. Она другая, чем люди, почти мутант, она какой-то новой породы.

Но что причина странных состояний героини — этой пустоты, этого бессилия? «Воспаленная плоть»? Скука? Корысть, жестокость и грубость людская? Острая чувствительность к тому и к тем, что и кто мертвит жизнь (Чернобыль, этот страшный, смертельный сдвиг в отношениях с природой или тайные, кафкианские, с абсурдным уклоном, непреодолимые силы, готовые обвинить и наказать все живое)? Столкновение с ужасом смерти (воспоминание о сдохшей собаке)? Утрата сдерживающих, укрепляющих и напоминающих о смысле начал, Бога? Не случайно все мотивировки являются параллельно ходу повествования, автор не ведет к ним (отчего и складывается ощущение беспричинности поведения героини). То есть для Садур все это скорее жизненный фон, чем разгадка событий и характера в реалистическом ключе. Все может быть причиной, жизнь так исказилась, что стала отвратительна и смертоносна.

Садур предпочитает выводить читателя не только за плоскость простых соображений, но даже и за границы «объема» соображений совокупных: возможна и сугубо мистическая разгадка событий. И вот пример тому. Люди, с которыми Оля общается, странно меняются: «Бледненький, странно ведь — южный ребенок, а бледненький, зеленоватый какой-то». Может быть, начало простуды, а может, то, что обессиливает Олю, через нее «тянет в себя огромную энергию» и из окружающих: «Все жухнет от твоих пытливых касаний». Это и есть та подлинная мистика, о которой Вл. Соловьев в свое время писал, что она избегает обнаженно фантастического, не стремится «вызывать принудительной веры в мистический смысл жизненных происшествий» — только намекает на него, допускает «простое объяснение», так что лишь связь явлений указывает на «тот загадочный или таинственный смысл, какого они в *отдельности* не имеют». В результате в «мистической прозе» образ — по-настоящему поэтический, вероятностный.

Реалистическая проза располагает к причинным объяснениям, «мистическая» же скорее подчеркивает сложность, даже непостижимость мира, в ней не человек властвует над обстоятельствами — напротив, они могут вызвать катастрофи-

ческие трансформации его жизни, например, в безумие, существование скорее растительное, животное, чем человеческое. И простые рецепты тут невозможны.

«Юг», судя по критике, производит впечатление христианско-дидактического произведения («религиозный парафраз тем и приемов той же Петрушевской»). Понятно, почему такие суждения возникают. Когда безумную девушку, съевшую виноград, бьют и требуют ответа: «Гдэ он? Гавары!» — и затем в растерянно мечущейся душе проблеск мысли «он потерялся» повторяется вновь и вновь вне связи с начальной ситуацией, когда «поток» распадающегося сознания сменяется наконец классически спокойным и ясным описанием паломничества двух верующих старух в Новый Афон, когда к девушке возвращается рассудок и она соглашается с новым, полученным от старух именем Мария, — как будто напрашивается объяснение ее беды утратой веры. Финал же — возвращение голоса и смысла — воспринимается как итог действия веры. (Вот и «Панночка» заканчивалась сиянием Лика Младенца во тьме оскверненной, изгаженной церкви.)

Однако если учитывать сквозные мотивы и темы писательницы, повесть выглядит несколько иначе. Вполне в духе Садур подробность: Оля-Мария заново обретает человеческий облик тогда, когда умирает старая Тоня, утомившаяся, не верящая более, что дойдет. Тепло жизни и сила души как бы заранее ограничены, и дар этот может быть получен человеком лишь за счет кого-либо другого. (Между тем, будь проза Садур «религиозной», она декларировала бы безмерность жизненной энергии в случае приобщения к вере.)

Любопытно, что у Садур энергия веры, покаяния и сострадания может оказаться и недоброй, разрушающей. В одном из рассказов писательницы есть крест и Христос (хоть и сделанный из папье-маше — театральный реквизит), и девушка раскаивается в презрении к ближнему, начинает понимать, что любой человек достоин внимания и сочувствия, — однако раскаивание вдруг оборачивается чем-то губительным: «свет», «волна теплого-теплого воздуха» обдают, обтекают, раскаляют комнату, и невозможно шевельнуться, иначе зной обожжет.

Пожалуй, все-таки вера Садур — ее личное, частное дело, проза ее — о другом: о жестокости природных и сверхъестественных начал по отношению к человеку, точнее, об опасности для него этих иррациональных «горящих рядов», так как их непостижимый строй на человека не ориентирован.

Впрочем, что касается исцеления героини «Юга», речь все-таки не только о случайности. Пожалуй, и о том, что случаю помогает: о силе внимания, заботы, ответственности. И — о магической силе слова, имени, которое способно перестроить программу поведения.

Как подытоживается многолетнее кружение вокруг смерти в «мистической прозе» — у непостижимой Садур, ледяного Мамлеева, сильнодействующего Милославского? Что может она противопоставить отнимающим жизненную энергию силам или влечениям? Непосредственная жизнерадостность, избыток сил и даже просто воля к жизни ныне, увы, в большом дефиците. Так что же спасет? Нелепосмешной (впрочем, иногда и небезопасный) ритуал (у Милославского, у Садур в «Панночке», «Шелковистых волосах», «Миленьком, рыженьком», «Злых девушках» и др.)? Для трезвого современника он забавен — не более того. Христианство? Разве весьма специфическое. Любовь? Скандально известная банальность «любовь побеждает смерть» плохо работает: разоблаченная страсть оказывается тайным диверсантом смерти. Простое же сочувствие, жалость и ответственность, в общем-то, мало надежны, они живы лишь импульсом, порывом, а как решение и принцип мертвы.

Остается — слово. Но и тут есть свои сложности.

Защитив свою автономность и самоцельность, слово в какой-то момент перестало быть полезным жизни, «питательным» — и само стало питаться жизнью. Догадки об этом у писателей XX века все более крепнут. Блокковский «сочинитель», называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка», отступает рядом с последующими — и более последовательными. Набоковские герои уверены в том, что образ, забравший у жизни краски, стал совершеннее ее — и предпочтительнее, заменяет жизнь. Вагиновский Свистонов осознанно опустошает мир, «переводя» человека «в литературу», за него проживая его жизнь. И эта способность образа румяниться, напитавшись человеческой кровью и оставляя обезжизненные скучные трупы, — эта установка лучших литераторов XX века проецируется нашим веком на всю литературу. И вот уже Пушкин выглядит «вурдалаком»: в его сверхвосприимчивости видится «что-то вампирическое» (А. Терц), и кажется мистически много-

значительным тот факт, что у поэта труп динамизирует текст и жизнь расцветает «у гробового входа»...

Конечно, доля истины в таком восприятии литературы есть. Но можно ведь не только прекрасные мгновения изымать из теплой жизни в ледяную вечность — можно ту же операцию проделать с силами смерти. Об этом чудесно писал А. Белый: «Стремясь назвать все, что входит в поле моего зрения, я, в сущности, защищаюсь от враждебного, мне не понятного мира, напирającego на меня со всех сторон; звуком слова я укрощаю эти стихии; процесс наименования пространственных и временных явлений словами есть процесс заклинания...» Смерть можно зафиксировать словом, пришить к бумаге, как бабочек булавкой (это есть и у Набокова, считает А. Битов). Называя, проткнуть вурдалака осиновым колом. Дать имя, точный диагноз «болезни» — значит отойти на некоторую дистанцию, понять, уمرتвить. Такое слово требует особой взвешенности. Убийственной точности.

Однако перед тем, как справиться с вампиром, приходится «допустить» его жизнь, и это требует от слова особенных качеств. «Сказать» — значит «позволить чему-то явиться и явствовать — позволить, однако, способом намека» (М. Хайдеггер). Точное имя убивает — слово-намека дает жизнь. Храня при этом тайну бытия.

Мистический образ, видимо, всегда строится на скрещении этих разнонаправленных тенденций: дающий жизнь намек — и защита, убийственное наименование. Это хорошо чувствовала Цветаева, ее «Молодец» строится на «расколдовывающих», оживляющих сказочные фигуры намеках, обыгрывается и роль прямого названия (назвать — спастись, только вот Маруся, любя молодца, вовсе не хочет его терять). (Точно так же Мамлеев открыто не называет упырем своего героя.)

Пожалуй, «мистическая проза» не только не вырождается — она еще не сказала своего слова.

Постмодернистское слово, освободившись от забот о реальности (и самого внимания к ней), облегло до невесомости, ему дозволили быть бледным, теневым (разве не к этому ведут общеизвестные декларации: интертекстуальность, «смерть автора», одноразовое использование произведения? Оно было криком, проповедью и лозунгом, а стало — лишь трамплином, отбрасывающим в Текст, в удовольствие слышать «гул языков»). Слово же в «мистической прозе» не уходит в «залетейское» пространство теней и гулов. При этом оно отнюдь не утилитарно...

В мистической прозе слово вновь совершает работу во имя жизни — и меняется в этом процессе. Оно обнаруживает в себе магические свойства. (И даже если в этом случае сотворение своего, защищенного мира — иллюзия, а точнее сказать — миф, он действует как лучший щит...) «Жизнестроительно» не высказывание, не учение или призыв и не конструктивный метод обработки материала, а само слово. Именно с культом слова, «противодействием смерти в культе слова» А. Белый связывал выход из упадка культуры.



## Неизбежность театра

Канцлер П. П. Шафиров сказал о Петре следующее: «Сочинил из России самую метаморфозис, или претворение» («Рассуждение о причинах Свейской войны», 1717). Почти двести лет спустя, будто поймав неизвестного ему Шафирова на двусмысленном глаголе «сочинил», Освальд Шпенглер отпарировал: «Одно только слово «Европа» с возникшим под его влиянием комплексом представлений связало в нашем историческом сознании Россию с Западом в некое ничем не оправданное единство. Здесь, в культуре воспитанных на книгах читателей, голая абстракция привела к чудовищным последствиям. Олицетворенные в Петре Великом, они на целые столетия извратили историческую тенденцию примитивной народной массы...» («Закат Европы», т. 1.). Во втором томе своего удивительного труда Шпенглер вводит понятие «псевдоморфоза» — явную антитезу шафировскому «метаморфозис» — и подкрепляет им свои исторические (или эстетические?) претензии к сыну Алексея Михайловича Романова; вот образчик этого блестящего и неубедительного рассуждения: «Так возникают поддельные формы, кристаллы, внутренняя структура которых противоречит их внешнему строению, один вид минерала с внешними чертами другого. Минерологи именуют это псевдоморфозой». Здесь будет уместно слово «имитация», тем более что Шпенглер сделал (как сказал бы Шафиров, «сочинил») «имитацию» основой нелепого им, поверхностного, необходимого «украшения» в противовес органическому «орнаменту». Получается, что Петр Великий «сочинил», «имитировал», «придумал», «украсил» Россию Петербургом, короткими кафтанам, газетами, флотом, табаком, театром, Сенатом, промышленностью, Академией, выходом в Балтийское море и т. д. Прорубил стрельчатое окно в курной избе.

Если так, то Петр — настоящий художник. Его имитация не была скучным второсортным подражательством. Его

имитация сродни аристотелю «мимесису», он не создавал в Чухломе Голландию X века, он разыгрывал на русских подмостках некий европейский театр, в париках и шпагах, имитацию возможного, вернее, того, что сам Петр считал возможным. Западничество Петра было не ретроспективным, а перспективным. «Говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости», — замечает в «Поэтике» Аристотель.

Так из гипотетической беседы российского бюрократа, немецкого эстета и воспитателя македонского наследника возникает тема петровской и постпетровской российской истории как спектакля в европейском духе, или шире — как театра. «В истории театра со времен Аристотеля вплоть до наших дней требование имитации все время возобновляется» (Патрис Пави). Поменяем кое-какие слова в этой формуле и получим искомое: «В истории России со времен Петра вплоть до наших дней требование имитации все время возобновляется». Можно поклясться в этом, положив руку на том переписки Екатерины с Вольтером. Если не найдете книги, дойдите, доедьте, долетите до Петербурга, до Исаакиевской площади, до самого Исаакиевского собора (не можете, купите открытку!): «На что похож Исаакиевский собор? На собор Св. Павла. Он не из первой, а из второй пары; он — порождение полуреформации православия, начатой Петром» (Алексей Пурин. «Большая Морская»).

Вернемся, однако, к западническим реформам в России. Именно тишайший Алексей Михайлович робко, трепетно, деликатно подступался к ним: корабль «Орел» приказал построить, «полки иноземного строя» завел. Он же пытался и театр завести. «При дворе и высшем кругу развивается страсть к «комедийным действиям» — театральным зрелищам... Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральные зрелища, приводя в оправдания

примеры византийских императоров», — сообщает Ключевский, а солидный двуглавый Брокгауз-Ефрон резюмирует: «В России театр на первых порах представлял собою явление, занесенное иностранцами. Начало его связано с именами царя Алексея Михайловича и боярина Матвеева. Театральное дело, заглохшее с кончиною Алексея Михайловича, было возобновлено Петром. Прежде всего он обратил театр из придворного в народный, для всех "охотных смотрельщиков"». И как точно сказано, и не только о театре! Последний раз позволил себе воспользоваться вороватым приемом подстановки: «Реформы, заглохшие с кончиною Алексея Михайловича, были возобновлены Петром». Да, и не упустить самого главного — «охотными смотрельщиками» своей революции Петр сделал весь народ, а многих и «охотными (и «неохотными») делальщиками».

Каков же был российский театр глазами «охотных смотрельщиков»? Охотили бы его смотреть? Вот что пишет весьма охочий до театра зритель первой трети XX века:

Театр уж полон; ложи блещут;  
Партер и кресла — все кипит;  
В райке нетерпеливо плещут,  
И, взвизвись, занавес шумит.

О да, перед нами апофеоз театра, Театра с большой буквы! «Волшебный край!» — восклицает Пушкин и уточняет, кем это волшебство создается: «переимчивый Княжнин», Катенин, который «воскресил Корнеля гений величавый». Мотив театра — мотив переимчивости, мотив имитации, недаром цитированное перечисление завершается французом Дидло. Пушкинский Дидло, Дидро Екатерины — какая разница! Все француз, все немец. Однако и в этом торжестве имитации уже дребезжат раздраженные нотки, и не только у мизантропичного тусовщика Онегина — его мизантропия патентованная, — но у самого автора:

Узрю ли русской Терпсихоры  
Душой исполненный полет?

И вот Онегин легко сбегает вниз по лестнице, вон из театра (в правой руке — цилиндр, в левой, на отлете — трость, трепещут фалды фрака); вместе с ним вниз по социальной, сословной лестнице сбегает (или скатывается по перилам?) Пушкин; что он видит?

И кучера, вокруг огней,  
Бранят господ и бьют в ладони...

Это они — «неохотные смотрельщики и делальщики», они есть, и бранью своей, и равнодушием подтачивают пере-

имчивое здание ампирического имперского театра, сей визионерской мутации «Гранд-Опера» и «Комеди Франсез».

Тридцать с лишним лет спустя находится в России неохотный смотрельщик, который ретроспективно пытается потолкаться среди пушкинских кучеров, прикинуться своим среди них, отдать им свой заячий тулупчик, позаимствовать овчинный и, сохраняя голубую кровь и белые руки (иначе внутрь не пустят), глянуть кучерским глазом на волшебный край пушкинских богинь: «На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашенные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был прикреплен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками». Вот что увидел материализовавшийся в Наташу Ростову онегинский кучер. Вернее, граф Толстой, прикинувшийся кучером, прикинувшимся Наташей Ростовою. Шкловский, обманувшийся этой травестией в кубе, построил на бесконечных «досках», «картонах», «толстых девицах» и «панталонах на толстых ногах» целую теорию «остранения» (кстати, в оперу скорее завалились плотник с портным и видят одни доски, доски, картоны, красные корсажи, белые юбки, шелковые белые платья, шелковые панталоны и проч.). Обманулся и Шпенглер, приняв графа за кучера: «Русский инстинкт; с враждебностью, воплощенной в Толстом, Аксакове, ... очень верно и глубоко отмежевывает "Европу" от "Матушки России"»\*.

Проходит еще пятьдесят лет. Представление продолжается. Имитация становится все тоньше, изысканнее — в России появляются свои «проклятые поэты», свой суд присяжных, свои кантианцы и ницшеанцы, свои политические партии. Наконец — своя революция. Но самые чуткие зрители (и участники!) этого спек-

\* Прочитываем в примечании примечание русского переводчика Шпенглера — К. А. Свасьина — к цитированной фразе: «Этот образец псевдоморфоза — чисто западная мысль, своеобразно имитирующая судьбу Поликратава перстня: она попала к Аксакову с Запада, от Жозефа де Местра, и вернулась через Аксакова на Запад, к Шпенглеру...» Вот и Толстой рассаживал авокадо руссоизма среди русских березок.



такля начинают испытывать усталость, тревогу, ощущение надвигающейся исчерпанности. Лучший русский театр — дягилевский — отъезжает в Париж и становится объектом уже западной имитации. Алексей Суворин пишет в «Дневнике» (1897 г.): «Мне хоть на пальцах гадать — брать театр или не брать. Если брать, наверное, еще тысяч 30 надо, но эта суета мне любезна и приятна. В театральной атмосфере что-то ядовитое, как в алкоголе или никотине». Действительно, алкоголь и никотин — яд, но яд «любезный и приятный». Он позволяет приятно проводить время, но сокращает жизнь. А жить остается совсем мало — Суворину десять лет, петровской империи — двадцать. Именно о грядущем конце петровской империи, петровского театра Осип Манделштам написал в 1913 г. следующее стихотворение:

Летают Валкирии, поют смычки,  
Громоздкая опера к концу идет.  
С тяжелыми шубами гайдуки  
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,  
Еще рукоплещет в райке глупец,  
Извозчики пляшут вокруг костров...  
«Карету такого-то!» — Разъезд. Конец.

Что это? Не иначе, как минорное переложение роскошественной темы двадцать второй строфы главы первой «Евгения Онегина». Точнее, не минорное, а трагическое, даже апокалиптическое. У Пушкина «еще амурсы, черти, змеи / На сцене скачут и шумят»; у Манделштама «Летают Валкирии, поют смычки, / Громоздкая опера к концу идет». Легкомысленные амурсы, черти, змеи и brutальные Валкирии; аполлонические Моцарт, Доницетти и дионисийский (ушами Ницше) тяжеловесный, полный смутных предчувствий Вагнер. «Волшебная флейта» и «Гибель богов». Сам размер, такой распашной у Пушкина, приобретает какую-то отрывистую монотонность (если бывает «отрывистая монотонность», то вот она) у Манделштама. Манделштамовский занавес готов упасть «наглухо» (т. е. «навсегда»); его театралов «ждут» (а не «спят», как у Пушкина. Зачем ждут?) сербохорватские «гайдуки» вместо французистых лакеев; пушкинские зрители так по-человечески «сморкаются, кашляют, шикают, хлопают», у Манделштама же соло на ладони в исполнении одного «глупца». Его извозчики не добродушно побранивают господ, а исполняют какой-то странный, жуткий танец у костров (впрочем, к извозничьим пляскам мы еще вернемся). И вот занавес падает «наглухо». Разъезд. Конец.

Через пять лет, когда занавес действительно упал и представление завершилось, тему неизвестного ему стихотворения Манделштама завершил Василий Розанов: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русскою Историю железный занавес.

— Представление окончилось.

Публика встала.

— Пора одевать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Из розановского отрывка явствует, что Русская История не представлялась только на сцене. Сама сцена, сам театр, сами зрители, извозчики, лакеи, гайдуки, шубы и даже дома были составной частью спектакля русской истории послепетровского периода. Пьеса кончилась, и все растворилось в воздухе, только, пожалуй, гайдуки не растворились, а растащили барские шубы по родным деревням. Намечался новый театр.

«Извозчики пляшут вокруг костров», — вот начало нового театра, нового представления взамен предыдущего. Валкирии еще летают, извозчики уже пляшут. Именно эти извозничьи пляски принял Блок (и прочие «разумные» ваньки) за пляски половецкие, за скифские хорожды, за весну священную, за «русской Терпсихоры / Душой исполненный полет». Нацепив бутафорские ницшевские усы, натрахавшись до интересной бледности лица в разного рода ивановских башнях, экс-символисты стали гугниво гнущить о грядущих гуннах и намекать новым большевистским властям, что дионисийские обряды, лежавшие в основе театральных представлений, были в античности неотъемлемой частью **государственных** праздников. Аполлонический государственный театр, удачно сымитированный Петром, предполагалось заменить на дионисийский, «левый». Виляя накрашенными хвостиками, на свист сбежались футуристы. Вынырнул гениально-переимчивый Протей Мейерхольд. Метания бесприданниц стали неактуальными, ибо без приданого оказалась вся страна. Замуж Россию никто не брал, пропозиции можно было ждать лишь от революционного Китая, и вот Сергей Третьяков сочиняет, а Мейерхольд ставит пьесу «Рычи, Китай!». Театрально-государственная деятельность бурлит: один нарком, отягощенный эспаньолкой и пенсне, пишет исторические драмы. Другой, густо шевелюрный, но тоже в пенсне, сам актерствует на митингах, подражая актеру, играющему Дантона. Только вот Чацкий эмигрировал, Скалозуба в Крыму расстреляли, да Софья пошла в совбарышни. А так — ни-

чего. Взвилась, вроде бы взвилась «душой исполненным полетом» русская Терпсихора; грянул страшный русский ренессанс. Но.

Но явился Сталин. Сталин был тем самым гайдуком, утачившим барскую шубу с раставшего петровского театрального разъезда. Надев эту шубу, он стал изображать великого императора. Стал одевать взбунтовавшуюся, скинувшую одежду Россию в ложноклассические театры, дворцы культуры, юбилей Пушкина, станции метро, книги о вкусной и здоровой пище, вассальные провинции.. Станиславский победил Мейерхольда, иными словами, Сталин победил Трощко. Родился театр в квадрате, театр в кубе, Театр-Театр, или Театр-Театр-Театр. Выразителями сей виктории стали вальжные «крепостные мхатовские джентльмены» и актрисы — сановные содержанки. Это была имитация дореволюционной державности, дореволюционного театра, но ведь и сами они, в свою очередь, были имитацией, так что сталинскую эпоху можно счесть платоновским «симулякром», копией копии копии; копией, не имеющей отношения к оригиналу (действительно, что здесь оригинал?); самооценным образом.

Подданные сталинской империи — это узники в Платоновой пещере. Они сидят, закованные, спиной к свету, к свету Запада, к свету петербургского периода русской истории. На стене перед ними разыгрывается театр теней Станиславского: дикое чудище расположилось у светового оконца и пальцами, поросшими курчавыми волосами, отбрасывает на стену обакенбарденного (обенкдорфенного? см. фильм «Поэт и царь») Пушкина. Затаив дыхание, узники смотрят благородный фрачно-брючный спектакль. А потом людоед их съест.

(В связи с такого рода платоновской спекуляцией нелишне вспомнить нелюбовь самого Платона к изящным искусствам, в том числе к театру. Художник, по Платону, почти святотатец, копирующий то, чего сам не понимает. В третьей и десятой книгах его «Республики» философ определяет мимесис как копию копии, то есть недоступной для художника идеи. Впрочем, Пушкин для нашего людоеда тоже недоступен. Людоед поэта симулирует. «Симуляция — это сам фантазм, то есть эффект работы симулякра как машины, дионисийской машины», — пишет Жиль Делез («Платон и симулякр»). Вот мы с вами и вернулись к театру, ибо «Словарь античности» dixit: «В основе театральных представлений лежали культовые обряды, совершавшиеся во время праздников в честь бога Диониса».)

И станиславско-сталинский театр нашел своего певца.

У Бориса Пастернака есть странное стихотворение — «Вакханалия». Уже его название намекает на некие античные оргиастические обряды и весьма косвенно (почему бы и нет?) на Дионисовы оргии. Внимательный читатель догадывается, что речь пойдет о театре. И действительно, стихотворение — о театре. Вернее, о Театре. «Мне хотелось, как всегда, сказать это все сразу в одном стихотворении», — писал о «Вакханалии» Пастернак. И сказал. Приметы сталинского Театра-Театра воссозданы точно и с воодушевлением. Вот, например, картинка из микояновской «Книги о вкусной и здоровой пище»:

По соседству в столовой  
Зелень, горы икры,  
В сервировке лиловой  
Семга, сельди, сыры.

И хрустенье салфеток,  
И приправ острота,  
И вино всех расцветок,  
И всех водок сорта\*.

Или сам театральный подъезд, умение изъятый (с коррекцией технических деталей) у Пушкина и Мандельштама; с одной лишь разницей: у Пушкина спектакль в полном разгаре, у Мандельштама — вот-вот закончится (и заканчивается!); у Пастернака (кажется) — все впереди:

«Зимы», «зимы» и «татры»,  
Сдвинув полосы фар,  
Подъезжают к театру  
И сплетят тротуар.

Затерявшись в метели,  
Перекупщики мест  
Осаждают без цели  
Театральный подъезд.

Все идут вереницей,  
Как сквозь строй алебард,  
Торопясь протесниться  
На «Марию Стюарт».

Молодежь по записк  
Добывает билет  
И великой артистке  
Шлет горячий привет.

Невыразимо пошлая роскошь обстановки советских театров (позолота, бархат, буфеты с коньяком, благородные подавальщицы биноклей, суровые администраторы с непрременной орденской планкой на сером пиджаке, запах дешевой пу-

\* Этот скупой размашистый размер несколько пародийно представлен у Бродского:

Ни страны, ни погоста  
не хочу выбирать.  
На Васильевский остров  
я приду умирать.

дры и духов «Красная Москва», фонтанчики для питья в мраморных туалетах — всего не перечесать) и невыносимо роскошная пошлость самих постановок (с хорошо отрепетированной задушевностью) нашли полное свое воплощение в молодежи (бодрой! бодрой!), добывающей билет у того самого сурового администратора и материализующейся в виде бравого, непременно воздухоплавательного или морского, капитана в районе уборной той самой великой артистки: в руках (потных от счастья и волнения) буйный букет, в букете — записка, в записке — горячий привет.

Примеров множество — чего стоит нелепая история о некоем сердцеееде и «разведенце» (в главной роли Марк Бернес), который (как дотошно подсчитал автор) выпил шестнадцать рюмок коньяка, и «ни в одном он глазу» (более того, известно, что герой «...для первой же юбки / Он порвет повода / И какие поступки / Совершит он тогда!»). Дело даже не в побочных сюжетных линиях, например, о старушках в есенинских шушунах, молящихся в церкви. Пастернак не был бы гениальным поэтом, если бы буквально не унюхал (со всей своей страстью к органике), что весь этот по-своему уютный советский имперский театр, эти государственные Дионисовы оргии, эта вакханалия — просто пшик, эфемерное и недолговечное сгущение пустоты, принявшее формы столов, бутылок, закусок, артисток, разведенцев, матч, антенн, экскаваторов. Как и в мандельштамовском стихотворении, в «Вакханалии» спектакль заканчивается не менее жутко:

Прошло ночное торжество.  
Забыты шутки и проделки.  
На кухне вымыты тарелки.  
Никто не помнит ничего.

Именно последняя фраза своей могильной однозначностью, словно тряпка со школьной доски, стирает все, сказанное перед ней. Никто не помнит ничего.

Спустя тридцать четыре года после написания «Вакханалии» кончился еще один спектакль русской истории; растаял в воздухе еще один театр. Новые режиссеры ставят пьесы; новые — значит, будут новые райки, новые переимчивые

Княжныны, новые лорнеты, новые кулисы, новые гайдуки и новые шубы. И все это — из воздуха. Помните? «Здесь, в культуре воспитанных на книгах читателей, голая абстракция...»

Россия — это человек между двумя стоящими друг против друга зеркалами. Одно зеркало — будущее; другое — прошлое. Оптический эффект делает и прошлое, и будущее бесконечным. Человек надевает длиннополый кафтан и приклеивает окладистую бороду. В одном зеркале он видит бесконечных бояр, в другом — бесконечных Солженицыных. Через некоторое время человек примеряет фрак: сзади — Пушкины, впереди — Гайдары. Человек лицедействует. Он имитирует историю.

Или наоборот. Два световых луча — с Запада и с Востока — создают при перекрещивании голографическое изображение. Это — огромное изображение. Это — Россия. Но ткни его пальцем — почувствуешь, что рука твоя продырявила пустоту.

Кажется, и последняя моя метафора не совсем чиста. Борхес, страстный и кристально ясный Борхес (как сам аргентинец величал Шопенгауэра), пишет в одном из своих классических рассказов следующее: «Два человека ищут карандаш; первый находит и ничего не говорит; второй находит другой карандаш, не менее реальный, но более соответствующий его ожиданиям. Эти вторичные предметы называются «хрёнир», и они, хотя несколько менее изящны, зато более удобны... Любопытный факт: в «хрёнирах» второй и третьей степени — то есть «хрёнирах», производных от другого «хрёна», и «хрёнирах», производных от «хрёна» «хрёна», — отмечается усиление искажений исходного «хрёна»; «хрёниры» пятой степени почти подобны ему; «хрёниры» девятой степени можно спутать со второй; а в «хрёнирах» одиннадцатой степени наблюдается чистота линий, которой нет у оригиналов. Процесс тут периодический: в «хрёне» двенадцатой степени уже начинается ухудшение. Более удивителен и чист по форме, чем любой «хрён», иногда бывает «ур» — предмет, произведенный внушением, объект, извлеченный из небытия надеждой».

Вот-вот — надеждой.

Вячеслав КУРИЦЫН

---

## Н О В Ы Е П Е С Н И О Г Л А В Н О М

**П**режде чем на выборах победили коммунисты, на книжные развалы вернулись Анатолий Иванов и Петр Проскурин, вполне успешно конкурируя с Кингом, Крайтоном и Кунцем.

Прежде чем коммунисты победили на выборах, дети вновь зачитались Адамовым — свежепереизданными «Тайной двух океанов» и «Изгнанием владыки», где на единицу романтических приключений два восторга коммунистическим будущим.

Прежде чем они это сделали, на экран телевизора вернулась программа «Время». Ее не переименовывали, а лишь обозначили по роду и жанру: «Новости» — они и есть новости, а не новое имя собственное. С новым именем не спешили, оставляя державному слову «Время» (идея коммунизма — победа над временем), с которым могло соперничать единственно слово «Правда», шанс вернуться. Оно вернулось; конечно, возрождавшие его не имели в виду ни малейшей, а уж тем паче коммунистической, идеологии: они справедливо рассудили, что самому массовому зрителю будет приятно встретиться с прекрасно знакомым знаком. Поэт Пригов рассказал в интервью про свою бабушку, для которой величайшим потрясением было обнаружить в булочной после ремонта, что касса, четверть века стоявшая справа, переехала налево. Массовый зритель хочет, чтобы вещи и знаки оставались на своих местах. Люди, собственно, хотят не коммунизма, а просто традиции как таковой.

Но традиция не способна существовать «как таковая». Она непременно хочет наполниться каким-нибудь «содержанием». И нет ничего удивительного, что она хранит «память жанра», что она притягивает то содержание, которое в ней уже когда-то жило. Грубо говоря, программе «Время» логично тянуться к имперскому стилю. Речь, разумеется, не о первом канале и не о телевидении вообще; просто первый канал имеет очень репрезентативную публику — ту, что решает вопрос стиля практически: путем кормления избирательной урны аккуратно сложенными листочками.

Предположим, что идеологически и теоретически этот вопрос решает аудитория НТВ, канала, рассчитанного на средний и выше среднего классы. Но в новогоднюю ночь оба ведущих канала работали в одну дуду: и на ОРТ, и на НТВ пели советские песни (довольно рискованное со стороны демократических умов в свете декабрьских выборов и по поверью, согласно которому проводишь год так, как встречаешь, мероприятие). Пели по-разному: ОРТ показало фильм с сюжетом (довольно вялый), НТВ устроило достаточно энергичное шоу с куклами-муклами и с борьбой Д. Мороза и С. Клауса за сердце Снегурочки. Проект НТВ был более эстетским, рефлексивным, с интеллектуальными прикидами и соц-артистскими играми, проект ОРТ делал упор не на сюжете и его интеллектуальной оснастке, а на наивном доверии к «Старым песням о главном» (именно так называлось все сочинение). Результат? Дело не только в том, что «простая» публика предпочла ОРТ, но и в том, что «сложная» публика из средств массовой информации заинтересовалась именно этим проектом. И синтагма «Старые песни о главном» сразу попала в живую речь, тогда как названия энтэвэшной затеи

никто не запомнил. Очевидно, есть какая-то очень большая потребность в означенном наивном доверии к советской эстетике.

Можно предположить, что мы вступаем в новый период поисков легендарной объединяющей общенациональной мифологии — загадочной вещи, о которой всегда несколько стыдно говорить, как вообще стыдно произносить трюизмы, но которая вполне реально движет солнце и прочие светила в конкретной, отдельно взятой — в нашем случае, пожалуй, за шкуру — стране. Был в самом начале горбачевских реформ короткий период, когда сии общие основания пытались обнаружить в ленинском типе социализма, прочитанном сквозь романтическую призму шестидесятых. Это был сильный жест — настолько сильный, что социальная роль шестидесятников даже еще сегодня вполне ощутима. Один поэт написал тогда строчку: «Ведь в сорок пятом томе Ленина засушен аленький цветочек», — мне до сих пор очень нравится эта строчка. Ясно, однако, что не могла победить идея, возводящая — устами и руками журналистов «Огонька» — на пьедестал целый сонм старых пламенных большевиков, то есть сплошь и рядом просто террористов.

Потом настало время любви к монархической идее, заповедному краю березового ситца и прочим россиянам, которые мы потеряли. Любовь эта произвела в либеральных кругах жуткий переполох и тягу к оборонительному словотворчеству: термин «красно-коричневые» — это хорошая литература, ибо жидется она на очень сильной эмоции. Патриотического потопы не состоялось, проект обнаружил свою маргинальность по большинству параметров, но, в общем, вполне еще способен тревожить, ибо породил не только опереточные дворянские собрания, но и вполне натуралистических казаков с настоящими нагайками.

Самой успешной из всех объединительных идей казалась до недавнего времени идея буржуазно-американская: миф о легких больших деньгах и о трубочисте, ставшем президентом — хотя бы банка. На этот проект работает не щадя живота вся пишущая, снимающая, вещающая и транслирующая интеллигенция, ибо этот проект выгоднее прежде всего ей самой. Суть идеи проста и гениальна, как гениален сам факт существования страны Америки. Никакую Большую Идею ставить во главу угла нельзя, поскольку это обидит носителей маленьких идей. Напротив: нужно каждой из этих маленьких идей дать большой шанс. Суть дела удачно сформулировал Энди Уорхолл: каждый имеет право на свои 15 минут славы.

Потому в Америке так много всякой культуры, что у каждого должна быть возможность найти для себя номинацию, где он будет лучшим. Для этого придумана Книга рекордов Гиннесса: переплунь вишневой косточкой речку Гудзон — и прославишься на весь мир (для американцев это прежде всего США и чуть-чуть Канады: многие свои внутренние спортивные состязания они именуют чемпионатами мира).

Национальная музыкальная премия «Грэмми» вручается по тысяче номинаций, среди которых есть самые дикие: стань лучшим исполнителем полонеза среди латиноамериканского населения Восточного побережья (ты там один такой, тебе несложно стать лучшим) — и ты получишь ту же статуэтку, что и Великий-И-Ужасный Элтон Джон, и встанешь с ним рядом на одной сцене. А чтобы общество считало твою номинацию равной номинации Элтона Джона, придумана идеология «политической корректности». Любая культурная или социальная группа независимо от своей численности или традиционности равноправна другой. Один нобелевский лауреат объявил, что у зулусов нет Шекспира, и был подвергнут обструкции — поделом. Ясно, что у зулусов есть такое, что неведомо ни Шекспиру, ни лауреату. Идеология умная и гуманная: ты всегда имеешь шанс придумать новую номинацию, а потому надежда никогда не умирает. Интеллигенция эта идеология выгодна, поскольку фиксирует номинации и торгует номинациями именно она.

Не думаю, что российская душа имеет какие-то особые противопоказания против такой идеологии. Успешнее всего ее эксплуатирует опять же телевидение — прежде всего всевозможные игры и викторины, которых на

каждом канале по дюжине и на которые может попасть любой сын степей или житель отдаленных районов Крайнего Севера. Попасть в телевизор — это уже что-то вроде 15 минут славы. Но ты можешь получить здесь еще и десять лет денег — в виде ожидающего тебя суперприза, очень импортного и дорогого автомобиля. Строишь эти игры и радуешься гармоническому единению буржуазной идеологии с «простым избирателем». И впрямь ведь миллионы россиян оплакивали гибель человека, придумавшего «Поле чудес». Эти слезы многого стоят.

События последних месяцев эту идиллию нарушили. Может быть, потому, что американские идеалы Успешного Накопления и Счастливого Случая потеряли за два-три последних года притягательность новых игрушек и успели не оправдать слишком многих надежд. Слишком многие устали слать кроссворды в «Поле чудес» — мгновенно туда попасть почему-то не получилось. Возле моего дома открылся очень маленький и очень симпатичный продуктовый магазин — полгода баловал изысканным ассортиментом, потом ассортимент поумерил, оставив самые ходовые товары, потом и вовсе закрылся (видимо, сочинитель магазина не знал, что торговать — это не столько «срубить капусту», сколько «тянуть ляжку»). Да, по России ходят шальные деньги, но попадают они, как выяснилось, к немногим.

Пропась между многими и немногими затягивается, очевидно, слишком медленно. Слишком много времени и места масс-медиа уделяют жизни в ночных клубах — на фоне того, сколь ничтожный процент населения этими клубами пользуется. Массовые газеты слишком много пишут, например, о литературе, которая печатается в толстых журналах, а низкая литература, лежащая на лотках, — то, что действительно питает избирателя, — абсолютно не интересует Большую Прессу. В итоге условный народ не очень верит условной интеллигенции и начинает подозревать, что в телеигры попадают строго по блату. И с большим подозрением относится к тому, кто изобрел сногшибательную номинацию. Честно работающие крестьяне и шахтеры — а их индивидуальный проект и предполагает исторически только честную работу — сидят без зарплаты. Индивидуальный смысл не срабатывает — логично апеллировать к общим.

Полтора года назад художники Комар и Меламид провели любопытную акцию под названием «Выбор народа». Опросили некое количество граждан, какую бы они хотели видеть картину у себя на стене. Сложная анкета: размер картины, стиль, герои, пейзаж, вплоть до: «Предпочитаете ли вы пастозную (когда краска лежит толстым слоем) или тонкую живопись?» Вывели некую среднюю картину и нарисовали. Получилось забавно — в углу Христос, в другом углу зайчики. Акция не прошла незамеченной — все же знаменитые художники, — но в целом реакция масс-медиа была вполне сдержанной. Между тем когда-то Комар и Меламид придумали соц-арт, который на паях с концептуализмом долгое время был самым актуальным явлением отечественной культуры. На сей раз, похоже, они революции не сделали (по две революции не делают), но предвосхитили. Актуальной эстетикой становится «выбор народа». Не физиологически активной части, которая выберет, скажем, Киркорова, не эстетически активной, что, например, выберет Колобова или дневники Пришвина, а всего народа, в том числе культурно статичных групп, для которых старые песни о главном — не искусство, а культура, в которой было спокойно (в случае пенсионеров) или под которую удобно пить водочку (в случае, скажем, шахтеров).

В декабре народ проголосовал за коммунистов, а начиная еще с ноября ОРТ показало десять двухминутных фильмов о щемящей красоте советского — родные космонавты, высотка МГУ, добрый комбайнер, добрый водитель троллейбуса на спокойной московской улице, солдатик на Красной площади, выпускной бал под нормальным летним дождем. Искомый новый общеидеологический текст, очевидно, может быть построен только на основе советской эстетики, лишенной своего террористического измерения: террора в политике и террора в способах организации идеологического материала. По наблюдению философа А. Иванова, новый стиль может отличаться от соц-арта

тем, что последний восхищался идеологическими окаменелостями соцреализма, а первый имеет шанс обратиться к простым вещам, существующим вне идеологии, но как бы под ее метафизическим прикрытием. Банка шпрот — сама по себе совершенно не советская вещь, но стала знаком советской культуры. На этих простых вещах и отношениях лежит легкий свет социалистической идеи в том ее качестве, в каком она сама себя описывала в минуты, свободные от поисков врагов народа, — как идеи мира, добра и теплых отношений между людьми. Вещи счастливы от этого света, и ролики ОРТ сумели поймать это теплое счастье.

Свежие изменения в политическом руководстве вполне укладываются в общую смену стилистики. Дело не в том, что кто-то плох, а в том, что первый вице-премьер не должен быть настолько по-человечески симпатичным, а министр иностранных дел не должен постоянно носить на лице такую отсутствующую улыбку. Крепкие, доброжелательные, но строгие мужики в грубо сшитых костюмах, не злоупотребляющие словами «отнюдь» и «фьючерс», — вот какие политики были у нас при стабильном обществе. Логика неочевидная, но очевидно порождена все той же тягой к новой старой эстетике.

В конце января в Москве открылась выставка Евгения Гавриелева, на которой четырнадцать огромных фотопортретов современных российских политиков соседствовали с парадными портретами российских вельмож прошлого века. Черномырдин и Россель, Хакамада и Лукин, а не только Зюганов и Бабурин сочли возможным запечатлеться и выставиться в позднесталинской эстетски-кабинетной стилистике. А незадолго до этого Леонид Парфенов рассказывал в «Намедни» об исследованиях на тему, в каком виде, по мнению народа, должны изображаться вожди: тут показателен сам интерес к такому довольно специфическому предмету.

Показательно, что у Гавриелева отказался сниматься Гайдар — человек, совершенно позабывший о политически выгодном имидже. Он, очевидно, станет новым Сахаровым — символом борьбы за всякую чистоту, — но такие фигуры лишь украшают эпоху, но никак не определяют ее стиль.

Что касается художественных перспектив бархатной стилистической революции, здесь — в соответствии с моралью одного из мини-киношек Дениса Евстигнеева — «Все у нас получится»: два масс-культа — советский и буржуазный — вполне договорятся. В тех же играх они сотрудничают успешно: «Поле чудес» держит музей для поделок в духе советского выпиливания лобзиком и выжигания по дереву, «Угадай мелодию» посвящена в основном музыке советских лет, а «L-клуб» угадывает цены в рублях 1951 года. Наверняка сможет продуктивно использовать эту ситуацию и «большое искусство» (впрочем, по-моему, Евстигнеев сделал как раз большое искусство).

О политических перспективах ваш покорный слуга рассуждать не решается, но два замечания себе позволит. В обществе «политической корректности» слово «коммунист» ругательным быть не может, как не могут быть ругательными слова «мусульманин», «бисексуал» и «еврей». Второе: буржуазная эстетика власти уже успела показать свою силу, и, как бы ни назывались грядущие правители, они просто не смогут отказаться от удовольствия воспользоваться ее дарами.

Что касается, наконец, русской души, ограничимся красноречивым примером. Тимур Кибиров, написавший гору стихов о сталинских соколах и песнях братьев Покрасс, доказывал, что все эти идеологические монстры могут быть добрыми и домашними, доказывал в итоге, что домашняя частная жизнь — это самое большое и хорошее, чего только могут достичь цивилизация и культура. И написал в послании жене: «Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно, что невозможно практически это. Но надо стараться». А один молодой симпатичный критик сообщил, что это правильный ЛОЗУНГ и его надо наносить на КУМАЧОВЫЕ ТРАФАРЕТЫ.

## Цитата начерно

●  
**Борис Слуцкий. Зарубки памяти. Из книги «Записки о войне».** Вступительная заметка, составление и подготовка текста П. Горелика. «Вопросы литературы». 1995, выпуск III.

●  
*Памяти Ю. Л. Болдырева*

Отмечено — Слуцкий не был поэтом.

Не отмечено — Слуцкий был сказителем, он пропускал сквозь себя историю, разрушая ее и воссоздавая в эпос.

Лирика, какова бы ни была, и за здравие, и за упокой, всегда экзистенциальна, и притом в ней обязательно имеется привкус риторического восторга. Также лирическая формула непреложна и как бы заведомо субъективна, узка, в ней существует место лишь для одного человека, себя или любого другого. Потому-то, читая стихи и найдя поэта по вкусу, читатель переживает сказанное им как сказанное о себе, невысказавшемся и немом.

Эпос, проходящий сквозь уста сказителя, не о нем и, о ком бы ни был конкретно, обо всех. Тут значимо каждое слово. Потому-то эпос не рождает цитаты. Если и цитируется, то лишь первая строчка: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» — а последующие обретают смысл, истекая из предыдущих, соединенные с ними.

Из стихов Слуцкого не извлекают цитат, его или перефразируют, или пересказывают, или помнят о нем и молчат: эпос следует знать, а не зачитывать вслух, он не может быть аргументом в филологическом или философическом споре. Чтобы стать аргументом, эпос слишком велик и объективен: присвоить его, приладить к собственной точке зрения практически невозможно.

Проза Слуцкого, если можно назвать ее прозой, не исходя из отсутствия размеров и рифм — вещь принципиально иная. Потому у этих записок, опубликованных выборочно и неполно, необычная судьба. После войны, еще не демобилизованный, Слуцкий появился в Москве и дал друзьям для прочтения тетрадь, исписанную заметками о войне. Автора не смущали ни

затронутые запретные темы, ни тон, каким о войне тогда — и долго еще — не говорили. Но потом, вернувшись в армию, он просит в письме Давида Самойлова изъять из чтения ходившую по рукам машинопись некоторых главок.

Слуцкий, вернее всего, не боялся «запретности», иначе он бы и не давал ничего читать, он понял, что это за проза. Понял, что «Записки о войне» — лишь подсобный материал, отработка мыслей и фактов. Именно потому автор не опубликовал их даже тогда, когда это стало уже возможно, хотя бы отчасти. Это было бы все равно, как публиковать черновики или подготовительные материалы какой-то большой и незавершенной работы.

Проза Слуцкого принципиально подсобна. Более того, наличие таких записок и необязательно, хотя вероятно. Повествуя о мире и о человеке в мире, а вовсе не о себе самом, Слуцкий рассказал о многом: о войне, о жестокости, о быте, о союзниках, о Европе и о девушках Европы. Тем не менее перед читателем не самостоятельное сочинение.

Рассказы — лишь констатация, а не обобщение, только запись, чтобы потом разобраться. Показательно и то, что у Слуцкого есть ранние рассказы и более поздние стихи с одним и тем же названием, использующие один и тот же сюжет. И еще заметней становится разница между эпосом, документом и лирикой.

Даже более того. Именно теперь, зная эти записки, можно представить степень подлинности некоторых стихотворений Слуцкого. Например, в одном из прозаических отрывков он пишет: «Вот что рассказал мне учитель о Кельнской яме...» — и далее цитируется первый вариант знаменитого стихотворения, то есть стихи здесь сродни документу, протоколу или анкете, собственноручно заверенным тем, кто заполнил этот лист.

В повествовании же «от автора» тут и там встречаются вдруг молодеватые строки, которые можно и легко процитировать. Это лирика, готовые цитаты, то, что истребляют, слагая эпос: «Приказ № 270, предлагавший любому красноармейцу казнить любого начальника, отдавшего приказ о сдаче в плен, и самому занять его место, **ОБОСНОВАННО ПРЕДПОЛАГАЛ ПРИСУТСТВИЕ ТИТАНОВ**». Звучит убедительно и обманчиво по сути.



А вот другое. «Мы народ добрый, но ленивый и удивительно не считающийся с жизнью одного человека». Причем этот парадокс — может быть, один из немногих прозаических парадоксов Слуцкого, который стоит того, чтобы остаться в литературе и существовать. Все потому, что стоит затраченной на него силы мысли — и мыслителя, его создавшего, и читателя, его осмысливающего.

Нет необходимости демонстрировать абсолютность такого высказывания. Оно об отношении и к себе самому, и к другим, и даже к противнику. В тех же записках можно найти эпизод: разведчики приволокли «языка». Чтобы его допросить, офицер ковырялся в коротком разговорнике, а разведчики колотили от холода валенками. Когда офицер поднял глаза, немца он уже не увидел. На вопрос, куда же его девали, разведчики ответили кратко: «А мы его убили, товарищ лейтенант». Из таких мелочей и рождается эпос.

Слуцкий понимал: когда-нибудь придет время, написанные им стихотворения распределятся не по годам, а займут свое место в общем сюжете, станут фрагментами мозаики. Сам он этого не дождался, да и сейчас еще такой момент далеко, еще не все, написанное Слуцким десятилетия назад, опубликовано. Когда такое случится, станут понятны трудные связи между стихотворными фрагментами этого эпоса XX века, и стихи сойдутся в единое целое, крепкое и великое. Тогда иначе прозвучит стихотворение, которое должно было бы сделаться самым последним, завершающим странную и единственную в своем роде стихотворную картину. В нем Слуцкий недоумевает именно потому, что боится, как бы не приняли его, сказителя, за лирика, эпос за лирические рулады и не оставили пару-тройку хрестоматийных стихотворений — каких-нибудь «Лошадей в океане» или «Физиков и лириков» — вместо остальных, вместе взятых. Это не мания величия, а знание своего места в истории и литературе. И пока время не настало, процитируем это стихотворение как бы предварительно, начерно, едва догадываясь, как все обстоит на самом деле.

Неужели сто или двести строк,  
те, которым не скоро выйдет срок, —  
это я, те два или три стиха  
в хрестоматии — это я,  
а моя жена и моя семья —  
шелуха, чепуха, труха?

Неужели черные угли — в счет?  
А костер, а огонь, а дым?  
Так уж первостепенен посмертный почет?  
Неужели необходим?

Я людей из тюрем освобождал,  
я такое перевидал,  
что ни в ямб, ни в дактиль не уложить —  
столько мне довелось пережить.

Неужели Эгейское море не в счет,  
поглотившее солнце при мне,  
и лишь двум или трем стихам почет,  
уваженье в родной стороне?

Неужели слезы в глазах жены  
и лучи, что в них отражены,  
значат меньше, чем малопоятные сны,  
те, что в строки мной сведены?

Я топил лошадей и людей спасал,  
ордена получал за то,  
а потом на досуге все описал.  
Ну и что,  
ну и что,  
ну и что!

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

## ...и другие

**Игорь Холин. Лирика без лирики.**  
1952—1994 гг. Библиотечка поэзии  
«Стрельца». Издательство «Третья волна».  
Париж — Москва — Нью-Йорк, 1995.

Всегда, видя это ко многому обязывающее и долгое перечисление городов, где расцветает и покрывается буйной кроной книгоиздательская деятельность А. Глезера, почему-то вспоминаю северянские стихи. Не эти:

Стрекот аэропланов! Беги автомобилей!  
Ветропроевист экспрессов! Крылолет  
буеров!  
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то  
побили!  
Ананасы в шампанском — это пульс  
вечеров!  
— хотя и они вполне подходят для цитаты. Но все-таки из тех же «Ананасов в шампанском»:

Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка —  
на Марс!

И вот сейчас, листая от конца к началу и обратно двадцатистраничную брошюрку, думаю: а почему бы не прикинуть, какие стихи из холинского литературного наследия живы, а какие превратились в сухие слова и где бы какие пришлось по вкусу?

Меньше всего мне хочется что-то разъяснить или интерпретировать. Хочется именно прикинуть, попробовать — живы ли эти стихотворные строки, как живы и

переживут еще многие поколения читателей поэзии процитированные северянские стихи? А ведь уже с самого начала, чуть ли не с первой публикации или первого концерта, казалось: все, конец, провал.

### Москва

Барачные будни постепенно, хоть и медленно, уходят в никуда. Правда, споры соседок — теперь не по квартире, а по лестничной клетке — продолжают. И возражение не устарело. На слова: «Твой муж Андрюшка — вор» — по-прежнему отвечают: «А у тебя, соседка, и вовсе мужа нет».

И пусть на календаре не суббота, а ребятам охота выпить, как выпивали их деды, их отцы, их старшие братья да и они сами, их товарищи и друзья. И написанное черт знает когда стихотвореньице делается если не поэтичнее, то актуальнее:

Ребята торчат  
У ворот комбината:  
Сегодня опять  
Задержали зарплату,

— с одним лишь уточнением: «сегодня» тянется не первый месяц, а ребята умудряются где-то найти и напиться, хоть и не красный день на календаре и вся работа по перестройке земли в коммунизм еще не завершена.

### Нагасаки

Стихи о магазинной давке, потому что продается вермишель, тоже как-то быстро перешли в забытое — надолго ли? — но накрепко. И не понять изящным, вежливым и тренированным японцам, что значит угроза «в морду дам» и прочие слова, которыми обмениваются магазинные покупатели.

Куда ближе для них стихи о том, что вот работал человек машинистом портального крана, навернулся с верхотуры. Комиссия решила, что виновата плохая погода, а жена довольна, ибо похоронят мужа за казенный счет.

Но вот это четверостишие понятно каждому японцу. Оно как бы старшая сестра трехстрочной хокку или младшая пятистрочной танку, и заложенная в нем информация, и краткость его дыхания, и соотношение высокого и низкого пришлись бы им к сердцу. Попытка в малом увидеть весь мир:

Умерла в бараке. 47 лет.  
Детей нет.  
Работала в мужском туалете...  
Для чего жила на свете?

Этот вопрос, оставленный без какого бы то ни было ответа, и есть самое главное, самое поэтичное в холинском четверостишии. Даже если бы ответ был дан, он не сравнился бы с этим странноватым и все исчерпывающим молчанием.

В среде минимализма предметы и явления действуют от противного: слова нужны, чтобы скрывать, молчание — чтобы говорить, вопросительный знак — чтобы отвечать.

### Нью-Йорк

Это самый лучший пункт нашего маршрута. Конечно, американцев не заинтересуешь кровавым российским мордобоем или тем, что русские медведи водятся исключительно в бараках. Ничего такого они бы не потребовали.

И сонет о том, как стошнило небритого пропойцу, а сожравший блевотину пес тоже захмелел, вряд ли вызовет интерес, хотя может в некотором роде и развеселить американца. Как: пьяный человек? Это — смешно. Пьяная собака? Это — еще смешнее.

Американец мог бы с серьезным видом прочитать такое стихотворение из-за предпосланного ему посвящения:

*И. Бродскому*

По Африке  
Гуляет  
Морозный ветер  
В России  
Жара 90 гр.  
В Америке  
Женщина  
Родила  
Подводную лодку  
Мне все равно

После чтения, не затрагивая каких бы то ни было эстетических достоинств этого стихотворного сочинения, американец бы без излишней настойчивости поинтересовался, по какой программе сообщалось, что женщина родила подводную лодку, и какого класса эта субмарина.

Длинное же перечисление из стихотворения «Рыбина Рабина» оставило бы американцев равнодушными, ведь они ровным счетом ничего не знают о перечисленных тут людях, а если и слышали их фамилии, то — sorry! — никак не могут припомнить, где и когда они их слышали:

Сидят художники  
И поэты  
Лев Кропивницкий  
Александр Глезер  
Генрих Сапгир  
Игорь Холин  
Сева Некрасов  
Евг. Леонидыч Кропивницкий  
Андрей Амальрик

Н. Вечтомов  
 Овсей Дриз  
 Ян Сатуновский  
 Ю. Нетгар  
 Алик Русанов  
 Алик Гинзбург  
 Леонид Пинский  
 И другие

Американцы помашут рукой этим «и другим», которые есть во всякой стране, но особенно много накопилось их в России, а также дружески улыбнутся, если увидят, что на них смотрят

...женщины  
 Симпатичные  
 И не очень

из того же стихотворения. Впрочем, большего от американца нельзя и требовать.

### Марс

А теперь чуть-чуть пофантазируем, вернее, представим, что гипотеза, будто под верхней корой планета Марс имеет круглое железное ядро, есть не какая-то очередная гипотеза, а действительный факт. И вот туда, где под корой проживают мыслящие и дружелюбно настроенные марсиане, с Земли будет послан ракетный корабль, пока без человека на борту. Но груз его будет не менее драгоценным.

Ракетный корабль понесет то, что будет представлять все земное искусство, его авангард — брошюрку Игоря Холина, благо книжечка эта столь мала, что ее можно приткнуть в какой-нибудь контейнер или железный ящик, выдерживающий Бог весть какую перегрузку. Или в герметичную капсулу. Там она и поплывет, невесома, но тяжелей премногих томов, которые из-за технических трудностей пришлось пока оставить на Земле. А она отправится — защищенная от холода и тепла, от перегрузок и облучения, от влаги и даже от света, каков бы ни был этот свет.

Мы можем только предположить, о чем подумают марсианские жители, прочитав эти стихи и обнаружив, что весь тираж книги — все 300 экземпляров — пронумерован и подписан автором. Может быть, им почудится, что на планете Земля, достигшей уже достаточно высокой ступени цивилизации, если она способна запустить в космос свои ракетные корабли, осталось всего лишь три сотни человек? Или же — что тоже вероятно — людей на Земле больше, но читателей поэзии не более трех сотен. И что эти читатели лично известны авторам, и вот разгадка того, что книги там нумеруются и снабжаются автографом.

Но сколько бы ни бились марсиане, сколько бы ни эксплуатировали свои сверхмощные компьютеры, они так никогда и не поняли бы, что значит строка: «Составил А. Д. Глезер». Не поняли бы, вовсе не зная, что во вселенском масштабе тут они не одиноки.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

## Не жалея Бальзака и его читателей

Издательство «Феникс» (Дубна) выпустило в 1994 году «Физиологию брака» Бальзака в переводе В. Л. Ранцова, опубликованную ранее в журнале «Вестник иностранной литературы» (1900, №№ 1—8). Мотивы издательства понятны: выпустить побыстрее книгу, неизвестную современному читателю, и при этом сэкономить на авторском гонораре переводчику. Обычно практику переиздания дореволюционных или просто давних переводов осуждают прежде всего из-за устарелости их языка. Однако с таким недочетом перевода можно было бы смириться, будь он в целом добротным. О переводе Ранцова этого не скажешь. Он страдает существенными изъянами, которые делают его неадекватным оригиналу и создают превратное представление о сочинении Бальзака.

Потери становятся особенно ясными, если сравнить этот перевод с современным, выполненным В. А. Мильчиной для издания «Физиологии брака» «Новым литературным обзором» (М., 1995).

Читая Бальзака в русской версии Ранцова, порой ловишь себя на мысли: «Полно, да Бальзак ли это? Неужели он мог выражаться так косноязычно, как заурядный бухгалтер или судейский чин?»

«Следует заметить, — переводит Ранцов, — что прелюбодеяние не внедряется в сердце замужней женщины с внезапностью пули, вылетающей из пистолетного дула. Даже и в тех случаях, когда незаконная любовь возгорается с первого взгляда, она все же осложняется борьбой, продолжительность которой вызывает соответственный недочет в общем итоге супружеских неверностей».

Сопоставьте это с новым переводом: «Мысль об измене не поражает сердце женщины мгновенно, как пистолетный выстрел. Даже если некто пленяет ее с первого взгляда, в течение какого-то вре-

мени она всегда борется сама с собою, чем несколько уменьшает число супружеских неверностей». По крайней мере все понятно, и читаешь, не продираясь к смыслу, как по ухабам разбитой мостовой.

Канцелярский дух пронизывает стиль Ранцова. «В качестве бельгийцев они в один миг успели уже все рассчитать...» — пишет он, — или «продолжали... разговор о своей женской профессии» вместо «продолжали обсуждать свои женские дела». Заглавие книги «Искусство хранить пищевые продукты» превращается в «Искусство предохранения питательных веществ»; люди у Ранцова ходят по улицам Парижа не «бездумно», а «безотчетно и воздерживаясь от всякого умственного процесса», и их незнание «вызывает бедствия, неизбежно долженствующие их постигнуть». Мужчинам у него не удастся «поднять свою возлюбленную до одного с собою уровня» (ср. «возвысить свою любовницу до себя»).

Топорность перевода у Ранцова часто совмещается с неточностью, из-за чего понять, что же имел в виду Бальзак, трудно, а то и невозможно.

«...Два миллиона холостяков не нуждаются ни в каком финансовом обеспечении для того, чтобы ухаживать за женщинами...», хотя Бальзак писал об ином: «...каждый... из двух миллионов холостяков, будь он даже гол как сокол, только и мечтает что о любовных победах...»

Над максимой XXV в переводе Ранцова невозможно не поломать голову: «Адюльтер представляет собой банкротство с тою лишь разницей, что обеспеченным является тут человек, которого заставляют обанкротиться». (Ср. в новом переводе: «Супружеская измена, говорит Шамфор, — то же банкротство, — только здесь человек разоренный оказывается вдобавок еще и опозорен»). От островка, который Бальзак сравнивает с изумрудом и ради зрелища которого считает стоящим «оставить позади тысячи и тысячи лье», Ранцов полагает нужным «бежать за тридевять земель в тридешатое государство».

Примеров подобного рода пруд пруди. Не станем утомлять ими читателя.

Мало этого. Ранцов позволяет себе купюры, меняющие тон сочинения и обедняющие его содержание.

Так, во «Введении» опущено несколько абзацев. В одном из них Бальзак живописует океан, на волнах которого качаются и в котором тонут книги; по нему на всех парусах мчится челн с афишкой, которую пронзительным голосом читает Демон: «Физиология брака». В другом автору является Разум в приятнейшем из обликов, советам которого он тем не менее не внял, так как захотел завладеть гремушкой Панурга (ею размахивало Сумасбродство), но не смог этого сделать, поскольку

она оказалась тяжелее палицы Геркулеса.

В Размышлении I (о теме книги) Ранцов (или издательство) пропустил более полсотни строк Бальзака, где он, цитируя Рабле, старается определить своего читателя и называет брак единственным во Франции предметом для смеха. То и дело выбрасываются упоминаемые Бальзаком имена.

Но и это еще не все. Читатель не узнает из предисловия издательства, когда «Физиология брака» написана, издана, какое место в «Человеческой комедии» занимает и т. п. Не позаботились издатели и о комментировании бальзаковского текста. Чуть более двух десятков подстрочных примечаний редактора дают справки главным образом об именах (вроде Шамфор — французский писатель-моралист, Сарданапал — легендарный ассирийский царь), в то время как в непрокомментированном тексте Бальзака многое останется закрытым, малопонятным для большинства современных российских читателей.

«Стоит после этого удивляться знаменитой строфе Буало!» — читаем в издании «Феникса». Что за строфа? О чем она говорит? Читатель остается в неведении. А Бальзак имеет в виду строку (не строфу) в Десятой сатире Буало, где тот иронически замечает, что в Париже можно отыскать аж трех верных жен.

Вряд ли читатели поймут в полной мере и фразу: «Они (мужья, обреченные на измену жен) не оценили по достоинству сокровище, тайна которого так и осталась им неизвестной». Что за сокровище? Они бы поняли это, если бы комментатор указал, что здесь у Бальзака скорее всего скрытая ссылка на роман Д. Дидро «Нескромные сокровища», разумевшего под ними интимные женские прелести.

И далеко не каждый читатель помнит, каковы «сны, являющиеся, по мнению древних греков, сквозь розовые (?) врата...». А Бальзак здесь опирается на следующее место «Одиссеи» Гомера:

Созданы двое ворот для вступления снам  
бестелесным  
В мир наш: одни роговые, другие из кости  
слоновой;  
Сны, приходящие к нам воротами кости  
слоновой,  
Лживы, несбыточны, верить никто из людей  
им не должен;  
Те же, которые в мир роговыми воротами  
входят,  
Верны; сбываются все приносимые ими  
виденья.

(Пер. В. А. Жуковского.)

И поясни это комментатор, читатель бы знал, что речь о правдивых снах: именно они проникают сквозь роговые (не розовые!) врата у древних греков.

Такие примеры можно множить и множить, стоит лишь познакомиться с ком-

ментариями в издании «Нового литературного обозрения».

Хотелось бы похвалить издателей «Феникса» за стремление расширить книжный репертуар. Само по себе это хорошо. Плохо, что действовали они непрофессионально, с большим ущербом и для писателя, и для читателя. В этой ситуации утешительно возвращение читателю подлинного Бальзака взамен суррогата.

Но если взглянуть на случившееся шире, то такое появление книги с современным переводом вслед за изданием с переводом давним и, увы, топорным — скорее счастливое исключение, чем правило. Во многих же случаях порочная практика издателей, стремящихся нажечь капитал на перепечатках старых переводов независимо от их качества, не оставляет читателям ничего другого, как знакомиться с творениями иноязычных авторов по текстам, которые лишь очень отдаленно напоминают, если не искажают оригинал.

Печально, когда издатели забывают, что они деятели не только коммерции, но и культуры. И хорошо бы критике остро напоминать им об этом при каждом подобном казусе, одновременно предостерегая читателей от эрзац-переводов.

А. РАДОМЫШЛЕНСКИЙ

## Божественный свет

•  
**Жорж Дюби. Европа в средние века.**  
 Смоленск, «Полиграмма», 1994.

•  
 Что такое история? Обычно это даты, годы рождения и смерти, нанесенные на страницы книг или на камни мертвого города, годы рождений и смертей не обыкновенных людей, а правителей, мирских и церковных, а также даты крупных событий, связанных со многими жертвами и смертями, — начала и окончания войн, стихийных бедствий, мора и глада, обрушившихся на землю и вместо одной жизни какого-нибудь известного гражданина унесших множество жизней оставшихся безымянными граждан, и не граждан вообще, а работников либо рабов, людей, обреченных пройти по истории и не оставить ни отпечатка ноги, ни имени.

За этими датами не всегда можно увидеть человеческие жизни, существовавшие во времени, даже если события осеняли их своим крылом или укрыли в своей тени, что большая редкость, ибо благодатные моменты история как бы не запо-

минает либо относит их в такие времена, которые и воспоминателям кажутся уже былинной древностью, выдуманной для красоты слога и вовсе не бывшей. Тем более скрыты от нас бытие и движения духа людей, живших в те времена, что мы называем средневековьем, не по отсутствию книг или камней, подвластных резчику, а по ушедшему времени, как уходит в другое русло водный поток.

Нам не просто представить ситуацию, когда читать и писать умели лишь несколько десятков или сотен образованных монахов и даже рыцари полагаали (и довольно верно), что подобное умение приводит лишь к гибели души и не несет никакой прибыли. Что можем мы знать об их бытии и о духовном мире, таящемся за телесной организацией и за недолгим человеческим веком, почитавшим зрелость лет около тридцати и пятидесятилетнего считавшим дряхлым стариком. И судить обо всем часто можем не столько по официальным хроникам и сводам законов, сколько по произведениям искусства.

В книге Жоржа Дюби и рассказывается о том, как создавались произведения искусства: чем продиктована необходимость их создания (необходимость не метафизическая, а материальная, такая, как закрепление имени или подвига, попытка ускользнуть от времени во время же), какие мысли и слова они рождали у современников. Автор в предисловии говорит: его задача была в том, чтобы показать, «что связывает общественные формации и формации культурные, материальное и нематериальное, реальность и вымысел». Ранее изданный обширный труд о средневековом Западе был переработан в сценарий для телевизионного сериала, закадровый текст и есть, собственно, эта книга. Отсюда вытекает очевидная популярность изложения материала. Но перед нами не сухой научный труд. Вместе с упрощением текста, отказом от подробностей возникают цельность, образность, когда в простом слове сосредоточено много смысла, это поэтическая проза. (Единственное, о чем стоит пожалеть, так об отсутствии иллюстраций.)

Однако сказать, что книга Дюби посвящена только проблемам искусства, значит было бы преуменьшить заслуги почтенного автора. Речь идет скорее о мировоззрении людей, о том, как они понимали мир вокруг себя, об их отношении к жизни и смерти, их мыслях о Боге.

Книга охватывает период с XI по XV век, автор проследивает изменения, происходившие в быту и в умах человеческих от года одна тысяча, когда в Западной Европе не существовало и подобия государства. Население голодало, кормясь более охотой и собирательством, чем земледелием, а кругом царил «неистребимая дикость». И в хижинах, и в рыцарских замках думали лишь о самых простых телес-

ных потребностях. Хранителями культуры, наследниками культуры распавшейся Римской империи были монахи, люди, замаливавшие грехи всего брэнного мира, подверженного тлению.

Архитектура монастырей выражала замкнутость и непоколебимость общины: толстые каменные стены, ограниченные пространства, пропорции которых подчинены сложным и простым сочетаниям чисел, ибо математику почитали за царицу наук.

В XII веке с развитием аграрного производства и торговли происходит быстрое развитие культуры и рождается уверенность, что «взаимоотношения с Богом являются личным делом каждого». Изменяется в связи с этим и взгляд на мир. Нет уже убежденности в том, что мир обречен. «Бог есть свет» — так утверждали новые теологи, и этим светом пронизано искусство XII века, поэтому в храмах основной архитектурной деталью становится окно.

Думаю, что многие при упоминании XIII века вспомнят Франциска Ассизского и по имени его названный церковный орден; но одновременно жил и проповедовал святой Доминик, также давший начало новому ордену: «...доминиканцы были интеллектуалами, схоластами, аналитиками, они обращались к разуму — в то время как францисканцы апеллировали к сопереживанию и той совершенной радости, которую оно рождает. <...> Они превратили христианство в нечто такое, чем оно никогда не было, — в народную религию».

Автор прекрасно, хоть и в немногих словах, показывает, как происходили становление монархии и выдвигание столь замечательных людей, как Людовик Святой (погибший смертью мученика в Иерусалиме), император Фридрих II (именно он желал знать, на каком языке заговорят младенцы у немых кормилиц), и одновременно — сосредоточение гигантской власти в руках папства. Как шло взаимопроникновение культур. Как под натиском готического, то бишь «французского», стиля менялись архитектура, скульптура и живопись Италии, Испании, Британии и некоторых областей Франции. И как соответственно искусство влияло на расширение торговых связей, завоевания и наследие классической древности. Хотя не следует забывать, что пока сохраняется подлинность искусства религии. Пожалуй, вне церкви искусства еще нет, но при взаимном обогащении, взаимопроникновении культур рождается более земное, более близкое мирским чувствам искусство,

которое не просто служит инструментом, орудием в достижении некоей цели, но радуется глаз, призывает помнить о мире вокруг.

Тем более окружающий мир словно напоминал людям о себе, об их слабости и своей роковой силе. Так, в 1348 году в Европу пришла чума. Люди увидели не просто смерть — смертей, публичных казней и пыток тогда доставало, — они увидели смерть внезапную и неотвратимую, не щадящую ни грешного, ни праведного. «В искусство внезапно ворвались несхожие мотивы — мрачный интерес к смерти и тяга к развлекательности».

И вот мир охватывает жажда роскоши. XV век — это время куртуазного мировоззрения и куртуазного искусства. Люди стараются окружить себя изящными вещами, пируют и веселятся. И чем больше веселились дамы и рыцари, тем истовее они молились в уединении. Если два-три столетия назад построить собор было делом всенародным — гигантские строения возводились за 20—30 лет, то теперь искусство служит целям скорее личным: так, личным делом становится спасение, развивается понятие об индивидуальности, на семейной гробнице стараются создать портретное изображение погребенного, чтобы донести до Страшного суда черты лица индивидуума. В это время, словно в замещение Божества — что тоже теперь знакомо, — приходит искусство, искусство не только для богатых. В обиход простого люда оно входит книжечками с картинками, изображающими жизненный путь Иисуса, святых мучеников, сцен из Ветхого завета.

Так когда же кончились средние века? Автор считает, что это вопрос бессмысленный: «...Европа была крайне разделена, и в разных ее частях время текло неоднородно: в Тоскане средние века могли закончиться пять или шесть поколений тому назад, в то время как Нюрнберг или Упсала оставались полностью погруженными в средневековье. Этот вопрос не имеет смысла в особенности еще и потому, что средневековье, которое само представляло собой цепь сменявшихся друг друга периодов возрождения, потонуло в последнем, великом Возрождении, начавшемся в XV веке в Италии».

Обязательно ли соглашаться с утверждениями ученых? Кто-то решит, что средневековье не кончилось или грядет новое, уж очень знакомыми кажутся документы, сопровождающие авторский текст. И притом всегда есть надежда, что в конце концов все же вспыхнет и воссияет Божественный свет.

Марина КРАСНОВА

# НОВЫЙ МИР — 1996

*ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ*

❖ ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗДАНИЙ  
РОССИИ ❖ БОЛЕЕ 800 НОМЕРОВ СО ДНЯ ОСНОВА-  
НИЯ ❖ СРЕДИ АВТОРОВ «НОВОГО МИРА» ДВА  
НОБЕЛЕВСКИХ ЛАУРЕАТА: ИОСИФ БРОДСКИЙ  
И АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН ❖

Во второй половине 1996 года «НОВЫЙ МИР» предполагает опубликовать третью часть военного романа ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Прокляты и убиты», повесть ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА «Алина», повесть СЕРГЕЯ ЗАЛЫГИНА «Свобода выбора», перевод нового романа ИНГМАРА БЕРГМАНА «Исповедальные беседы», дневники ГЕОРГИЯ СЕМЕНОВА и ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА, рассказы ЮРИЯ БУЙДЫ, ЛАРИСЫ ВАНЕЕВОЙ и АСАРА ЭППЕЛЯ, эссе ИГОРЯ ЗОЛУТУССКОГО и ГРИГОРИЯ ПОМЕРАНЦА. Над новыми произведениями для нашего журнала работают СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ, МИХАИЛ БУТОВ, БОРИС ЕКИМОВ, МИХАИЛ КУРАЕВ, АЛЕКСАНДР КУШНЕР, СЕМЕН ЛИПКИН, ИННА ЛИСНЯНСКАЯ, ЮРИЙ МАМЛЕЕВ, ОЛЕГ ПАВЛОВ, ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ, ВАЛЕРИЙ ПОПОВ, ЕВГЕНИЙ РЕЙН, ГЕНРИХ САПГИР, ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ и другие авторы.

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)



---

*До конца года  
читайте в разделах:*

## **Поэзия**

**Стихи** Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Бориса ЗАХОДЕРА, Бахыта КЕНЖЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.

## **Воспоминания. Документы**

**СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ.** Письма Марка АЛДАНОВА, Бориса ЗАЙЦЕВА, Константина БАЛЬМОНТА, ТЭФФИ и других — из Бахметевского архива (Нью-Йорк).

## **Публицистика и очерки**

Статьи видных публицистов, историков, экономистов, философов: С. ДЗАРАСОВА, В. КАНТОРА, В. КАРДИНА, Б. ОРЛОВА, И. ПАНТИНА, Л. СКВОРЦОВА, Д. ТРАВИНА, Т. ЯРЫГИНОЙ.

«ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ» продолжит знакомство с выдающимися философами Запада.

## **Литературная критика**

**Статьи** Д. БАКА, Л. БАТКИНА, М. ГАСПАРОВА, А. ЗВЕРЕВА, Е. ИВАНИЦКОЙ, К. КОБРИНА, В. КУРИЦЫНА, М. ЛИПОВЕЦКОГО, Е. ПЕРЕМЫШЛЕВА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРЦОВА, А. ЭТКИНДА.

## **Для журнала работают:**

Александр БОРОДЫНЯ, Алексей ВАРЛАМОВ, Владимир ГАЛКИН, Юрий ДАВЫДОВ, Владимир МАКАНИН, Виктор ПЕЛЕВИН, Валерий ПОПОВ, Людмила УЛИЦКАЯ, Марина УРУСОВА и др.

**Следите за нашей рекламой!**

---



---

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца 1996 года «Октябрь» собирается опубликовать следующие произведения:*

### Проза

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Юрий БУЙДА. **Рассказы.**

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Игорь ВОЛГИН. **«В виду безмолвного потомства...».** Достоевский и гибель русского императорского дома. Книга вторая.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. **Летит себе аэроплан.** Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Владимир КАНТОР. **Крепость.** Роман.

Руслан КИРЕЕВ. **Виттинские легенды.** Рассказы.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**

Анатолий НАЙМАН. **Славный конец бесславных поколений.** Рассказы.

Юрий НАГИБИН. **Дневники.**

Олег ПАВЛОВ. **Дело Матюшина.** Повесть.

**Записки из-под сапога.** Рассказы.

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. **Сентиментальное путешествие.** Повесть.

Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1938 года.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Генрих САПГИР. **Роман.**

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. **Быть!** Документальное повествование.

Павел САНАЕВ. **Похороните меня за плинтусом.** Повесть.

Борис ХАЗАНОВ. **После нас потоп.** Роман. Рассказы.

Асар ЭППЕЛЬ. **Рассказы.**

---